



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ

**ПОВЕСТИ
ДОБРЫХ
НАДЕЖД**

64 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Иосиф Герасимов

ПОВЕСТИ
ДОБРЫХ
НАДЕЖД

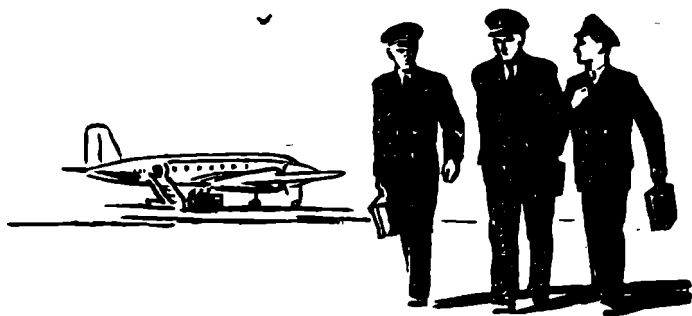


Издательства ИК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
1963

В книгу вошли две повести Иосифа Герасимова: «Мой дом на земле» и «И возвращаются ветры».

В первой повести речь идет об экипаже пассажирского самолета, во второй — о людях большого завода. Очень разные по сюжету, эти повести объединяет моральная чистота героев, их активное отношение к жизни, к своей работе.

«Повести добрых надежд» — это повести о больших человеческих чувствах, о судьбах наших современников.



МОЙ ДОМ НА ЗЕМЛЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нас было трое: Кирилл Гудов — командир корабля, Сережа Евсеев — второй пилот и я, Игнат Сошин, — бортрадист. Сперва мне думалось, что вся эта история — наше, семейное дело. Но потом я рассудил, что, пожалуй, смогу рассказать ее вам. Только давайте сразу: если вы из тех, что любят посмаковать кое-какие подробности чужой жизни, то мне лучше промолчать... Да вы не обижайтесь, разные еще встречаются люди... Так вот, мы летали на поршневом самолете «ИЛ-14», летали не первый год, исколесили немало дорог в воздушном океане. И началась эта история в один из вечеров, когда мы вернулись из очередного полета...»

Сергей сказал:

— Поезжайте вдвоем, ребята. Подожду Надю. Дежурит сегодня...

Он часто ждал ее здесь, в порту, когда она работала в ночную смену. Сел на ступеньку, прислонившись худощавой спиной к каменному шару, закурил, сощурил заслезившиеся от дыма глаза и стал смотреть на дорогу. Пахло нагретой землей, усыхающими листьями, бензином; вечерняя прохлада еще не успела развеять эти запахи. У входа в аэровокзал стояло несколько дежурных такси, их ядовито-зеленые глазки ярко горели в полутьме. Шоферы собрались у передней машины, курили, смеялись, поглядывали, как вдали, в огромном котловане, рдели и переливались голубоватые, розовые, желтые огни и над ними спешили, словно боясь зацепиться за трубы и мачты, тугие облака с сизыми краями.

Гоша посмотрел, как удобно уселся Сергей, и ему захотелось остаться вместе с ним. Хорошо тут посидеть после полета, слушать шоферскую болтовню, смотреть, как дышат огни в котловане. Это ведь намного лучше, чем торчать одному весь субботний вечер в комнате. Теперь уже ничего веселого не придумаешь: час поздний. Самолет выпустили с задержкой на два часа. Синоптики сказали, что где-то на трассе фронтальная гроза. А может быть, это им показалось? Синоптики ведь любят страховаться. Как бы там ни было, а самолет прилетел с опозданием.

Каждый раз, когда опаздывал самолет, Кирилл хмурился. Вот и сегодня он быстро сдал документы в диспетчерскую и даже не зашел в буфет выпить кружку пива. Гоша догадывался, почему торопится Кирилл: к нему придет Маша. Вон он стоит, их командир корабля, у «Москвича», ждет, чуть наклонив тяжелую голову, широко расставив ноги. Ничего не поделаешь, надо ехать. Гоша еще раз взглянул на Сергея, вздохнул и пошел к машине.

«Москвич» легко проскочил по шоссе и нырнул в узкий переулок.

— Зажги-ка спичку, — попросил Кирилл.

Гоша чиркнул спичкой, рыжее короткое пламя вспыхнуло у самых пальцев, чуть не обожгло их, но он успел поднести огонь к зажатой в губах папиросе.

— Спасибо, — буркнул Кирилл.

Руки его лежали на баранке руля. Скоро еще один поворот, и машина выберется из тесного переулка на новую улицу.

Гоша жил вместе с Кириллом в небольшом финском домике. Когда-то им дали его на весь экипаж. Одна комната была столовой, другая — спальней, будто в общежитии. Потом ушел Сергей, женившись на Наде. А совсем недавно Кирилл решил поделить домик, благо был второй вход. Двери заложили кирпичом, оштукатурили. Теперь у Гоши была своя комната. Кирилл не объяснил, для чего решил отделиться. Гоша сначала обиделся, несколько дней ходил надутый, а потом понял, в чем дело: Маша...

Гоша смотрел на дорогу. Всякий раз, когда к Кириллу приходила Маша, тревожное и вместе с тем сладостно-ласковое нарождалось в нем; он болезненно прислушивался к тому, что делается за тонкой стеной комнаты. Утром ему было неловко глядеть Кириллу в глаза. Встречая Машу, он тоже поначалу смущался, она же держалась с ним запросто. Вскоре и он начинал говорить с ней просто, будто ничего не знал, не слышал ночью. И теперь, думая об этом, Гоша беспокойно вздыхал, ерзал на сиденье.

— Ты что грустный сегодня? — спросил Кирилл.

Красный огонек папиросы тускло освещал его крепкую скуластую щеку.

— Устал что-то, — ответил Гоша.

— Рано начал уставать. Завтра — на рыбалку, как договорились. Не проспи.

— Ладно...

Вот и последний поворот. Свет фар метнулся в сторону, на какую-то секунду уперся в дерево. Но этой секунды было достаточно, чтобы Гоша увидел запрокинутое лицо женщины. Это было как видение, возникшее на ветровом стекле и тотчас погасшее. Женщина странно улыбалась: робко, радостно и в то

же время как-то болезненно. Лишь когда Кирилл, сначала притормозивший машину, резко погнал ее, перед мысленным взором Гоши всплыло и другое: цепко сжатые руки мужчины на плече женщины. Белая нейлоновая кофточка, толстая темно-русская коса, упавшая на грудь. «Да это же Надя!» Гоша подскочил, вцепился в руку Кирилла.

— Стой!

Кирилл спокойно отстранил его.

— Что случилось? — Голос его прозвучал глухо, может быть мешала говорить папироса. Машина выскочила на большую улицу, залитую светом дневных ламп. По лицу Кирилла заскользили холодные блики, и поэтому нельзя было понять, хмурится он или усмехается.

— Там, у дерева... — сказал растерянно Гоша.

— Ну?

— Надя с кем-то... Ты видел!

— Тебе показалось, — резко ответил Кирилл и, помедлив, добавил: — Придет же такая блажь в голову!

«Москвич» шел ровно, все на той же скорости. Они ехали по новой широкой улице, в белых домах светились окна, навстречу величаво плыл троллейбус, и с крыши его сердито смотрели два маленьких глаза.

— Но я же видел! — прошептал Гоша.

Кирилл ничего не сказал, вынул изо рта папиросу, выкинул ее на асфальт.

Опять побежали мимо приземистые домишки, заботливо прикрытые ветвями деревьев. «Москвич» затормозил у широкой калитки. Гоша вышел из машины. Навстречу из темноты, взвизгнув, кинулся Пушок и прыгнул, норовя достать до груди.

— Ну, запачкаешь, — сказал ему Гоша и потрепал по голове.

Пушок сразу же заюлил. Машина въехала во двор, остановилась под старой яблоней. Пушок все не унимался, вертелся у ног.

— Что ты так разошелся, дурачина? — наклонился к нему Гоша.

Он услышал, как вылез из машины Кирилл; хлопнула дверца, тяжело застучали шаги по натоптанной стезжке.

— Эй, Гоша, ты дома будешь?

— Дома, а что? — отозвался Гоша, а сам подумал: «Куда же сейчас идти? Зачем он спрашивает?»

— О рыбалке не забудь. — Кирилл потоптался у своих дверей, словно собираясь еще сказать что-то важное, но лишь устало бросил: — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил Гоша. Достал из кармана сверток с куском колбасы, припасенной для Пушка, кинул ему:

— Ешь, дружище.

Эту собаку подобрали они в Адлере. Приземлились тогда всего на час, чтобы взять почту и пассажиров. Шел дождь. У диспетчерской вертелся мохнатый белый пес и тоскливо заглядывал в глаза прохожим.

— Красивая собака, — сказал Гоша.

— Хозяина потеряла, — заметил Сергей.

Кирилл посмотрел на нее, неожиданно взял в охапку и прижал к себе. Собака вздохнула совсем по-человечьи и уютно положила морду на локоть Кириллу.

— Что, бродяжка, туго?

Она лизнула его рукав.

— Ничего, Пушок, полетим с нами, — сказал Кирилл и погладил ее по мокрой шерстке.

— Может, назвать ее Белкой или Стрелкой? — предложил Сергей.

В кабине, когда летели, она лежала тихо, уткнув морду в лапы. Все-таки она стала отзывать на кличку Пушок. Может быть, и прежний хозяин звал ее так?

Пушок доел колбасу, облизался и, присев на задние лапы, смотрел коричневыми преданными глазами. Вот такой же взгляд был у женщины, мелькнувшей за смотровым стеклом. Неужели он обознался?.. Если обознался, то как вообще мог подумать о Наде?.. Но опять всплыли перед глазами цепкие руки мужчины,

запрокинутое лицо. Гоша никогда прежде не видел такого взгляда у Нади. Нет, пожалуй, то была не она. Но что-то мешало так вот просто решить и перестать думать об увиденном.

Было слышно, как по большой улице движутся машины, позванивают проводами троллейбусы. Пахло полынью. Этот запах в городе казался странным и непонятным. Может быть, так пахнут астры, которые растут у самого забора? Но, говорят, астры вообще не пахнут.

Гоша поднялся на ступеньки. Пушок решил, что настал момент поиграть, подпрыгнул и угодил под ноги.

— Уйди, — попросил Гоша и вошел в комнату. Матово поблескивал экран телевизора, рядом на тумбочке стучал зеленый будильник.

Гоше представилось, как Сергей сидит у входа в вокзал на цементной глыбе, прислонившись к каменному шару, и ждет. Вот ведь незадача: Кирилл так быстро повернул машину, что луч лишь скользнул по людям, к тому же мужчина стоял спиной.

Гулко стучал будильник на тумбочке. На нем половина двенадцатого. А может быть, вернуться к тому дереву? Тогда станет все ясно. Зачем же мучить себя сомнениями?.. Ну, конечно, как он не подумал об этом раньше?

Гоша выключил свет. Выбежал во двор, с разбегу перескочил через калитку. Он знал дорогу напрямик. Для этого вовсе не надо выходить на большую улицу, как они ехали машиной. Тут рукой подать, если пробежать узким переулком. Правда, там тупичок. Но наплевать, он переберется через забор...

Вот и забор, за ним улица, а по ту сторону высокий столб с электрической лампочкой. В желтом мареве света расплываются очертания деревьев. Гоша подпрыгнул, уцепился за доски, подтянулся на руках. Свет лампы ударил в лицо, запрыгали в глазах накаленные добела извилистые проводки. Гоша зажмурился, рванулся вперед, перелетел через забор

и не рассчитал: нога подвернулась, он чуть не ткнулся лицом в густую пыль на дороге.

— Вот зараза! — выругался он.

— Эй, знакомый голос!.. Ты что тут делаешь?

Гоша удивленно поднял голову и увидел перед собой Сергея. Тот стоял посреди дороги, сунув руки в карманы, широко улыбался. Непокорная прядь волос выбилась из-под козырька штурманки.

— Это что — ночная тренировка, бег с препятствиями? — спросил Сергей.

Гоше стало неловко. Он отвел взгляд и начал стряхивать пыль с брюк.

— Что же ты молчишь? — Сергей вынул руки из карманов, щелкнул портсигаром. — Все-таки любопытно, от кого ты так отчаянно убегал? Взять такую штуковину с ходу не всякий решится, — указал Сергей папирсой на забор. — Может, ты ограбил сад и за тобой гонятся овчарки?

— Ничего я не грабил, — буркнул Гоша и подумал: «Он проходил мимо дерева, другой дороги нет».

Сергей рассмеялся.

— Отлично, Гошка! Я очень рад, что ты оказался честным человеком. Грабить — это нехорошо... Но тогда, наверное, у тебя завелась девчонка, и когда ты собрался проникнуть в ее спальню, родитель выскочил с дубиной... Что, и этот сюжет не подходит?

— Не подходит, — уже оправившись, ответил Гоша. — Зачем лезть в спальню летом?

— Ого, тогда, может быть, ты объяснишь, чем вызван этот цирковой номер через забор?

Гоша смотрел в его чуть удлинненное лицо с узкими, насмешливыми глазами, и все его давешние подозрения да и вся история, приключившаяся с ним, показались ему удивительно глупыми. Он облегченно улыбнулся Сергею.

— Просто... я решил прогуляться.

— Станный способ для прогулок, — сказал Сергей, закуривая. — Хотя нынче прыжки в моде. Танцуют же люди рок-н-ролл... У тебя он получится,

Гошка... Ну, я пойду, не буду тебе мешать. Валяй прыгай дальше.

— Обожди, — попросил Гоша, — пойдем вместе. Ты встретил Надю?

— Чудак! Для чего же я торчал на ступеньках вокзала?

Гоша покраснел. Он почувствовал себя виноватым и насупился. Сергей же понял его задумчивость по-своему, обнял Гошу за плечи.

— Да ты не сердись. Просто у меня хорошее настроение. И вечер сегодня, смотри, какой отличный. Правда, пахнет степью?

Гоша удивился. Ведь ему тоже показалось, что у них во дворе стоит запах полыни.

— Правда, пахнет, — сказал он.

— Эх, на твоём месте, Гошака, я влюбился бы в какую-нибудь девчонку и, честное слово, не пропускал ни одного такого вечера. Последнее тепло стоит. А ты небось завалишься спать?

— Нет, — ответил Гоша и соврал: — У меня есть книга.

— Я с удовольствием дал бы тебе очередной мат, — сказал Сергей, — но жертвую шахматами ради воздушной мотоциклетки.

— Будешь чертить?

— Буду чертить. Когда Надя дежурит ночью, всегда черчу.

— Я знаю.

— Скоро дойдет до тебя очередь. Будешь монтировать радиооборудование. А потом я подарю тебе эту мотоциклетку, чтобы ты больше не прыгал через заборы и до места свидания добирался по воздуху. Кирилл у себя?

— К нему придет Маша, — неожиданно сказал Гоша.

— Ты все знаешь, кутенок?

— Я давно знаю.

— Ну что же... Все-таки и тебе пора заводить девчонку.

— Пробовал, — улыбнулся Гоша. — Не любят они меня что-то. Видел, какая красивая летела се-

годня с нами? Я три раза выходил к ней из кабины. Один раз даже спросил: «Вам не плохо?»

— А она?

— Она сказала: «У вас эти веснушки настоящие или вы их специально так намазали?..» Ты не знаешь, Сергей, может быть, есть такой мазут, чтобы согнать эту гадость с лица?

— Говорят, горчица с уксусом.

Гоша внутренне улыбнулся, но ответил серьезно:

— Надо попробовать.

— Пробуй, приятель. Спокойной ночи.

Гоша посмотрел, как Сергей двинулся дальше по улице, и вздохнул. Ему не хотелось опять оставаться одному. Он взглянул на окно Кирилла, оно было освещено. Значит, Маша еще не пришла. Надо быстрее убираться в свою комнату, чтобы не повстречать ее здесь, на дороге.

2

Кирилл открыл глаза. Маша стояла у порога и, помахивая узорчатой пластмассовой сумкой, смеялась.

— Что? — еще не придя в себя, спросил он.

— Ты думаешь, стол — хорошая подушка?

Тогда Кирилл вспомнил: взял газету, хотел прочесть, но перед глазами все время вставало такое знакомое и в то же время чужое запрокинутое лицо. Он думал об этом весь вечер, как только вошел к себе. С кем была Надя?.. Нет, ему не почудилось, он видел сам, и Гошка тоже видел. Гошке вовсе не зачем знать об этом, поэтому он постарался сбить его со следа. Было ясно, что и Сергею не стоит пока говорить. Кирилл сначала узнает сам, а там... там видно будет. Может быть, все это пустяки.

Он так и не сумел прочесть газету. Усталость и тревоги сегодняшнего дня одолели, и он, сидя за столом, заснул.

— Притомился? — участливо спросила Маша.

— Есть маленько. — Кирилл потер щеку, на которой отпечатался рубец от края стола. Он сидел

без рубахи, в белой майке, и округлые тугие мышцы плеч поблескивали загаром в свете электрической лампы.

Маша скользнула взглядом по комнате. Так она делала каждый раз, словно прикидывала: надо ли здесь убрать? Но в комнате всегда все было прибрано. Маше это не нравилось.

— Тебе постирать не надо?

— Пока нет.

Кирилл давно привык к одинокой, холостяцкой жизни и делал все сам. Комната его была обставлена просто: тахта, застеленная ковриком; рядом с ней тумбочка, на которой отсвечивал полировкой приемник; квадратный стол у окна — он и обеденный и письменный; в простенке несколько полок с книгами и небольшой платяной шкаф — вот и вся обстановка. У окна на голой стене висела цветная фотография: девочка, повязанная, как матрешка, красным платком в белый горошек, прислонилась к березе; в руках у нее лукошко с земляникой и цветами, а за ней яркий клочок чистого знойного неба.

— Ты ужинал? — спросила Маша, хотя заранее знала, что он, как всегда, ответит: «Ужинал». Но сегодня ей не хотелось, чтобы он отказывался, и поэтому, не дожидаясь ответа, Маша тут же предложила: — А я икорки из буфета принесла. Получила нынче. Целый день у стойки, а вот голодная. Может, поешь со мной?

— Пожалуй, поем, — раздумчиво ответил он.

— Правда? — обрадовалась Маша. — Там, на кухне, пол-литра есть. Выпьешь стопочку?

— И стопочку выпью.

Она легко выбежала на кухню и тотчас вернулась с тарелками и бутылкой, вытащила из сумки свертки. Кирилл смотрел на ее крепкие розовые руки.

Маша была рыжая. Правда, волосы ее не полыхали огненно-красным пламенем, а были каштановые, только с медным отливом. Но в порту все равно ее называли рыжей. Ресницы она не подкрашивала, и

они тоже казались тонкими медными проволочками, и сквозь них смотрели бойкие зеленоватые глаза.

Она умела одеваться, никогда не носила ярких цветных платьев, которые не шли ей. Вот и теперь на ней была тонкая из серой шерсти кофта и синяя узкая юбка. В этом наряде она выглядела совсем девчонкой, гибкой и ловкой.

Маша с таким удовольствием раскладывала по тарелкам закуску, нарезала хлеб, бренчала вилками, будто в доме ждали гостей. Видимо, она обрадовалась хоть этой небольшой возможности похозяйничать в доме Кирилла.

— А ты знаешь, у нас новость, — говорила Маша. — Вася Голубев прилетел со своим вертолетом. Я думала, они худющие вернутся, а он здоровый как черт. Ребята смеются, что он китовый жир употребляет. Несколько месяцев за китами охотились. А что, Кирилл, на этой «Славе» небось тоскливо было?

— Не знаю, Маша, не бывал там.

— Важный Вася стал. Привез ребятам зажигалки и еще разную чепуху. «Это, — говорит, — в порту в Африке купил». Выпили они у меня подле буфета по стопке. В отпуск теперь уходят, потом в санавиацию их прикомандируют. Вертолетчики. Тебе нравится вертолет?

— То есть как?

— Ну, вообще... Мне так совсем не нравится, как стрекоза большущая. Некрасивая машина. Верно ведь?

— Разве все дело в красоте?

— Ну все-таки хорошо, когда приятно глазу... Ну вот, у меня и готово. Ох, какая я голодная. Выпьем?

— Выпьем.

Кирилл посмотрел, как Маша выпила водку, зажмурившись, словно собиралась прыгнуть откуда-то с высоты, и улыбнулся. Смешная девчонка. Когда она стала ходить сюда, он пробовал жалеть ее, даже говорил: нехорошо, мол, он ведь и не молод, ему тридцать семь. Но Маша относилась к этому легко, ласкалась гладкой щекой о его грудь:

— А мне-то что? У меня никого нет, кроме тебя.

Она говорила, что терпеть не может запаха водки, первое время за стойкой в буфете ее тошнило. А вот поди ж ты, выпила сейчас, чтоб заставить его поужинать вместе.

Маша откашлялась, на глазах ее выступили слезы, но она храбро кивнула головой:

— И вовсе даже не страшно. Что ты смеешься? Я могу еще выпить.

— Нет уж, — сказал Кирилл и отодвинул бутылку. — Еще станешь пьяной и начнешь бить посуду.

— У меня батя был пьяницей. Не веришь?

— Смотри! Это, говорят, опасно. Бывает наследственное.

— Мне не опасно. Я все время эту гадость продаю. Опостылела. А батя у меня, верно, крепко любил выпить. Добрый был. Один за стол обедать никогда не сядет, всегда мужика какого-нибудь найдет. У нас в деревне татарин был полоумный — Ибряйка. Он его часто к себе водил. Посадит за стол, и вместе обедают. Говорил: «Ибряйка больно аппетитно ест». Один раз остался в хате, мы с мамкой уехали. Пошел на какую-то гулянку в новом костюме, пришел пьяный-пьяный. Лег спать да перед сном закурил махорки, потом сунул окурочек в карман пиджака — плохо соображал. А там спички. Огонь как полыхнул на штору. Хорошо, люди увидели, загасили пожар. Приехали мы с мамкой, а у него от нового костюма только воротничок остался. Ух, мамка и ругалась!...

Маша засмеялась. Кириллу нравилось, как она смеется: негромко, словно сдерживая себя, а широко открытые глаза становятся лукавыми.

— В деревне так, — сказал он, намазывая на хлеб икру.

— Ты, кажется, тоже из деревни?

— Нет, не из деревни и не из города.

— Это как?

— А вот так, у путевого обходчика рос, в будке. По правую сторону в двенадцати километрах — го-

род, по левую в пяти километрах — село. Ни к селу в общем, ни к городу.

— Это твой отец был путевой обходчик?

— Нет, ни отец, ни родич кровный.

Кирилл положил нож на стол. Странно, что они об этом никогда не говорили. Впрочем, он не любил рассказывать о себе. Может быть, сейчас это от выпитой водки? Маша непонимающе смотрела на него.

— Вот так, Маша: ни отец, ни родич кровный, — повторил он.

— А где же твой-то?

— Мой-то?.. А вот я не знаю, где моя. Подкидываю. Шел по путям обходчик Тарас Иванович Гудов. Эмелю должен был проследовать с фронта. Шел обходчик и увидел на рельсе узелок. Подошел ближе — пищит... Вот так я на рельсе и родился.

Кирилл слабо улыбнулся. Маша смотрела на него широко раскрытыми глазами, и медные ресницы ее едва приметно вздрагивали.

— Что, страшно?

— Страшно, — ответила Маша. — Как же это можно на рельс положить?.. Что же они, звери, что ли?

Сказала и сейчас же испугалась: не обидела ли Кирилла? Он повертел в тяжелой ладони стакан и опять слабо улыбнулся:

— Год был такой — двадцать первый: голодный... Ты почему не ешь? Ведь проголодалась.

— А я уже все... Ты будешь еще?

— Нет.

— Тогда я уберу.

Она засуетилась, стала собирать тарелки, словно хотела уйти подальше от этого разговора.

Кирилл взял папиросу, закурил и прошел к тахте. Маша вышла на кухню, и он услышал, как там заплескалась вода. За окном плыл сизый туман: наверное, луна вышла из-за облаков и осветила землю. Было слышно, как ворочался и вздыхал под яблоней Пушок. «Не надо было говорить ей об этом, — подумал Кирилл, — старое прошло и никому теперь не нужно. Так зачем вспоминать?»

Маша вошла, вытирая руки полотенцем; она была без кофточки: сняла, чтоб не забрызгать на кухне. Покатые розовые плечи ее совсем не тронул загар. Она села рядом с Кириллом, прижалась головой к его плечу и снизу робко заглянула в лицо:

— Ты не будь грустным, ладно?

— Ладно, — улыбнулся он и погладил ее по плечу, сразу ощутив под ладонью нежную прохладу.

Маша искоса взглянула на стену, где висела цветная фотография. Кирилл перехватил ее взгляд. Он давно заметил, что в такие минуты Маша стеснялась этой девочки-матрешки.

— Погаси свет, — шепнула Маша.

Он протянул руку, шелкнул выключатель, и сразу же в окно хлынул, будто прежде сдерживаемый невидимой преградой, клубящийся дымный свет. Он упал на Машино лицо, высеребрил прядку ее волос. Маша подняла руку, обхватила шею Кирилла, и он увидел рядом с собой запрокинутое лицо, на нем робкую, опасливую улыбку, тонкую складку меж бровей и широко открытые глаза. Это лицо было так схоже с тем, что вырвали из темноты фары автомобиля, что Кирилл невольно отшатнулся.

— Ну что же ты! — тихо сказала Маша.

...Солнце, еще робкое, косым лучом входило в окно, падало Маше на волосы; она расчесывала их, и казалось, что сквозь пальцы пробиваются веселые языки пламени. Заколки торчали у Маши во рту, и поэтому лицо было по-детски напряженным, будто собиралась она вспрыгнуть на подоконник. Да, было в ней что-то детское, словно у девочки-матрешки, которая удивленно смотрела с цветной фотографии.

«А похожи», — подумал Кирилл. Он лежал не шевелясь. Маша почувствовала на себе взгляд, сразу же вынула изо рта заколки, обернулась:

— Проснулся?

Кирилл досадливо поморщился, ему не хотелось тревожить ее, доставляло какую-то радость так вот смотреть со стороны.

— Думала, еще поспишь чуточку. Будить не хотелось.

Она поправила на подоконнике походное зеркало, перед которым он обычно брился, и заколола волосы.

— Ты отвернись, я оденусь, — сказал Кирилл. Он никогда не одевался при ней, не любил, чтоб она видела его несобраннм. «И тут должен быть порядок».

— Ладно, — ответила Маша и отвернулась к окну, сдержанно вздохнула. Начертила что-то пальцем на стекле. — Можно тебя, Кирюша, спросить?

— Спрашивай, — весело отозвался он, натягивая брюки.

— Ты любишь меня? — Таким тоном обычно спрашивают девочки у родителей разрешения пойти погулять.

— Не знаю, — засмеялся он.

Маша помолчала, палец застыл на стекле.

— Ну и наплевать, — тряхнула она волосами. — Все равно полюбись.

Ему было весело от ее вопросов: «Женщины чертовски любят выяснять отношения».

— Мне уже можно обернуться?

— Валяй.

Маша повернулась, глаза их встретились, и оба вдруг рассмеялись.

— Ух ты, противный! — погрозила ему пальцем Маша. — Иди умывайся. Гошка уже в окно стучал, на рыбалку зовет...

3

«Москвич» оглушительно чихнул и заглох.

— Старая история, — сказал Кирилл. — Давно бы надо починить бензопровод.

Гоша чуть не стукнулся лбом о ветровое стекло. Он ехал в каком-то полудремотном состоянии. Его все еще окружали запахи сырой земли, застоявшихся туманов, гнилых яблок. Все-таки славно провели они с Кириллом этот выходной денек в лесу у реки. Правда, клев был не ахти какой, но все же на уху набралось рыбешки. Они наломали сушняка, разожгли костер и варили уху в небольшом закопчен-

ном казанке. Неподалеку застыли черноствольные грабы с позолоченными верхушками. Дикая черешня, насытившись солнечным лучом, докрасна накалила листья. Они горели ярко, и чудилось: указывали тропки, по которым прошло на заре и оставило следы осеннее утро. Над рекой плыл тихий неясный звон от похолодевшей волны, и другой берег, где раскинулся старый сад, казался совсем близким: как сквозь увеличительное стекло, было видно каждую былинку, каждый притаившийся на ветвях листок.

Перед Гошей все еще жил весь этот день, наполненный треском сучьев в костре, голубым свечением неба, тихой песней, которую напевал вполголоса Кирилл. И жаль было одного: что не поехал с ними Сергей. В последнее время стал какой-то одержимый, не расстается со своей воздушной мотоциклеткой: чертит и чертит.

— Ну вот, видишь! — крикнул Кирилл. — Я же говорю, старая история.

Гоша нехотя вылез из машины, размял затекшие ноги.

Они были совсем недалеко от дома. Сумерки, мягкие, как синий туман, уже вползали в переулки, хотя вверху было еще светло.

Капот был открыт. Гоша посмотрел на мотор, поддакнул:

— Да, старая история.

— Ничего, — сказал Кирилл, — сейчас выпутаемся. Тащи ключ.

Гоша направился к багажнику, но не сделал и двух шагов, как услышал женский плач. Кто-то плакал громко, безутешно, и в наступившей предсмертной тишине здесь, в тихом переулке, голос человеческого горя невольно заставлял сжиматься сердце. Гоша быстро оглянулся и по тому, как настороженно смотрел Кирилл, понял, что и тот услышал этот плач.

— Что это? — спросил Гоша.

Кирилл неопределенно пожал плечами:

— Пойдем поглядим.

Они торопливо прошли за угол и увидели: возле забора стоит высокий парень, широко расставив ноги, подавшись корпусом вперед, а перед ним на стежке, закрыв лицо руками, прислонясь к забору, плачет девушка. В сумерках еще можно было различить лицо парня, красное, продолговатое, с тяжелыми скулами. Девушка была худощавой, светлые густые волосы падали ей на плечи.

— Ну, пусти... пусти, — всхлипывала она, дрожа плечами.

— Эй! — окликнул Кирилл парня. — Что это ты, а?

Парень был выше Кирилла. Не повернув головы, он сплюнул сквозь зубы, переступил с ноги на ногу. Гоша на всякий случай зашел сбоку. В это время девушка оторвала руки от лица, и Гоша увидел ее большие заплаканные глаза. Гоша терпеть не мог женского плача. Когда ему случалось на вокзалах во время посадки увидеть заплаканное женское лицо, он отворачивался или спешил быстрее пройти мимо. Заметив незнакомых людей, девушка выпрямилась и, стесняясь своих слез, сердито сказала:

— Пусти же!

— К-куда? — глухо сказал парень, качнулся вперед, косо усмехнулся.

— Петя, люди же, — попросила девушка.

Лишь тогда парень медленно повернул голову в сторону Кирилла и прохрипел:

— Чего надо?

— Ты что же девушку обижаешь? — спросил Кирилл.

— Тебе какое дело?

— Есть дело.

— Ишь ты! — От парня несло винным перегаром. Он осклабился и тут же нахмурил лоб: — Она же невеста моя.

— А если невеста, так как же ты с ней потом будешь, если сейчас позволяешь?

— Гляди-ка, учитель!

— Учитель..

Парень презрительно сморщился, протянул руку,

взялся за козырек Кирилловой штурманки и нахлобучил ему на лоб.

— Шкет, — сказал он и громко рассмеялся. — Топай откуда пришел.

Кирилл спокойно поправил штурманку. Гоша заметил, как пробежала дрожь по его смуглой щеке.

— Ай-ай, — покачал головой Кирилл, — некрасиво выражаешься.

И тут парень не выдержал.

— А-а! — вскрикнул он и выбросил вперед кулак. Но Кирилл словно ждал этого. Не успел Гоша опомниться, как Кирилл, увернувшись от удара, схватил парня за руку, одним рывком легко, как мешок с мукой, забросил его себе за спину, подержал так секунду и кинул через голову в пыль на дорогу. Тот распластался во весь рост, оглушительно чихнул.

— Будь здоров, — насмешливо сказал Кирилл, одергивая китель. Гоша рассмеялся.

Парень тяжело поднялся с земли и, отфыркиваясь, отдуваясь, не понимая, что с ним произошло, ошалело смотрел на Кирилла. А когда тот шагнул навстречу, попятился.

— Вон! — властно прикрикнул на него Кирилл, и парень, вдруг подчинившись окрику, сорвался с места и побежал, неловко тряся и виляя задом. Подле угла он остановился, оглянулся, боязливо погрозил кулаком:

— Ну, попадешься!

Кирилл насмешливо покачал головой:

— Вот ведь черт, еще грозит!

Девушка всхлипнула. Она стояла на прежнем месте, ссутулив спину, и худенькие плечи остро торчали под вязаной синей кофтой.

— Что, жениха жалко? — спросил Кирилл.

— Какой он мне жених! Проходу не дает.

— Не жених, так зачем же плакать?

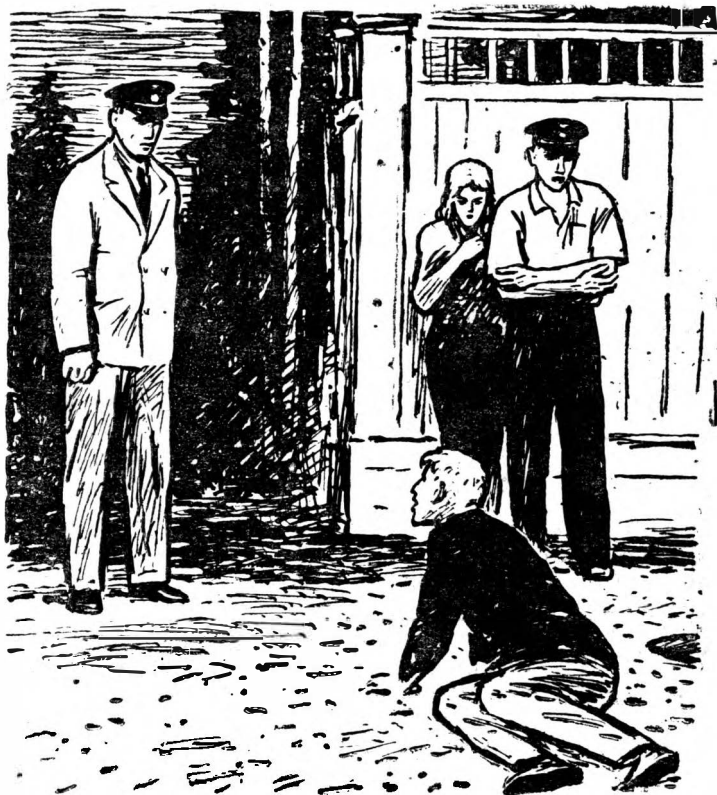
— Боюсь, прибьет. Как идти домой?

Кирилл повернулся к Гоше:

— Проводи-ка девчонку.

Она просяще торопливо сказала:

— Мне недалеко, два квартала.



Гоша смутился от взгляда ее больших влажных глаз и, чтобы скрыть это, грубовато буркнул под нос:

— Ну, пошли.

Она доверчиво взяла его за локоть, зашагала рядом.

— А вы не боитесь? — зашептала девушка. — Может, он за углом прячется?

— Не боимся, — ответил он, все еще не сумев отделаться от смущения, и тут же посмотрел на тем-

невший впереди угол. Черт его знает, может, парень и в самом деле там прячется? Ну и что же? В случае чего Кирилл-то ведь рядом.

— Вы тоже умеете... так... через голову? — спросила девушка.

— Умею, — неожиданно соврал Гоша и покраснел. Она успокоенно вздохнула, как вздыхают дети во сне после слез.

А темный угол надвигался, будто туча, заслоняя собой все. «Что это я, боюсь?» — подумал Гоша, сжимая кулак в кармане. И тут же ему очень захотелось, чтоб парень действительно прятался за углом. Гоша даже и не подумает кликнуть Кирилла. Разве у него не хватит сил? И громко, чтоб было слышно за углом, спросил:

— Чего он к вам пристаёт?

— Так... — ответила девушка, но, видимо решив, что таиться ей незачем, сказала: — Мы дружили с ним немного... Потом он женился.

— Он женатый? — удивился Гоша.

— Ну да... Она старше его. У нее квартира. Вот он и женился. А теперь все ходит ко мне, грозится: «Увижу с кем — убью».

— Вот ведь мразь какая, — возмутился Гоша. — Зря вы его боитесь. Да я бы...

— Не так уж и боюсь... — тряхнула волосами девушка. — Скандала не хочется, на фабрике узнают.

Угол был в двух шагах. За ним уже сгустились черные тени, и они колыхались, будто кто-то беспокойно бродил там. Но Гоша не замедлил шага. «Ну, выходи... выходи...» — думал он, подзадоривая сам себя. И чтоб казаться спокойным, спросил у девушки:

— А вы на какой фабрике работаете?

— На трикотажной.

— Он тоже?

— Да, слесарем.

— А разве на трикотажной фабрике есть слесари?

— Есть.

Перекресток остался позади. Только когда про-

шли еще несколько шагов, Гоша решил оглянуться. Девушка вздрогнула.

— Что?

— Ничего, — улыбнулся Гоша.

Он посмотрел на нее сбоку. В густых сумерках лицо девушки казалось строгим и удивительно красивым. Он даже хотел сказать ей об этом, но промолчал и лишь вздохнул. Они прошли еще один квартал, девушка остановилась у какого-то невзрачного дворика.

— Я здесь живу, — сказала она, и в голосе ее появились суховатые нотки. — Спасибо, что проводили. — И шмыгнула за калитку. Простучали шаги, и уже откуда-то из темноты до Гоши долетел ее вскрик: — До свидания!..

Когда Гоша вернулся к машине, то увидел, что Кирилл орудует гаечным ключом.

— Все в порядке, можно ехать, — сказал он, закрыв капот.

Фары «Москвича» высветили дорогу. Навстречу летел серый выщербленный асфальт. «Удивительно, — думал Гоша, — просто удивительно. — Он не мог придумать никаких других слов, и только это все время вертелось в его сознании. — Удивительно!»

Вот и дом, в котором они живут. Деревянная калитка, старая яблоня.

— Кирилл, — тихо позвал Гоша, — а, Кирилл... Тот повернулся к нему.

— Слушай, ты научишь меня... как ты давеча... через голову?

Кирилл с секунду непонимающе смотрел на него и тут же рассмеялся, хлопнул по плечу:

— Научу! Открывай-ка калитку!

ГЛАВА ВТОРАЯ

«...Все дело в том, что надо как следует понять, что такое небо.

В сторожку путевого обходчика привез меня Кирилл совсем мальчишкой.

Он тогда сказал:

— Хватит тебе, Гошка, у солдатского котла кормиться. Пора человеком стать.

Я спал на койке у окна, в которое виден был лоскут неба. Небо было то зеленое, с желтоватым отливом внизу, то серое, с хмурыми задумчивыми складками облаков, то трепетало густой синевой, будто бы все время старалось стряхнуть налипшую белую звезду. Я любил смотреть в крохотное оконце. Случалось, по ночам просыпался, видел дымный круг луны, и тогда что-то подступало к самому сердцу, звало, манило...

Теперь, когда сижу в кабине самолета у радиостанции и смотрю за боковое стекло, иногда вспоминается сторожка. За бортом бесконечно струится голубой свет, я слышу в наушниках далекие вздохи и слабое эхо ударов: где-то, будто подводные рифы, затаились грозы, нарождаются циклоны и тянут сюда, к спокойным высотам, косматые лапы ветров... Нет конца этому небу. Наверху, над трассами реактивных самолетов, плывут прозрачные, как спиртовое пламя, «перламутровые» облака; дальше синее небо, превращаясь в извечную ночь; там царство ракет и спутников, полярных сияний и космической пыли. Все выше и выше уходит мрак бесконечности, озаренный созвездиями. Вот оно какое, небо, большое небо над землей.

Кирилл сказал однажды:

— Небо не любит лжи. В нем — все правда.

И это тоже надо уметь понять...»

1

Что бы ни делал Кирилл, он все время помнил о Сергее и Наде.

Много женщин встречал он за свою жизнь: открытых и озорных, которым все трын-трава, гордых и умных, что свысока поглядывали на мужчин, и таких, что без остатка отдавали любовь лишь любимому, пугая других недоступностью. Много разных женщин встречал Кирилл и легко разгадывал их.

Но с первых дней, как пришла к ним Надя, он встретился, сам не понимая почему. Может, чуял, что в этой молчаливой женщине есть такое, что рано или поздно раскроется, и тогда все вокруг рухнет, станет иным, нарушив привычное. А Кирилл не любил неизвестности. Жизнь приучила его к порядку, он должен был знать все наперед. Всякую неожиданность он воспринимал как свой промах, как неумение рассчитать силы и увидеть, что его ждет. У человека может быть много неудач, много промахов, но на долю его выпадает всего одна катастрофа. Тогда ставится точка. Он это видел не раз и в небе и на земле. Потому-то в самой глубине души, с той поры как привел к ним Сергей Надю, затаилась у него тревога.

В тот вечер, когда он ехал с Гошей на «Москвиче» из порта и увидел с кем-то Надю, он сразу же обеспокоился. Но все пока было неясным, как в плотном тумане, и он не знал, что должен делать, чтобы прийти на помощь людям, которых любил. Так бывало во время полета: чувствуешь, что самолету грозит беда, но не знаешь откуда, — спокойно вокруг небо, и весело урчат двигатели, но что-то неведомое подкрадывается со стороны, чтобы обрушиться и захлестнуть корабль.

И теперь, когда Кирилл увидел Сергея и Гошу рядом, чувство тревоги шевельнулось в нем. Сергей и Гоша ждали его во дворе под яблоней, там, где терпеливо стоял всегда готовый в дорогу «Москвич». Они сидели рядом на скамье, оба в светлых форменных рубашках, у обоих на голове темно-синие штурманки. Гоша — губастый, угловатый, с большим, как у утенка, носом, а Сергей — весь легкий, ладно собранный, с вечной белозубой усмешкой и непокорной прядкой серо-желтых волос над козырьком. «Не сболтнул ли чего Гоша?» — подумал Кирилл, но тут же успокоился: Сергей, размахивая папиросой перед Гошкиным носом, сыпал и сыпал словами:

— Ты темный человек, Гошка! Это будет потрясающая мотоциклетка. У нее складываются крылья. Она меньше нашего доходяги «Москвича» и может

стоять в любом дворе. Вертикальный взлет, как у вертолета. Но это совсем не вертолет. Есть крылья, есть твердая опора в воздухе, есть винт, черт возьми. Век автомобиля кончается. Хватит пачкать улицы.

— Будем пачкать воздух, — поддакнул Гоша.

— Грубиян, — укоризненно покачал головой Сергей. — Воздух пачкать нельзя. Сравни: воздушный океан и тесное пространство асфальтовой трассы, зажатое домами. Мотоциклетка с любого двора, без всякой стартовой дорожки поднимается в небо. А стоит копейки.

— Всего каких-нибудь сто тысяч, — опять перебил Гоша и при этом сделал широкий жест рукой, словно бросил на стол кошелек.

Сергей рассмеялся и погрозил:

— Я тебя, Гошка, когда-нибудь вздую.

Кирилл послушал их, успокоенно улыбнулся и сошел с крыльца. Первым его увидел Сергей.

— О, командир! Доброе утро!

— Доброе, — сказал Кирилл и повернулся к Гоше: — Ты что его дразнишь?

— Как можно, командир, мирная беседа с изобретателем.

— Слушай, — притворно надулся Сергей, — будет опытный образец, я не дам тебе даже прокатиться.

— Жмот, — уныло буркнул Гоша и полез в машину.

«Москвич» пробежал по зеленому переулку и вырвался на широкую гладь асфальта большой улицы. Это была особая минута. Каждый раз, когда экипаж из трех человек отправлялся в аэропорт, в машине молчали. Так повелось издавна. Может быть, это шло от древнего русского обычая: посидеть помолчать перед дорогой, а может быть, каждому хотелось побыть в этот короткий срок наедине с самим собой. Как бы там ни было, но изо дня в день эти три человека: командир корабля, второй пилот и бортрадист — строго соблюдали ими же введенный ритуал молчания. До сих пор его никто не нарушал.

Кирилл сидел за рулем, неторопливо вел машину и щурился от солнца, которое било в ветровое стекло. Впереди, там, где расступались дома, полыхало голубым неярким пожаром небо. Оно было ласково и спокойно. В нем не нарождалось ни гроз, ни циклонов, даже облака не омрачали его голубизны: ровная чистая долина невидимых дорог и троп, залитая струящимся золотом солнечных лучей. Отсюда, с земли, небо казалось стиснутым домами, вершинами деревьев, холмами на горизонте, но Кирилл знал, что наверху оно бесконечно властвует над всем и эти дома, холмы и деревья не смогут служить ему преградой.

Он любил этот утренний час, когда течет по тротуару гулливый людской поток, и вглядывался в лица прохожих. Почти каждый день уже много лет он поднимает с земли самолет. И ему нравится думать о том, что вот идет меж деревьев высокий хмурый человек с портфелем, спешит в контору или конструкторское бюро к своим делам, а завтра может случиться так, что он поднимется в небо с другими двадцатью четыремя пассажирами, заняв свое место в самолете, и с тех пор жизнь его вовсе не будет безразличной для Кирилла. Поэтому все, кто двигался сейчас в утреннем потоке, были чем-то близки Кириллу, и он все вглядывался в лица, хотя и не запомнил ни одного из них...

Втроем они молча доезжали до порта, ставили машину под окном штурманской, где она терпеливо ждала их возвращения, шли завтракать. Так повторялось изо дня в день. Так было и сегодня. Каждый знал заранее, что ему делать. Поэтому, поднявшись из-за стола, они сразу же расходились в разные стороны.

Кирилл не спеша шел к диспетчерской, краем глаза поглядывая на взлетное поле, где застыло десятка два самолетов, поблескивавших серебром. Вдруг кто-то крепко обхватил его за плечи:

— Гудов, дружище!

Кирилл легко высвободился из объятий и оглянулся. Перед ним стоял плотный приземистый чело-

век с совершенно черным, продубевшим на солнце и ветру лицом. Кирилл не сразу узнал его, только высокие залысины на лбу и светлые брови, под которыми прятались голубые, как у ребенка, глаза, были удивительно знакомы.

— Голубев... Вася?

— Он самый, — довольно усмехаясь, ответил человек.

Кирилл сразу же вспомнил, что говорила о нем вчера Маша.

— Тебя, и верно, там китовым жиром откармливали — не узнаешь.

Голубев добродушно рассмеялся. Был он в ярко-белой рубашке-безрукавке, но при черном галстуке.

— Ну как там, в Антарктике?

— Скучать не приходилось. — Голубев вынул пачку сигарет. — Хочешь? Французские. Бьют наповал.

Кирилл взял сигарету, закурил. Табак был действительно крепкий, даже запершило в горле.

— Ничего, — сказал Кирилл. — С русской крепостью сделаны. Ты теперь отдыхать?

— Нет, — сказал Голубев. — Решил поработать, потом уж...

Кирилл внимательно посмотрел на него. Голубев всегда был тихим, смирным, сейчас же в нем появилось что-то новое, он и держался-то по-другому, и Кирилл скорее угадал, чем почувствовал, что этот человек требует к себе какого-то особого внимания, хотя он ничего такого и не сказал. Может быть, поэтому Кириллу сразу стало неинтересно с ним.

— Ладно, Вася, встретимся еще, поговорим.

— Спешешь? Ну, когда прилетишь, заходи ко мне на огонек. Интересные штуки покажу и угощу настоящим ромом. Придешь?

— Загляну как-нибудь, — неопределенно ответил Кирилл и в это время увидел Надю. Она шла по песчаной дорожке от вокзала, побледневшая после ночного дежурства; тугая коса ее безжизненно падала на плечо. Она шла, не глядя по сторонам, и на

строгом замкнутом лице не было ничего, кроме усталости. Все вчерашнее поднялось в Кирилле. «Надо узнать...» — жестко решил он и отвернулся.

2

Новый обширный порт, куда часто прилетал экипаж Гудова, всегда вызывал восхищение у Сергея. Ему нравилось здесь все: серое здание вокзала, чьи строгие, четкие линии создавали впечатление легкости и изящества — ничего лишнего; нравились посадочные площадки, на которых стайками теснились винтовые самолеты, продолговатые и кокетливые «ТУ-104», громоздкие и роскошные «АН-10», солидные корабли заграничных компаний.

Сергей любил не спеша пройти по широкому залу, где в низеньких мягких креслах за приземистыми столами сидели в ожидании пассажиры, любил послушать их разговоры о всякой всячине. Казалось, здесь собирался весь мир и вполголоса на разных наречиях выкладывал новости всех земель и континентов. И Сергей шел, как бог, сверху поглядывая на людей, словно следил, чтобы не случилось беды и не заварился какой-нибудь беспорядок. Иногда, обратив внимание на его штурманку, к нему обращались, спрашивали, когда полетит такой-то самолет. Он вежливо склонялся к креслу, указывал на стеклянную табличку справочного бюро:

— Это окно в мир. Там вы получите точную информацию.

Так он обходил зал из конца в конец и только после этого направлялся к лестнице, что вела в штурманскую. Кирилл и Гоша знали, что Сергея нельзя лишать этого удовольствия, и не мешали ему.

На этот раз Сергею не пришлось проделать своего обхода. Едва он переступил порог зала, как чуть не столкнулся с очень худым и очень высоким человеком.

— Сергиуш! — вскрикнул человек и ткнул его в грудь своей костлявой рукой.

— Юзеф! Черт возьми, я уже думал, не перевели

ли тебя на другую линию. Тебя не было целый месяц, дружище.

— Сергиуш! — опять вскрикнул долговязый и полез целоваться, тыча в щеку большими черными усами. — Просто у нас не совпадало расписание. Я соскучился по тебе.

Сергей лишь на миг кинул грустный взгляд на зал и спросил:

— Что же мы будем делать, Юзеф? Как обычно?

— О да, — обрадовался Юзеф и обнял Сергея за плечи. — Как обычно.

Этот польский парень приводил сюда свой корабль из Варшавы. Сергею всегда было с ним весело, а главное, Юзеф отлично играл в шахматы.

— У меня есть час, — сказал Сергей, — через час мы летим обратно.

— Добже, — сказал Юзеф, — за час ты получишь у меня два мата. Мы идем в буфет. — И важно pokrutil пальцем свои топорщащиеся усы.

Так, в обнимку, они прошли в буфет для иностранных летчиков, сели за столик. Здесь было тихо, лишь снизу едва долетал гул голосов да в открытое окно врывался привычный шум моторов с посадочных площадок. У колонны сидел толстый англичанин, ел ложкой красную икру.

— Опять этот англичанин здесь, — сказал Сергей. — И опять уплетает икру. Ты бы ему сказал, Юзеф, что он рискует испортить желудок.

— Не надо ему мешать. — Юзеф помахал длинным пальцем. — Пусть священнодействует. Он не портит себе желудок. Англичане никогда не портят его, даже если лопают сырое мясо.

— Но можно подумать, что он прилетает в Советский Союз только для того, чтобы заправляться икрой.

— Это почти так. Я сейчас принесу кофе, а ты расставляй.

Сергей вынул из кармана походные шахматы, с которыми никогда не расставался. Юзеф вернулся с кофейником и чашками, сел в кресло и уютно вытянул длинные ноги под столом.

— Ну вот, — сказал он и посмотрел на Сергея влажными глазами. — Теперь я вижу: вшистка впожондку.

— Все в порядке, — повторил Сергей. Они дружно расхохотались. Англичанин хмуро взглянул на них и облизал ложку.

— Итак, начнем, — сказал Юзеф и сделал первый ход. — Эту штуку придумал ваш Ботвинник. Посмотрим, как ты выберешься из нее.

— Как-нибудь, — улыбнулся Сергей.

Они пили медленными глотками кофе и передвигали фигуры на доске. Это не мешало им говорить. Со стороны даже казалось, что они больше заняты беседой, чем игрой.

— Ты еще не женился, Юзеф?

— Все женщины боятся моего роста. А как живет Надя? Ты передал ей мой привет?

— Я не ревнивый, Юзеф.

— О, берегись, если она увидит мои усы... Черт, я, кажется, сделал ошибку с этой пешкой.

— Ты сделал их уже много. Впрочем, ты слышал что-нибудь о летчике Сент-Экзюпери?

— Конечно, да. Француз. Писал книги.

— Так этот француз сказал, что, шагая от заблуждения к заблуждению, человек находит в конце концов путь, ведущий к свету... Будем считать твою потерю пешки первым шагом к свету.

— Ну что же, тогда уж не так плохо. Как твоя мотоциклетка? Она еще не летает?

— Нет, пока даже на чертежах не летает.

— Когда у тебя появится опытный образец, Сергиуш, пришли его мне. Я испытаю.

— Но я сам летчик.

— Разве ты не знаешь, что те, кто делает открытия, никогда не пользуются ими?

— Это не совсем точно, Юзеф, но... близко к истине... Что за открытка торчит у тебя из кармана?

— Ты знаешь мою слабость.

— Можно взглянуть?

— О, с удовольствием. Это репродукция с новой

потрясающей картины. Она называется «Обнаженная женщина». Держи.

Сергей взял открытку. В дикой смеси бурых, желтых, оранжевых красок можно было различить лишь отдельные детали: нос, глаз, ногу.

— Может быть, Юзеф, я держу ее вверх ногами?

— Нет, ты держишь правильно. Не правда ли, это здорово? Репродукции идут нарасхват.

— Ты в самом деле веришь, что здесь написана женщина, а не бегемот?

— А как же! Ты взгляни на краски.

— Слушай, Юзеф, а ты мог бы спать с такой женщиной?

— Сергиуш, не надо быть таким циником. За это я сожру твоего коня. К искусству надо подходить как к искусству.

— Ты серьезно уверен, что это искусство?

— Откровенно говоря, не совсем. Но у нас это иногда хвалят. А я коллекционирую хорошие открытки. Впрочем, абстракционизм...

— Черт с ним, с абстракционизмом.

— Согласен, черт с ним. Не будем ссориться из-за голой бабы.

— Все-таки ты хороший парень, Юзеф.

— По-варшавски, Сергиуш, это говорится так: парень «на сто два». Это я о тебе. Жаль только, что мы пьем с тобой коричневую бурду. С тобой полагалось бы выпить чего-нибудь другого.

— У нас за это гонят с работы.

— И у нас тоже, — вздохнул Юзеф. — Но мы еще встретимся, когда можно будет посидеть за настоящим стаканом.

— Обязательно встретимся.

— Может быть, ты когда-нибудь прилетишь в Варшаву в гости, и тогда мы пойдем с тобой в кафе «Новый свят». Нет, пожалуй, в «Рицлереску». И уж тогда...

— Лучше я приду к тебе домой, и твоя жена...

— Ты опять о том же, Сергиуш! Если бы я жил в Праге, то, наверно, давно бы женился. Там, говорят, есть клуб высоких, и туда не принимают мужчин

меньше чем сто девяносто сантиметров роста, а женщин... О, туда часто ходят женщины.

Англичанин за соседним столиком вздохнул и медленно побрел к стойке заказывать очередную порцию икры. Прошли мимо трое французов; они остановились на минутку, взглянули на шахматную доску и, о чем-то быстро затараторив, двинулись гуськом дальше. Луч солнца прополз от стены и упал на белый кофейник, весело расплылся по нему, дробясь на множество искринок.

— Сережа, — позвали от дверей.

Сергей оглянулся, увидел Гошу. Вздохнул огорченно:

— За мной пришли, дружище. Кончился наш час.

Юзеф уныло почесал затылок:

— Ну что ж, давай запишем партию. В следующий раз доиграем.

Они вынули записные книжки. Обоим не хотелось расставаться. У чувствительного Юзефа повлажнели выпуклые темные глаза.

— Попутного ветра, друг! — Он ткнул в плечо Сергея костлявой рукой. — Передай привет Наде. Расскажи ей про мои усы. Жаль, что я ее никогда не видел.

— Найти тебе хорошую девушку, Юзеф, которая не станет бояться твоего роста?

— О, это невозможно. Но спасибо. Будь здоров, Сергиуш.

— До видзенья, Юзеф.

3

У каждого свои воспоминания. Впрочем, Сергей не любил предаваться им, и все же нет-нет да вставало перед ним минувшее. Правда, порой казалось, будто того, что случилось, вовсе и не было, лишь приснилось в одну из ясных ночей...

Давно кончилась война, а он еще мыкался по госпиталям, бредил на жестких койках позывными, которые давно пора было забыть: «Штанга, Штанга! Я — Комета, иду на бубнового туза». И снился ярко-

красный, во весь фюзеляж, бубновый туз, потом удар, да такой, что штурвал вырвало из рук, черное небо и желтая земля.

А потом были горы, чужие горы. Выстрел в плечо. Он полз два дня... Сколько тогда он пробыл в госпитале? Разве теперь припомнишь? Затем полтора года скучной работы в диспетчерской и опять госпиталь... Когда он вернулся к своим в аэропорт, Кирилл сказал:

— К черту, Сережка, мы соберем тебе денег, поезжай куда-нибудь к морю, поживешь там, придешь в себя.

Он обозлился:

— Я не нищий и не пенсионер.

— Ну и дурак.

Кирилл все же собрал денег, от них нельзя было отказываться, потому что это значило плюнуть товарищам в лицо.

— Еду в ссылку, — горько шутил Сергей.

Теплоход был старый, с заклепками от пробоин. Ему пришлось повоевать здесь, на море, вместе с военными кораблями. Сейчас он боялся наскочить на мину, которые еще таились где-то в глубине, и шел медленно, покрхтывая и вздрагивая.

Сергей слонялся по палубе, смотрел, как переливались тяжелые глыбы воды. Вдали, где висел свинцовый туман, они сливались с небом. Там проходил как бы светораздел ночи и дня: черная бездна водных глубин и веселое в своей чистоте небо. Сергей впервые видел море, и оно не нравилось ему.

Небо и море... Есть люди, которые сравнивают их. Но разве можно сравнить водную пустыню, где мечутся чайки и альбатросы, от одного крика которых сжимается сердце, с гордой беспредельностью воздушных высот? Даже ночью небо веселее моря. И если наверху нарождается гнетущая наволочь — детище моря, дым его дыхания, — то всегда можно вырваться из нее и вновь увидеть над собой сияющий звездный мир, бойкую переключку огней, у каждого из которых миллион неразгаданных тайн.

Перед вечером теплоход начал подходить к ма-

ленькому портовому городку. Шел дождь. Волны у берега становились свирепыми, остервенело кидались на прибрежные камни. Несколько раз старик пытался причалить, летели канаты на бетонную площадку у пирса, но волны зло становились на дороге, и все начиналось сызнова. Наконец теплоход неуклюже привалился боком к бетону и встал, содрагаясь и всхлипывая.

Из-за грохота волн казалось, что дождь идет бесшумный, и в свете прожекторов было видно, как пробежал по глянцу камней дымок мелких брызг. У самого трапа, молча прижавшись друг к другу, стояла стайка женщин, распустив, словно летучие мыши крылья, зонты. Едва вступил Сергей на пирс, как женщины закричали:

— Есть комната! Садик, отдельная... Совсем недорого... Не пожалеете!

Сергей растерялся от этих криков. Оглядевшись, увидел, что несколько на отшибе от других стоит низенькая женщина и, взявшись двумя руками за ручку зонта, устало смотрит на него. Седая прядь волос упала ей на лицо, и она не убирала ее. Когда взгляды их встретились, женщина несмело шагнула вперед:

— Может быть, ко мне?.. Но у меня нет сада.

«Черт с ним, с садом, — подумал Сергей. — Зачем он мне?»

— Идемте.

Он глянул на теплоход; у трапа по-прежнему женщины осаждали пассажиров. Словно извиняясь за них, спутница Сергея сказала:

— Что же подделаешь, у нас одна крохотная гостиница. Людям надо ночевать. А для нас заработок. — И тут же кивнула на чемодан: — Вам помочь?

Сергей ничего не ответил и пошел вперед. Она догнала его. Узкие улочки городка были сейчас пустынные; кое-где пробивался из окон жидкий свет, и в полосах его сновали тонкие водяные змейки, с размаху ударяясь о гладкие кулаки булыжников.

Остановились у приземистого домика, не огороженного забором. Под ногами захлюпала вода. Он

услышал, как звякнул ключ в дверях. Запахло керосином и мылом. Кто-то заворочался в темноте.

— Ты, мама?

— Я.

— Привела?

— Да, спи. — И к Сергею: — Проходите направо, там ваша комната. Я зажгу свет.

Щелкнул выключатель. Сергей стоял посреди небольшой комнатенки с низким потолком. Белые стены, на них белое полотенце с вышитыми ангелочками, белые простыни на простой солдатской койке. Под полотенцем висела рамка с фотографиями, какие обычно встречаются почти в каждой русской хате.

— Вас устраивает?

Сергей посмотрел на женщину. Теперь при свете она не казалась такой низенькой и хрупкой, как на пирсе. Просто у нее были слишком усталые глаза и рано постаревшее лицо.

— Все хорошо, — ответил он. — Целый дворец. Женщина улыбнулась, развела руками:

— Что поделаешь... Вы надолго?

— Да, наверное, на месяц.

— Останетесь у нас?

— Я же сказал...

Она помедлила, поправляя подушки на койке:

— Значит, мне повезло... У нас остаются на ночь или две. Приходится много стирать. Ну, спокойной ночи.

— Одну минутку, — остановил ее Сергей и указал на рамку с фотографиями. — Вы давно здесь живете?

Она опять коротко улыбнулась.

— Все об этом спрашивают... Нет. Я местная. Это муж с Тамбовщины. Но то было очень давно... Ложитесь спать, поздно.

В этом южном городишке дни поплелись унылые, страшно похожие друг на друга: лечебница, столовая, море. На пляж, где, подставив солнцу животы и спины, лежали, нежась на гальке, курортники, Сергея не тянуло. Он уходил за городок. Там, меж двух ог-

ромных, потрескавшихся от времени и солнца валунов, облюбовал себе местечко. Отсюда был виден порт, груды ржавого железа, рыжие борта старых пароходов и неподвижные скелеты трех кранов. «Вытерплю как-нибудь месяц, — успокаивал он себя, — но все равно Кириллу этого не прощу». Волны подбирались к ногам, перебирали отшлифованные камешки, и они тупо постукивали, словно подкованные ботинки по асфальту.

Он жил в этом городке, набитом людьми, совсем один. Хозяйка старалась поменьше попадаться на глаза. Видимо, она считала, что человеку, приехавшему к морю на поправку, нужен полный покой. Пока он ходил в лечебницу и столовую, она убирала комнату. Он знал о ней лишь то, что услышал в первую ночь. Две пожелтевшие фотографии за стеклом в рамке рассказали не больше. Вот она, молодая, и рядом — хмурый человек; оба тупо смотрят в объектив фотоаппарата. А вот тут она чуть постарше, и опять с ней хмурый человек, и на руках у нее ребенок. На этой, второй, фотографии написано в углу, наискось, как резолюция начальника на докладной записке: «Привет из берегов Черного моря!»

Он знал, что женщина живет в соседней комнате, куда есть отдельный вход, не одна, а с дочерью. Сергей видел в открытое окно, как рано утром девушка проходила по двору, не глядя по сторонам, и возвращалась к вечеру. Раз а три они сталкивались в узком коридорчике — там стоял примус, висели по стенам кастрюли. Девушка безразличным взглядом, будто примелькавшуюся вещь, окидывала его и почему-то поправляла толстую косу, словно боялась, что он может дернуть за нее. Сергей даже не слышал звука ее голоса, разве лишь в ту ночь, когда пришел сюда: «Привела?» Какая-то отчужденность ощущалась между ним и хозяевами приземистой хатенки.

Так проплелась почти неделя...

Море добродушно ворчало у ног, как сытая собака. Сергей лежал на гальке и смотрел в небо, где таяли на синем пламени прозрачные хлопья облаков.

— Плкнуть бы на все да уехать домой. Человек тупеет от безделья!

— Вы мне?

Он вздрогнул и поднял голову. На валуне сидела, поджав ноги, хозяйская дочка. Только увидев ее, он понял, что говорил вслух.

— Нет, сам с собой, — ответил Сергей и от смущения нахмурился. — А вы зачем подслушиваете?

— Я не подслушиваю. Просто прихожу сюда купаться.

— Что-то я не видел вас здесь раньше.

— Сегодня у меня выходной день. Я только по выходным сюда прихожу.

— Тогда спускайтесь, а я уйду.

— Хорошо.

Она поднялась с камня. Странное было лицо у этой девушки: что-то диковатое было в нем и в то же время собранное, замкнутое; брови — черные, как наведенные, глаза — глубокие, настороженные, будто она все время чего-то ждала и опасалась. На ней была простенькая, много раз стиранная синяя кофточка и белая широкая юбка.

Сергей собрал свои вещи.

— Располагайтесь.

Наверное, голос у него прозвучал недружелюбно. Она покосилась в его сторону и глухо сказала:

— А отчего вы сердитесь, Сергей Николаевич?

Он удивился, его еще никто не называл здесь по имени и отчеству.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Паспорт ваш на прописку носила, — хмуро ответила она. — Если сердитесь, то я лучше уйду на пляж.

— Да я вовсе не сержусь, — торопливо ответил Сергей и, чтоб как-то смягчить ее, спросил: — Ну хорошо, вы знаете мое имя, а вас-то как зовут?

— Надя, — бесстрастно сказала она.

Он снова бросил свои вещи на гальку:

— Ладно. Посидим вместе, а потом по очереди искупаемся. Идет, а?

Сергей подумал, что Надя теперь улыбнется, но она так же ровно сказала:

— Хорошо.

Они сели рядом на камни, и сразу же наступила неловкая тишина. Он не знал, о чем с ней можно говорить. Надя охватила руками колени и смотрела на море.

— Скучно у вас тут, — сказал он.

— Нет, мне не скучно, мне некогда.

— Вы где работаете?

— На коммутаторе. Телефонная станция.

— Интересно?

Она пожала плечами:

— Теперь много клиентов. В разные города звонят.

— Ну, тогда вы все новости знаете.

— Тут больше такие новости: «Чувствую себя хорошо, загорела, целуй дочку». Или: «Плохо кормят, пришли денег». •

— Теперь я вижу, что у вас интересная работа.

Она повернулась, внимательно посмотрела, словно хотела убедиться, смеются над ней или нет. Взгляд ее скользнул по плечу Сергея, она указала на рану:

— Больно?

— Теперь нет. Подживает.

— Это на войне?

— Пулевое ранение.

— У нас тоже тут немцы были.

— Это они искромсали порт?

— Нет, это еще наши, в сорок первом, когда уходили.

— И вы все время тут жили, не эвакуировались?

— Мы не могли. — Она опять посмотрела в сторону моря. — Отец не мог, и мы тоже... Немцы повесили отца вон на том кране, видите, который справа.

Сергей посмотрел на железный скелет крана, уныло торчащий над портом, будто большой ржавый гвоздь.

— Их троих повесили. На каждом кране... Пять суток висели, а потом бросили в море.

Она говорила об этом привычно, как если бы речь шла о чем-то будничном и обыкновенном. А Сергею стало жаль ее, неловко сидящую и бесстрастно смотрящую в море.

— О войне лучше не вспоминать, — сказал он.

— Почему?

— Сразу всплывает много печального.

— А мне больше не о чем вспоминать. Я ничего не видела, только войну, а потом телефонная станция... Мама ходит встречать теплоходы. У нас ночуют люди. Их было тут столько, что я ни одного не запомнила. Приезжали и уезжали. Все заняты собой, когда попадают на юг. Мама говорит, что так и должно быть, мы не должны им мешать. Люди хотят отдохнуть, и у них мало времени для этого. Все ведь устали в войну. Вы тоже устали?

— Меня как раз мучают отдыхом.

— Вам не нравится здесь?

Сергей хотел ответить, что ему здесь все осточертело за эту неделю, но тут он впервые подумал, что и дома ничего хорошего его не ждет. На самолет его не пустят. Значит, опять придется сидеть в диспетчерской. Летчики называют эту контору местом, где кончается воздушная карьера. Там работают старики, вдоволь налетавшие за свою жизнь. А ему всего лишь двадцать три... Он ничего не сказал, встал и сразу же забеспокоился:

— Ну, купайтесь, а я пойду за камни, покурю.

— Мне что-то расхотелось купаться. А вам?

— Знаете, и мне тоже.

— Ну вот, а вы чуть было не рассердились, когда я пришла.

Надя впервые улыбнулась. И улыбка у нее была сдержанная, будто обращенная внутрь. А Сергей почему-то почувствовал себя неловко, что-то тревожное, щемящее легло на душу, захотелось побыстрее уйти отсюда. И Надя, словно угадав это, поднялась с гальки, зашагала по тропке вверх. Он быстро оделся, догнал ее за валунами.

Недвижно стояли сонные, задумчивые кипарисы, горели, прижимаясь к ним, нарядные олеандры, листья их лоснились и казались липкими, воздух был парной, душный от запахов жарких листьев, и даже море своим дыханием не могло развеять его.

Надя и Сергей медленно шли к городку; под ногами похрустывали ракушки, которыми была усыпана тропка. Ночи в здешних местах обваливаются на землю, как лавина, без сумерек, без долгих закатов. Солнце стремительно скатывается с неба, превращаясь в огромный ярко-красный шар, и тонет в море, заволакивая все окрест синим клубящимся паром.

Они подошли к городку, когда в окнах зажглись огни. По тесным улочкам двигались толпы людей, пестрые, шумливые, самоуверенные; они заполняли скверы, летние кафе и столовые. Запах цветов и деревьев становился гуще, кружил голову, вызывал жажду.

— Здесь как в набитом битком трамвае, — сказал Сергей. — Хочется вылезти на первой же остановке.

Надя не отвечала. Они вошли в парк, где стоял сплошной шорох в аллеях все от тех же ракушек, и наткнулись на просторную, ярко освещенную веранду. Оттуда неслась музыка, сновали официанты, пахло подгорелым мясом. Надя остановилась, посмотрела на нарядно одетых женщин, что сидели за крайним столиком.

— Может быть, зайдём? — неожиданно для самого себя предложил Сергей.

— Нет, — ответила она и отвернулась от веранды.

— А почему? Вам же хочется.

— Ну и что же... Просто я никогда здесь не была. И вообще никогда не была ни в кафе, ни в ресторане.

— Тогда тем более зайдём.

— Нет.

— Но почему?

— Так... Да мне и домой пора.

— Ждет мама?

— Ждет мама, и я немного устала. Я полдня стирала, возилась дома... А сегодня выходной, надо хоть выспаться.

— Ну что же, мы пойдем домой вместе.

В переулке у приземистой хатенки стояла, скрестив на груди руки, женщина.

— Это ты, мама? — сказала Надя. — Ждешь?

— Жду. — И женщина посмотрела на Сергея точь-в-точь таким же робким и неуверенным взглядом, как смотрела на пирсе, когда причалил старенький теплоход...

Табачный дым плыл по комнате, как кучевые облака. Койка казалась жесткой, кочковатой. Сергей поднимался, закуривал и вновь ложился на нее. Он ни о чем не думал, просто все время вставало перед глазами замкнутое девичье лицо, не давало забыть. Он прислушивался: нет ли шороха за стенкой, нет ли шепота? Но было удивительно тихо, лишь порой вспыхивали в темных углах комнаты далекие, как маяки, огни, от них тянулись тонкие стрелы, слепили глаза, и снова всплывал глубокий, затаенный взгляд. Снова и снова что-то нарождалось и рушилось, все вокруг становилось зыбким, призрачным и непонятным, как бред, как чувство тревожного полета, когда вдруг начинает не хватать рулей и самолет выходит из повиновения. Земля летит навстречу, слепя и пугая чернотой, и ты понимаешь, но бессилён что-либо сделать... Но вот вспыхивают вновь маяки, исчезает земля, и крылья обретают опору, оживает штурвал...

Сергей поднимался с койки, опять брал папиросу, бродил по комнате, пересекая полосу лунного света, и тогда все исчезало. Но стоило ему лечь, все начиналось снова...

Утром пришел к своим валунам. Море было спокойным, тихо всплескивало у самого берега. Вдали вставал над темной синью серенький туман; вверх он редел, превращаясь в неяркую голубизну.

Что было ночью? Это от одиночества и от тоски сдали нервы. Сейчас все кажется смешным и глупым. Увидел девчонку, поговорил с ней, и этого

хватило, чтоб в темных углах комнаты возникали миражи.

Сергей лежал на гальке. Очень хотелось посмотреть на валун, у которого сидела вчера Надя. Он не выдержал, все-таки посмотрел и сразу же рассердился на себя: «Глупо!»

Солнце било в глаза, слепило, мешало смотреть на море. К черту это море! Зачем он тут лежит, изнывая от безделья?

Он пошел в городок, был в лечебнице, в столовой, но к валунам не вернулся — просто шлялся по знойным улочкам города. Спадала жара. Вдруг он догадался, что надо пойти на почту: давно пора отправить Кириллу письмо. Тут же поймал себя на обмане, как наивного мальчишку, и все же дал себя обмануть.

На телефонной станции пахло клеем и чернилами. Жужжал железный вентилятор, вделанный в окно. Вдоль стен на стульях сидело несколько человек. В двух телефонных будках кричали во всю силу легких женщины.

— Целую, Саша!.. Что?.. Целую!

— Вышли плащ!.. Бестолковый, плащ!

Сергей посмотрел в окошко, над которым было написано «Прием заказов», и увидел Надю. Лицо у нее было сосредоточенным, серьезным, она смотрела в черную трубку и одной рукой прижимала наушники. Он сел на свободный стул, какой-то старичок склонился, прошепелявил:

— Вас Москва вызывает?

— Да, да, — ответил Сергей, не поворачивая головы.

Старичок еще что-то говорил, а он смотрел, как Надя то и дело выдергивает клеммы коммутатора.

Женщина все пыталась поцеловать по телефону Сашу, наконец сердито хлопнула дверью кабины:

— Слышно, как из гроба!

Тотчас в хриплом репродукторе раздался металлический голос Нади:

— Харьков, двадцать один, в первую кабину... Харьков, двадцать один... Где вы там?

Надя повернулась и увидела Сергея, с секунду удивленно смотрела на него, подавшись вперед, потом глаза ее сузились.

— Я — двадцать один. Но где же Харьков? — заслонив окошко, вопрошал грузный дядя в чесучовом пиджаке.

Сразу захотелось курить. Сергей нащупал в кармане папиросу, вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Меж кипарисами было видно, как склонялось солнце к морю; еще немного, и оно быстро покатится вниз. Рядом под широким цветным зонтом девушка в белом халате продавала газированную воду. Краник стеклянного баллона был не совсем исправным, с него медленными красными каплями срывался в подставленный стакан сироп. Капля за каплей, капля за каплей... Какие-то люди проходили мимо, кто-то толкнул ногой, выругался: «Ишь, расселся!» А капли падали медленно, нехотя... В городе, где он живет, уже опадают листья. Это красиво: кленовый лист на зеленой траве. Как-то в роще он целовался с девчонкой. Это было давно, за год до войны. Звали девчонку Валей. Они клялись любить друг друга всю жизнь. Им было тогда по пятнадцать лет. Они не знали, что такое любовь, но им нравилось говорить красивые слова.

— Окурки бросают в урну, а на ступеньках не сидят! — Это сказала женщина в синем халате. Она прошла мимо с метелкой и совком. Да, да, конечно, окурки бросают в урну, а на ступеньках не сидят. Он сейчас поднимется и уйдет. Глупо же сидеть здесь.

— А я думала, мне показалось.

Надя стояла рядом. Ему сразу же стало весело, он рассмеялся.

— А у меня уж давно галлюцинация, — сказал он, вскакивая. — Последние сутки мне то и дело чудится...

— Что?

— Вы.

Она улыбнулась, приняла все в шутку:

— А я выглянула в окошко, смотрю: вы сидите, потом почти на глазах растворились. Подумала, что это померещилось от усталости.

— А у меня от безделья. А может быть, и нет... Впрочем, говорю чепуху. Пошли!

— Куда?

— Все равно.

— Мне домой.

— Куда угодно, только не домой.

Сергей почувствовал: все в ней натянулось, словно она догадывалась, что произойдет в этот вечер. Она не сказала больше ничего, перекинула косу за спину и спустилась с крыльца.

Сергей видел ее побледневшую гладкую щеку, смотрел на нее и молчал, и так они шли мимо каких-то домов, скверов, мимо людей и всего на свете. И вдруг он увидел, что подходят к хатенке, неогороженной, без сада, — неохотно селятся тут приезжие. И стало страшно, что так все и кончится этим молчанием.

— Постой! — крикнул он.

Надя остановилась. Лицо ее тускло белело в темноте, Сергей не видел ее глаз.

— Я хочу тебе сказать... — Он подошел совсем близко и все-таки не сумел различить ее глаз.

— Пойдем лучше домой, — попросила она, и в словах ее прозвучала беспомощность.

Может быть, это и придало ему смелости. Разве сейчас вспомнишь?.. Он схватил Надю за плечо и крепко прижал к себе, и тогда лишь увидел глаза, тревожные, неподвижные. Но он боялся почему-то отпустить ее, и все сжимал ее плечи, и вдруг понял, что она плачет.

— Что ты? — спросил Сергей.

— Мне больно... Пусти.

Но он не хотел, чтоб ей было больно, и, как маленькую, взял на руки. Хрустнуло плечо, там, где была рана. Сергей не отпустил Надю, он нес ее, сам не зная куда, и все говорил что-то...

Было, наверное, очень поздно, когда он зажег

свет в своей комнате. А может быть, не он зажигал его, потому что, едва оглянувшись, увидел: посреди не стоит женщина с усталым лицом и седой прядкой волос. Странно, он не понимал, чего она хочет.

— У меня одна дочь, — сказала женщина. — У нее нет отца...

— Я знаю.

— Нам нелегко жить. Она работает, а я стираю, сдаю вот эту комнату.

— Тоже знаю.

— Вы уедете... Что будет потом?

Тогда он, наконец, понял и ответил:

— Мы уедем вместе.

Женщина вздрогнула, сердито посмотрела на Сергея, потом отвела взгляд к фотографии в рамке, опустила голову:

— Спокойной ночи.

А он ничего не мог ей больше сказать, стоял посреди комнаты, глядел вслед...

Потом... Потом от пристани отчаливал старый знакомец — теплоход с заплатками на борту. Он весело рявкнул, как омолодившийся старик, и с причала к нему полетели канаты. Сергей стоял рядом с Надей, опершись о перила, и смотрел на пирс, где застыла низенькая женщина, сложив руки на груди.

Надя не плакала. Глаза ее были сухи и широко открыты. Впервые она уезжала из своего городка и, наверное, еще не могла привыкнуть к этой мысли: все произошло так быстро, неожиданно.

Море весело плескалось за бортом, это было совсем другое море, не то, что в те дни, когда Сергей плыл в здешние края. Волна играла, скользила то зеленым, то голубым наплывом, то рассыпалась в белое крошево, чтоб исчезнуть вдали и народиться вновь.

...Да, это было давно, так давно, что Сергею порой кажется, будто вовсе ничего и не было, — лишь приснилось в одну из лунных ночей. Но это было, и даже странно, что так быстро пролетели годы...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«...Мне было одиннадцать. В батальоне аэродромного обслуживания звали меня Гошка Кутенюк. Я вовсе не обижался. Подобрали меня где-то на дороге. Так и прижился.

Когда сидел на кухне, чистил картошку или мыл посуду, приходила Вера-радистка. Она гладила меня по волосам. Терпеть не могу, когда гладят по волосам! Злился, но молчал. Однажды она подошла, наклонилась и поцеловала меня:

— Эх ты, парнюга!

От нее пахло медом. Глаза были серые-серые. Помню, я очень покраснел. Весь день было не по себе, смутно и отчего-то радостно. А вечером подполз к землянке радисток, лежал на животе и смотрел, как работает ключом Вера. У нее была красивая рука, гибкая, легкая... Каждый вечер теперь я подползал к землянке и смотрел на Веру. И от этого было так хорошо...

Ее убили во время бомбежки аэродрома. Я ушел в лес и долго лежал на мокром мху. Никогда в жизни так не плакал, даже когда умерла мать. Нашел меня ночью Кирилл. Взял на руки и понес. Он ничего не спрашивал, и потом не спрашивал. Уж после войны я рассказал ему об этом. Он послушал и сказал:

— У всех это бывает... Ты запомни. Понимаешь, такое не забывается...

А я и так запомнил, даже если бы он ничего мне не сказал. Но неужто то была любовь?.. Что же такое тогда любовь?»

1

В буфете сидели четверо пилотов. Они ели горячие сосиски с капустой, запивали их пивом. Ребята только что прилетели и, видимо, не спешили домой. Они разговаривали о тренировочных ночных полетах, которые всегда начинаются в эту осеннюю пору. Ребятам не очень-то нравилось, что вечером им

придется опять тащиться на аэродром, и они «для порядка» поругивали начальство.

Гоше не хотелось подсаживаться к ним, хотя они все были хорошие знакомые и даже помахали ему рукой, приглашая, когда он вошел.

Гоша только что проиграл партию в городки Кириллу и, почувствовав жажду, направился к Маше в буфет выпить пива. Кирилл не стал его удерживать. Он вошел в азарат, не на шутку заспорил со старшим диспетчером, и сейчас там у них, на площадке, началась целая баталия.

Маша была старше Гоши, но с нею он уже давно разговаривал запросто, как со старым приятелем. Когда он приходил в буфет, она всегда встречала его радостно и, если он просил сосисок, старалась положить ему покрупней. Эта маленькая хитрость нравилась ему, и он делал вид, что ничего не замечает.

— Здравствуй, Рыжик, — сказал он. — Я продурлся в городки и ужасно хочу пить.

— Здравствуй, Губастый, — ответила она, — тебе что, газированной?

— Пива. И холодного-прехолодного.

— Такого не дам. Простудишься, а мне отвечать. — Она улыбнулась. У нее хорошая была улыбка, ласковая и чуть смущенная. Гоше очень нравилось, как Маша улыбается.

— Ладно, давай на твое усмотрение, — согласился он. — Что у тебя новенького?

— Вчера смотрела фильм по телевизору, — говорила она, наливая пиво в кружку. — Жаль, что вы были в полете... Скажи, Гошка, почему в кино так легко женятся?

— Я еще ни разу не женился, Рыжик, и поэтому не знаю, легко это или тяжело.

Маша погрозила ему пальцем:

— Ну тебя... Я серьезно... А вообще-то жаль, что ты не видел фильма, а то бы мы поспорили.

— Мы можем поспорить и без фильма.

— Ладно, бери свое пиво, его пьют, пока пьются...

Ему не хотелось отходить от стойки, но в буфет

вошла группа пассажиров. Гоша вздохнул, взял свою кружку и сел к столу, за которым закусывали двое: мужчина в кожаной потертой куртке, с худощавым скуластым лицом и женщина, уже немолодая, с редкими седиными в каштановых волосах. Женщина аккуратно брала бутерброд и ела осторожно, словно боясь уронить крошку на пол или себе на юбку. Мужчина же ел быстро, с аппетитом, отпивая из кружки большие глотки пива.

— Ой, завезешь, Вася! — вздохнула женщина. Видимо, она так вздыхала не первый раз, потому что мужчина не поднял головы. Женщина помолчала, помолчала и опять тягуче, с распевкой протянула:

— Пе-екарня-то там есть?

Мужчина хотел что-то сказать, но вместо этого смешно пробубнил: рот был набит хлебом. Гоша чуть не прыснул. Мужчина покосился на него, сглотнул и сердито сказал:

— Да будет тебе, Настя, целина большущая, народу много... Ну, сколько тебе говорил...

Женщина тоже покосилась на Гошу и, опять вздохнув, взяла бутерброд. Гоше стало неловко: зря он сел за этот стол, помешал людям...

В это время пилоты зашумели, Гоша посмотрел в их сторону и увидел Васю Голубева. Тот, улыбаясь, прошел мимо них, ладный, приземистый, одетый во все новое. Ребята окликнули его.

— Некогда, хлопцы, — ответил он и подошел к Маше.

«Как негр стал, — подумал Гоша. — Совсем у него лицо задубело».

Голубев взял пачку папирос у Маши и направился к выходу. Гоша проводил его глазами и тут услышал, как один из летчиков громко сказал:

— Хват парень! Здорово он Надю с телефона заарканил. Такая бабенка была — не подступись.

Пилоты дружно рассмеялись. Гоша резко повернулся к ним и почувствовал, как все в нем похолодело. И тут же всплыло перед глазами запрокинутое женское лицо и болезненная складка меж бровей.

Он смотрел на пилотов, видел, как плясали их губы, кривясь от смеха. Он не слышал, кто именно из парней, сидящих за столиком, сказал это: сейчас они все четверо сливались в одно лицо, длинное, большеротое, хохочущее. Гоша сжал кружку и поднялся. Он подошел к столику. Парни замолчали. Лицо перестало смеяться и еще больше вытянулось. Гоша отчетливо увидел сросшиеся брови и плоский, как у боксеров, нос. «Ковалев... Сволочь», — мелькнуло в сознании. Он и раньше недолго любил этого горлопана, болтающего порой всякую всячину о своих товарищах.

— Тебе-то что... Она ведь не твоя жинка, — усмехнулся Ковалев.

Гоша взмахнул кружкой и выплеснул остатки пива ему в лицо и тут, уже окончательно потеряв власть над собой, замахнулся кружкой. Его схватили за руки, заломили их за спину. Он увидел, как Ковалев утирался салфеткой.

— Гад, паршивый гад, вот ты кто! — крикнул Гоша.

Гнев душил его, но он не мог вырваться из крепких рук.

— Да отпустите вы его... Плечо вывихнете, черти косялапые!

Это крикнула Маша.

— Ну, кому сказала!

Она встала перед Гошей, заслонив собой столик, и Гоша увидел, что у нее испуганные и вместе с тем сердитые глаза. Ему почему-то стало жалко ее. Его отпустили, и тут же он почувствовал слабость во всем теле. Маша взяла его за руку.

— Пойдем отсюда, — сказала она.

— Псих! — бросил кто-то ему вдогонку.

Маша резко повернулась.

— А ты помолчи, распустил язык, как баба!

Гоша тоже хотел повернуться, но она не позволила:

— Идем, идем!

Они зашли за стойку, очутились в тесной комнатенке; там стояли ящики, кули, банки консервов, на

газовой плите — большая алюминиевая кастрюля, в которой бурлила вода для сосисок. Гоша опустился на ящик.

— На вот, выпей воды, — сказала Маша, подавая ему стакан.

— Зачем она мне? — ответил Гоша. К нему вернулось спокойствие, и теперь он сам удивлялся, как это мог так вскипеть.

— Ну и петух же ты, оказывается! — покачала головой Маша.

Но Гоша уже думал о другом. Он все вспомнил. Да, да, там, у дерева, ведь был Голубев с Надей. Он отчетливо видел сквозь стекло. Но Кирилл... Неужто он обманул его?.. Как же теперь будет с Сергеем? Только Гоша знал, как он любит Надю, только он... Ему вспомнилось, как однажды Сергей сказал:

— Эх, Гоша, если ты встретишь когда-нибудь девочку, то дай тебе бог, чтобы она была такой, как Надя...

Нет, все-таки этого не могло быть. Тут какая-то путаница. Гоша всегда чуточку побаивался Нади. Она казалась ему очень строгой. Но он уважал ее. Всегда уважал. Нет, здесь какая-то неправда... Так не бывает, так не могло случиться...

Маша стояла перед ним, все еще держа в руке стакан.

— Ну, отошел? — спросила она и улыбнулась, как всегда, ласково и немного смущенно.

— Послушай, — сказал Гоша. — Это правда, то... что они говорили?

Маша перестала улыбаться и, посмотрев на стакан, отпила из него глоток воды.

— Ну что же ты молчишь?

— Правда, — тихо сказала Маша.

— Как же теперь? — растерянно спросил Гоша.

— Не знаю...

Если бы она сказала что-нибудь другое, у него, наверное, еще осталась бы надежда, может быть маленькая, совсем маленькая, но надежда, а теперь он отчетливо понял, что случилось непоправимое, и опять подумал о Сергее. Как же он?.. Ведь он не

сможет без нее. Он только о ней и говорил всегда, когда бывал в полетах. Сережа ведь такой: он уж если любит, то любит. У него все от полного сердца...

— А он знает? — спросил Гоша.

— Ты о Сергее? — сказала Маша и вздохнула. — Нет, не знает.

— А Кирилл?

Маша помедлила и нехотя ответила:

— Он знает.

Гоша помолчал, поднялся с ящика:

— Я пойду.

Маша встревожилась:

— Ты только осторожней... Слышишь, Гошка, осторожней!

— Не бойся, Рыжик, — совсем спокойно ответил он и вышел из комнатенки.

Пилотов уже не было в буфете. На столе, где они сидели, желтело на скатерти большое пятно. Мужчина в кожаной куртке с нескрываемым любопытством посмотрел на Гошу. Гоше стало неловко от этого взгляда, и он торопливо пошел к выходу.

Кирилл сидел на скамейке у городошной площадки и, щурясь от солнца, смотрел, как толстый диспетчер целился клюшкой в фигуру. Тут же стояло несколько техников. Лицо Кирилла было добродушно. Завидев Гошу, он помахал ему рукой:

— Высадил меня толстопузый. Здорово играет... Садись погляди, потом пойдем обедать.

Гоша оглянулся на техников и тихо сказал:

— Поговорить надо.

Кирилл посмотрел Гоше в глаза и, заметив необычное выражение их, молча встал. Он прошел по дорожке в сквер перед вокзалом. У скамейки, где они сели, лежали опавшие кленовые листья. Пахло прелью. Сквозь редкие деревья, на которых еще кое-где задержалась листва, виден был в огромном котловане город: белые стены домов и черные квадраты окон, а вдаль, там, где кончались дома, поднимались бурые холмы, и сейчас, при неярком солнце, на них можно было разглядеть многоточия шпалерных столбов виноградника. Высокая мачта телевизионно-

го центра гордо поднималась над ними, упираясь острием в блеклое, выцветшее небо.

— Так в чем дело? — спросил Кирилл, доставая папиросу и глядя на острие мачты.

— Я о Сергее... Ты же знаешь... Почему молчишь?

Кирилл зажег спичку, прикурил, посмотрел, как она догорела и скрючилась. На его высоком лбу сбежались морщины. Да, он все знал. Он мучительно долго думал над всем этим и впервые за много лет не мог принять никакого решения. И эта неясность делала все вокруг зыбким и непрочным. Когда Маша сказала ему о Голубеве, он сначала удивился, а потом понял: теперь-то уж никуда не уйти. Надо что-то делать, обязательно что-то делать. Но что?.. И вот подступает к нему Гоша. Что же он ответит ему? Он и сказал вслух резко и громко:

— А что делать?!

Гоша в первое мгновение оторопел. Он ведь шел к Кириллу потому, что был уверен: тот знает, где выход. Кирилл всегда находил решение, даже в тех случаях, когда, казалось, его вовсе нельзя найти.

— Пойти и сказать ей все в глаза, — не совсем уверенно ответил Гоша и вдруг понял, что именно так и надо поступить, надо все ей выложить. Пусть она сама скажет Сергею. Немедленно. Как же может жить человек, когда за спиной у него такое...

— Ну хорошо, — сказал Кирилл и повернулся к Гоше. Глаза его смотрели строго и внимательно. — Ну хорошо, мы пойдем к ней, а дальше... Что же делать?

— Дальше? Дальше... — Но Гоша так и не смог придумать, что же все-таки должно быть дальше.

— Вот-вот, — кивнул Кирилл. — Не знаешь? И я не знаю... Есть вещи, Гоша, в которые нельзя вмешиваться. Все должно идти своим чередом...

Гоша смотрел на Кирилла и не понимал. Ведь именно Кирилл учил его, что надо вмешиваться. Он отчетливо сознавал сейчас: Сережа в беде. Ему надо помочь, а не ждать, пока беда разрастется и схватит его за глотку. Тогда уже, может быть, будет поздно...

— Надо сказать ему, — ответил Гоша. — Пусть он лучше узнает от нас, чем от нее.

— Как же ты ему скажешь?

— А вот пойду и прямо скажу.

— А если он не поверит?

— Нам?.. Кому же ему верить, если не нам?

— Ты еще мало смыслишь в этих вещах. А если все это несерьезно, если все это наши выдумки?

— Но мы же видели.

— Что ты видел? Надя стояла с Голубевым. О чем они говорили? Да мало ли о чем они могут говорить!

— Но ведь в порту уже болтают.

— Наш брат любит иногда сболтнуть о женщине то, чего на самом деле нет. Послушай, Гоша, в таких делах нельзя спешить, если на сто процентов не уверен. Тут легко все сломать, а потом уже не склеишь.

Кирилл говорил, казалось бы, спокойно и твердо, но именно за этим спокойствием Гоша уловил неуверенность. Он слишком хорошо знал Кирилла, чтобы тот мог утаить от него что-либо.

Почему он с самого начала обманул его? «Тебе показалось». Он ведь никогда не обманывал его прежде, и Гоша никогда бы не поверил, что Кирилл может обмануть его. Но сейчас...

— Тогда давай сами все узнаем, — сказал Гоша резко.

Кирилл положил руку ему на плечо:

— Оставь это, я тебя очень прошу.

Но Гоша не мог понять: как это можно оставить, когда Сереже вот-вот может стать очень плохо? Так ведь еще никогда не было и не должно быть. Тут что-то не то. Зачем же Кирилл ведет себя так? И Гоша почувствовал, что он не может сейчас ему поверить, вот просто не может, и все. Он так и сказал Кириллу:

— Я не верю тебе.

— Почему же?

— Ты один раз меня уже обманул, когда ехал в «Москвиче». Ты сказал, что мне показалось, а сам

знал, что это не так. Ты и сейчас обманываешь, я ведь вижу.

Кирилл неожиданно улыбнулся и потрепал его по плечу.

— Ты хороший парень, Гошка, но я тебя не обманываю. Я просто боюсь ошибиться.

— Почему же раньше не боялся?

— Раньше у нас ничего подобного не было. Это дело двоих, и они сами должны во всем разобраться. Чужие руки тут хуже воровских...

— Мы не чужие.

— Это только кажется тебе. Послушай меня, Гоша, не делай глупостей, я тебя очень прошу. Лучше всего обождать...

Кирилл скомкал окурок и выбросил. Он упал на грудь золотящейся листвы. Гоша понял, что Кирилл ничего ему больше не скажет, и в душе осталось смутное чувство тревоги и неясности.

2

Все перепуталось у Гоши. Встречая Сергея, он отводил глаза, хмурился и стыдился. Ему начинало казаться, что все в порту уже знают, как они с Кириллом обманывают Сережу. Когда они летали вместе, он старался быть таким, как всегда, на каждом шагу обостренно чувствовал свою неуклюжесть и от этого становился еще более неловким. Сергей смеялся над ним:

— Ты определенно, Гошка, влюбился и скрываешь. Нехорошо. Только влюбленные бывают такими рассеянными.

Когда Сергей смеялся, на душе становилось еще более смутно.

Надю он избегал. Если видел ее издали, то старался обойти стороной. Боялся, что не сдержится и наговорит ей разных нехороших слов.

Оставаясь один в своей комнатенке, Гоша сначала думал, что лучше бы всего пойти к Голубеву и поговорить с ним по-мужски. Он даже представлял себе этот разговор. Может быть, он не выдержал бы и

пошел к Голубеву. Но Гоша привык слушаться Кирилла. Тот сказал: «Обождем». И он ждал, хотя в душе не мог примириться с этим.

Однажды он лежал у себя в комнате, слушал, как за окном шуршит старая яблоня. Она нехотя, по-старушечьи сбрасывала листья, и они, соскальзывая по ветвям, мягко падали на землю. Утром их наберется целый ворох, и Пушок деловито зароется в них, уютно положив свою морду на лапы. Гоше тоже захотелось выйти и лечь рядом с Пушком под яблоней. Уж очень одиноким показался он себе. И в это время он услышал, как простучали по дорожке Машины каблучки, хлопнула дверь и за стеной раздался приглушенный смех и голос Кирилла.

Все возмутилось и ошетинилось в Гоше. «Как они могут? — мелькнуло у него. Он зло подумал о Кирилле: — Кот». Сначала он испугался, что так подумал, потом прислушался к себе. Увидел Машино лицо, какое оно бывает задумчивым и грустным у буфетной стойки, вспомнил шутливый разговор о фильме, который она видела по телевизору. «Гошка, скажи, почему в кино так легко женятся?» Вот оно что! Он даже сел на своей постели, так удивило его это открытие.

— Вот оно что! — сказал он вслух.

И вся история с Сергеем и то, что он подумал о Кирилле, соединилось вместе.

За стеной смеялись и весело говорили. Гоша не выдержал, вскочил и с силой ударил несколько раз кулаком о стену так, что заломило пальцы от боли. За стеной смолкли.

Ему стало стыдно, и он повалился на кровать. Он ждал, что сейчас Кирилл войдет, и стал напряженно слушать, когда хлопнет дверь. Ну что же, пусть войдет! Тогда он ему скажет все, о чем думал. Пусть войдет... Он считает, что Гоша — мальчишка. Дудки! Он ему скажет, что Кирилл любит говорить всем правильные вещи, а сам... Почему он так с Машей? Почему?

Но дверь не хлопнула и за стеной было тихо. Кирилл так и не пришел. Яблоня за окном шуршала и

шуршала листьями. Тихие звезды дружелюбно подмигивали.

Гоша, чтоб успокоиться, стал думать о другом. Он думал о девчонке, которую проводил вечером после рыбалки. В последнее время, когда ему становилось очень грустно, он начинал думать об этой девчонке. Ему приятно было вспоминать ее испуганные глаза, и как она хлопнула калиткой, и как крикнула из глубины двора. От этих мыслей становилось хорошо и тревожно. Хотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться. Очень нелегко это держать в себе.

Если бы это случилось раньше, он обязательно бы пошел к Кириллу и все бы ему выложил. Но сейчас он не мог пойти ни к Кириллу, ни к Сергею.

А Кирилл бы, наверное, понял его. Они ведь говорили с ним о любви. И как-то летом у них был один разговор. Теплым вечером сидели на ступеньках дома, смотрели на звезды, слушали неясные шорохи за деревьями. Пушок, положив морду на лапы, дремал у ног. Гоша и сам не мог точно сказать, почему именно в тот вечер он спросил у Кирилла:

— А скажи... что такое любовь?

Кирилл подумал: «Видно, подошла пора у парня». И он вспомнил... Кто знает, почему он вспомнил именно то, о чем рассказал Гошке коротко, сдержанно, как всегда говорил? Но на самом деле вся история произошла вот как.

Он смотался из госпиталя, потому что был уверен: пролежит несколько дней, и тогда ему крышка. Рана была пустяковой, но там помирали больше не от ран, а от голода. Когда лежишь двадцать четыре часа на койке и кормят тебя баландой из горохового концентрата, то думаешь только о еде. Он добыл два ржаных сухаря, несколько кусочков сахара, уговорил госпитальную сестру принести одежду и вещмешок. Он знал, что их часть стояла за Нарвской заставой. Нога еще малость побаливала, но лучше уж быть у своих ребят: там чего-нибудь добудут, подкормят, глядишь, и рана подживет.

Когда он вспоминал Ленинград той поры, то какая-то серая глыба вставала перед глазами. Там все

было серым: снег на газонах, грязный, влажный, будто его замешали с цементом, серые стены домов и даже воздух.

Тугой, сильный ветер дул с Невы, пробирал до костей сквозь шинель. Когда лежал на койке, все казалось просто: встанет и пойдет. А вышел на улицу — едва устоял на ногах. Все поплыло, закачалось. Схватился за столб, чтоб отдышаться. По площади протарахтел грузовик с мешками. От них пахло пшеном...

Его койка в госпитале была у окна. Дня три назад он видел, что вот так же по площади прошел грузовик и оставил за собой на грязном снегу узкую дорожку крупы. Наверное, прорвался мешок и шофер ничего не заметил. Сразу же налетела стайка воробьев. Потом прибежали два человека: согнали воробьев, плюхнулись на колени, стали подбирать ладонями пшено. Еще один подбежал к ним, потом еще и еще. Цепочкой протянулись люди по площади, они стояли на коленях и были похожи на больших воробьев. Некоторые отправляли собранную крупу в рот вместе со снегом. Площадь опустела быстро. Когда все разошлись, Кирилл увидел: на дороге лежит человек. К нему никто не подошел. Он был мертв. Человек пролежал на площади два дня. Только сегодня утром его убрали.

Кирилл знал: самое страшное — упасть на улице. Когда в этом городе человек падал на улице, это значило, что он уже не поднимется.

Он шел, держась поближе к стенам домов, думал: если попадет под обстрел, у стены как-то надежней. И еще он думал, когда съест свои два сухаря и сахар, — он их съест, если станет совсем невтерпеж.

Все же на улице было лучше, чем в госпитальной палате. Там стояла вонь, в алюминиевых мисках разносили коричневую жижу. Иногда приходили машины, брали раненых и увозили к Ладожскому озеру, а оттуда дальше, на Большую землю, где в госпиталях дают чистый хлеб, без жмыха и опилок...

Он шел по улицам неторопливо, рассчитывая силы. Но разве можно было их рассчитывать? На пол-

пути он все же попал под обстрел. Заполз в какой-то двор, упал под стену. Снаряды ложились на улице размеренно, через равные промежутки времени, и все сотрясало вокруг от их глухих ударов, будто рядом где-то огромной железной бабой вгоняли в землю сваи.

Когда поднялся, то почувствовал, что ушиб все-таки ногу. Но можно привыкнуть и к боли. Он опять пошел.

Опускались сумерки, подсинили воздух и стены домов. Маячила арка Нарвских ворот. Он знал, на арке золотится надпись: «Победоносной российской императорской гвардии признательное отечество». Сейчас надписи не было видно, все вокруг словно вымерло, только вдали глухо и редко разрывались снаряды.

Впереди темнели жилые корпуса, похожие один на другой. Они стояли молчаливые, как баррикады. Нога так болела, что он еле волочил ее. Теперь было ясно, что до своих не доберется. Но, может быть, в корпусах есть люди. Переночует, а утром... Он еще не съел своих сухарей. Шел, считая шаги. Еще немного — и корпуса. На газонах синее снѣг и стоят черные деревья. Тут он не выдержал. Хотел зачерпнуть горсть снѣга и ткнулся лицом в сугроб. И сразу почувствовал, будто хлестнули огнем по всему телу. Снѣг таял на лице, капли скатывались к губам. Попробовал подняться, но показалось, что нет ног, совсем нет. Может быть, это разорвался рядом снаряд, а он подумал, что сам упал? Нет, ноги есть. Если нельзя подняться, то можно ползти. И пополз. Выбрался из газона на тротуар. Теперь к корпусам. Но чем больше полз, тем больше в сумерках отдалялись дома. Все становилось безразличным. Вспыхнули золоченые буквы: «Победоносной российской императорской гвардии...» Завтра увидят еще одного солдата на тротуаре, подберут и свезут на Ржевку или еще куда-нибудь. Он сам видел, как на Ржевском кладбище рыли могилу экскаватором. Привозили умерших на улице, зарывали в огромную яму... Хорошо бы заснуть...

Сначала показалось, что в темноте летит самолет. Странный какой-то, непонятный звук. Потом что-то ткнулось в бедро. А еще через секунду вспыхнула и погасла зажигалка. Но свет был так ярок, что он успел заметить чьи-то большие глаза и вязанку тонких брусьев. Один из них упирался ему в бедро.

— Ты живой?

— Живой, — ответил он.

— Что же лежишь?

— Нога...

— Возьми вон брус, обопрись, может встанешь.

Он потянул на себя брус из вязанки. Повернулся на бок. Теперь надо попробовать встать. Напряг силы, в ладонь вошли занозы. Опираясь на брус, как на костыль, сам удивляясь этому, поднялся.

— Стоишь?

— Стою.

— Ну пойдем, тут близко.

Бог знает, как это было, но он все же пошел. Человек двигался впереди и тянул на веревке по снегу вязанку брусьев. Так добрались до корпусов, вошли в подъезд, а оттуда в комнату.

— Сейчас засвечу.

Загорелась коптилка, сделанная из консервной банки.

— Садись вон на кровать.

У стола стояла девушка. Лицо худое-худое, глаза серые, большие, серьезные, как у пожилого человека. На ней был старенький пуховый платок и мешковатая, не по росту телогрейка.

— Садись. Что с ногой?

Она развязала обмотку, сняла ботинок. Штанина была распорота еще в госпитале, сквозь прореху виднелся бинт.

— Крови-то не видно, — сказала девушка. — А повязку снимать страшно.

— Не надо снимать. Рана подживает.

— Чего же ты лежал тогда?

— Сил не было.

— Такой здоровый, а сил нет.

Она поднялась, и ему сразу стало стыдно, будто девушка угадала, что было с ним там, на тротуаре.

— Сейчас затоплю, обогреешься.

Она скинула с себя платок, телогрейку, присела у железной печурки, труба которой упиралась в стену, где был дымоход. Он сидел на кровати и смотрел, как она орудует у печурки. Платье на ней было старое, из коричневого кашемира; под ним топорщились остренькие, худые плечи; волосы светлой пеной падали на них.

В комнате, кроме кровати, был квадратный обеденный стол. На стене светлело большое пятно. Там, наверное, стоял когда-то шкаф, и его скорее всего сожгли, как и другую мебель.

Огонь заплескал в печурке, запахло каленым железом, потянуло теплом. Девушка, встала, налила из ведра в алюминиевую кастрюлю воды, поставила на печурку.

— Кипятку попьешь, будет легче, — сказала она.

Подошла к кровати, откинула подушку, вытащила оттуда тряпицу, развернула. Там лежал небольшой кусочек коричневого жмыха. Девушка вздохнула и положила жмых на стол:

— Больше нету.

— Возьми мешок, — сказал он. — Там два сухаря и сахар.

— Сухари и сахар?

— Ага.

— Чудно... Кто же ты?

Он ничего не ответил. Она снова подошла к кровати, достала из вещмешка два солдатских сухаря и сахар.

— Пахнет-то как! — сказала она и зажмурилась. Что-то похожее на улыбку скользнуло по ее исхудалому лицу, высветив мягкие небольшие губы и закругленный подбородок.

— Сейчас чашки принесу. Ладно? У меня тут кастрюлька только... Сейчас принесу, пока закипает.

Кириллу не хотелось, чтобы она уходила из комнаты.

— Куда уж тут чашки?

— А как же, мы хоть по-настоящему выпьем. — И вышла.

На столе лежала ученическая тетрадь в синей обложке. Он потянулся к ней, прочел: «Дневник ученицы 9-го класса «Б» Нины Петровой. Тетрадь третья».

Наверное, начало записей было где-то в другой тетради, а здесь шло продолжение, написанное фиолетовыми чернилами:

«...Мы лежали у моста и прижимали к себе бутылки с молоком. У меня было две. Больше всего я боялась, что осколок попадет в бутылку, тогда у Владика не будет молока. Его стали давать один раз в неделю. Странно, что я до войны не любила молока... Рядом со мной лежала женщина и плакала. Она мне еще в очереди сказала, что у нее трое ребят дома. А немцы все стреляли по мосту и не могли попасть в него. Снаряды ложились то на набережной, то плюхались в воду. Наконец один снаряд попал в мост, и в воду обвалились железные перила. После этого стало тихо. Все женщины поднялись и побежали через мост. Я немножко отстала, потому что боялась за свои бутылки. Когда выбежала на середину моста, опять на набережной разорвался снаряд. Но все бежали не останавливаясь. Когда я выскочила на тротуар, увидела, что на мостовой лежат две убитые женщины, и среди них та, у которой было трое детей. По мостовой разлилось из разбитых бутылок молоко. Какая-то девчонка упала на колени и лизала это молоко. Старая женщина кричала на нее: «Встань сейчас же, Маша!» Но девочка не слушала.

Я пришла домой, мама лежала на кровати. У нее было совсем синее лицо.

— Ты принесла Владiku молоко? — спросила она.

Я ей сказала, что принесла и что сегодня дали на одну бутылку больше и поэтому она может выпить стаканчик. Конечно же, сказала неправду. Но ей надо было выпить стаканчик. Она совсем синяя.

Накормила Владика и все-таки заставила маму

выпить немного молока. Про мост я ей ничего не сказала. Зачем ей зря волноваться?»

Дальше шли записи синим карандашом, они были совсем короткими:

«11 января 1942 года. Мама умерла. Даже нельзя сообщить папе. Где он? Пусть отомстит фашистам. Мы с Владиком».

«17 января. Умер сосед наш Федор Иванович».

«19 января. У Владика синеют ноги. Сегодня не дали молока. Что делать?»

«28 января. Осталась одна».

«31 января. Может быть, вернется папа и прочтет этот дневник. Всех фашистов надо вешать! Вчера умерла тетя Маша со второго этажа».

Больше в тетрадке ничего не было. Кирилл положил ее на место. На печурке закипала в кастрюле вода. Он приподнялся с кровати, чтобы снять ее, но вошла девушка.

— Нету чашек, — сказала она огорченно. — Я их видела у тети Маши, но их теперь нету.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— Нина Петрова, — ответила она машинально. — У нас на Путиловском много Петровых.

Поставила кастрюлю на стол, взяла кусочек сахара, положила его на ладонь.

— Белый какой и, наверное, такой сладкий... — Не удержалась и лизнула. Что-то совсем детское, умильное, как у ребенка, впервые увидевшего снег, отразилось на ее лице, и у Кирилла, как ни был он слаб, подступил тяжелый ком к горлу.

— Бери весь, — сказал он. — И сухари... Мне не надо.

Девушка вскинула на него большие серые глаза, и в них погас тот слабый отсвет радости, что совсем внезапно вспыхнул в них.

— Так нельзя, — сказала она строго. — Надо порвну.

И сразу же захлопотала по-хозяйски:

— Мы поделим один сухарь сегодня пополам, а второй оставим на завтра.

И тут же опустила сухарь в кипяток, подержала его в нем и бережно вынула...

Они пили горячую воду из кастрюли по очереди: глоток она, глоток он. Алюминиевая кастрюля обжигала губы, вода отдавала железом и сладковатым хлебным запахом.

— Ну вот, — сказала Нина. — Я давно так вкусно не ела.

Лицо ее порозовело и теперь не казалось таким исхудавшим.

— У тебя еще болит нога?

— Стало легче.

— Отдохнешь, будет еще легче. Ложись-ка спать, а то уже поздно, у меня мало бензину в коптилке... Ты ложись к стенке, а я с краю. Утром будет холодно. Одеяло у меня одно.

Они легли, не раздеваясь, и укрылись одним одеялом. Он не видел ее в глухой темноте, только чувствовал запах ее волос, и от этого было радостно, будто что-то очень счастливое, необыкновенное открывалось ему. Так он и заснул, крепко и тяжело, но с давно забытым, только сейчас всплывшим чувством чистого света, которое, бывало, нарождалось еще в детстве, когда он в маленькой сторожке залезал на темную печь и смотрел, как в зимней ночи за окном смеется над стужей теплая желтая звезда. И когда он проснулся, это чувство не исчезло. Он увидел, что сквозь половики, которыми было завешено окно, прибавается тоненький луч дневного света и в нем весело мельтешат пылинки. Он сразу вспомнил, как заснул. Повернулся, чтоб увидеть Нину. Она спала, уткнувшись в подушку, луч света падал на светлую прядку ее волос. Хотелось потрогать эту прядку, которая чуть вздрагивала от дыхания. Кирилл приподнялся, чтобы заглянуть девушке в лицо, и в это время Нина проснулась. Она тоже, наверное, вспомнила все сразу и спросила:

— Уже утро?

— Утро... А может быть, день.

Она встала, подошла к окну, сдернула половики. В комнату вошел серый свет. Он был совсем другим,

чем тот единственный луч, ранее пробивавшийся в комнату. Нина поправила волосы, оглянулась, и тут он увидел, что она совсем по-иному смотрит на него, не так, как вчера. Было в больших ее глазах что-то стыдливое, смущенное, он сразу же почувствовал себя неловко под этим взглядом и невольно заторопился:

— Мне пора...

— Я... я чаю вскипачу, — предложила она, отвела глаза, угловато ссутулила плечи, будто робея.

А он сам не знал, что на него нашло, стал быстро собираться, чтобы уйти отсюда. В глаза бросилась синяя тетрадь; которая еще лежала на столе. Он задержал на ней взгляд.

— Послушай, — сказал он тихо. — Ты... не пиши туда больше.

— А ты читал?..

Он не ответил и, волоча ногу, заспешил к выходу.

Кирилл добрался в часть в тот же день. Ребята встретили, узнали, в чем дело, и сказали:

— Правильно, что драпанул из госпиталя.

Через недельку, когда уж пришел в себя, выпросил у старшины банку консервов, полбуханки хлеба и пошел к Нарвским воротам. Он запомнил дом, хотя все корпуса, что стояли здесь, были очень похожи. Он запомнил дом, когда уходил утром. У него вообще хорошая зрительная память, и коль побывает хоть раз в одном месте, то всегда разыщет его, если даже пройдет несколько лет.

Вошел в полутемный коридор. Здесь пахло затхлым и сыростью. На дверях справа висел замок. Обрадовался: когда висит на дверях замок — значит, живут люди. Подошел, потрогал. Оказывается, замок не был заперт на ключ и легко открылся.

В комнате все было, как в то утро. Подошел к столу и на обрывке газеты написал: «От солдата, которому ты помогла», — и положил на стол хлеб и консервы. Увидел на столе ученическую тетрадь, раскрыл. В ней была новая запись. Сам не зная почему, вырвал тетрадный лист и спрятал в нагрудный карман.

Вот и все. Потом ни разу не пришлось побывать ему у Нарвских ворот. Время стухало в памяти убогую комнатенку, исхудалое девичье лицо, но осталась в нем жить та несказанная, светлая вспышка, доставившая ему неповторимую радость, и она долго держалась в нем, всегда возникая по-новому, и виделась совсем иная Нина, о которой было хорошо вспоминать, и каждый раз, когда он про себя называл ее имя, трепетно и сладко сжималось сердце. Так было долго, очень долго, почти всю войну... Вот как это случилось с ним впервые. Впрочем, кто знает, может быть, и не было тут никакой любви? Но он рассказал эту историю Гошке. Что же, пусть послушает, коль завели об этом речь...

Сейчас Гоша вспомнил этот рассказ Кирилла. Он много раз вспоминал его и раньше. Прислушался. За стеной было тихо. И ему стало опять стыдно, что он не выдержал и постучал кулаком. Гоша подумал о Маше и Кирилле, и все ему показалось странным, непонятным, запутанным, и нельзя было все собрать вместе, все поставить рядом.

3

Она жила в эти дни непонятной, странной жизнью. То, что вдруг вспыхнуло в ней с такой сокрушающей силой, чего порой в минуты одиночества она сама пугалась, подхватило ее, будто степную былинку, и понесло над всем на свете, и не было уж мочи остановиться, задержаться, и ничего не существовало вокруг, только это — властное, без конца зовущее, как высокая нота до предела натянутой струны. В ней и раньше жили какие-то смутные тревоги, она чего-то ждала и в то же время опасалась, что оно придет. И оно пришло.

Надя никогда не думала прежде: любила ли она Сергея? Этот человек ворвался в ее жизнь стремительно, не дав опомниться, и увез ее из маленького курортного городка. Она ничего не понимала, что делается вокруг. Жизнь ее была узенькой, сжатой до предела, и хоть вокруг бурлил огромный, шумливый

мир, но это был не ее мир, и она даже не думала о том, чтобы войти в него. Она привыкла к строгой замкнутости, повседневному однообразию и удивилась, даже растерялась, когда все это нарушилось. Правда, на первых порах ей показалось, что перед ней открылось что-то новое. Она радовалась, когда им дали комнату в небольшом доме, где жили другие семейные летчики. Ей нравилось ее обставлять, убирать.

Сергей говорил ночами, что он очень счастлив. Надя видела, что Сергей действительно счастлив, и радовалась этому.

Потом все стало на свое место. У нее появился круг своих забот. Она стала ходить на работу: в порт, на телефон. Дома стирала, гладила, штопала, иногда ходила вместе с Сергеем к его друзьям: Кириллу и Гоше. Ей нравились эти ребята, строгий Кирилл и стеснительный Гоша. Правда, Кирилла она немного побаивалась. Она и сама не знала почему: он всегда был с нею внимателен и ласков, но она все-таки побаивалась. Мужчины спорили, говорили о всякой всячине, она не вмешивалась, иногда просто не понимала их споров. Да, ей и не нужно было.

Когда Сергей стал летать, она сначала очень волновалась, и если он летел ночью, не спала. Потом привыкла. А в последнее время Сергей стал чертить. Он ни о чем не говорил, только о своей мотоциклете. Надя старалась ему не мешать, когда он принимался чертить; брала книгу, садилась в угол — там висела на стене маленькая электрическая лампочка.

Но бывало и так, что ее начинало томить непонятное чувство, и приходило оно в самые неожиданные минуты. То она смотрела в окно, наблюдая, как снуют перед закатом ласточки, — в стремительном полете бесшумно проносились они над землей, хлопотали у своих гнезд, готовясь к покою, — и тогда нарождалось что-то гнетущее, и становилось жалко себя, так жалко, что невольно подступали слезы. То в зимнее утро видела она закуржавившуюся ветку липы, удивительно чистую, девственно свежую в сво-

ей белизне, и опять становилось невольно. Сергей, заметив слезы на ее глазах, пугался, спрашивал:

— Что с тобой, Надюша?

— Не знаю, — отвечала она.

И вправду не знала. А после этих слез ей бывало хорошо, мир вокруг казался легким, звонким, и хотелось все любить, все ласкать — от маленькой хрусткой травинки до большого необъятного неба...

Однажды ее обуяла совсем иная тоска, тяжким камнем легшая на душу: она узнала, что у них не будет ребенка. Надя так сильно убивалась, что Сергей сказал:

— Хочешь, возьмем из детдома?

Надя отказалась. И стали сниться ей сны: девочка и мальчик, взявшись за руки, бегут по песчаной косе вдоль моря, бегут в синюю-синюю даль. И ей так хочется услышать их голоса. А они бегут молча. Ну, хоть бы вскрикнули или засмеялись. Сны эти приходили часто, и она стала бояться их, просыпалась иногда ночами и подолгу лежала, глядя в густосерый потолок. Рядом спал Сергей; он спал, как ребенок, приоткрыв губы, сладко смежив веки, и в робких предрассветных сумерках лицо его казалось землистым, как неживое. И Надя начинала пугаться этого лица, отодвигалась подальше к стенке.

Потом и это минуло. Только нет-нет да приходили к ней те минуты беспричинной тоски, что вызывали слезы.

...Это было в зимний день. С утра шел мягкий, ленивый снег, оседал на ветвях, садился на крыши, а после полудня внезапно подморозило, ушли тучи, открылось глубокое небо, и снежные шапки на деревьях, на садовых скамьях так ярко заблестели, что больно было смотреть на них. Надя шла с дежурства. Она нарочно пошла по скверу, где лежал нетронутый снег: было приятно оставлять на нем первые следы. Так дошла она до старого дерева, на коре которого соляными кристаллами вспыхивали тонкие иголки инея. Надя остановилась и увидела вдали весь белый, окутанный морозным туманом город; над ним розовела слабая полоса света.

И подступило знакомое. Она стояла и смотрела на город, не в силах отвести от него взгляда. Какой-то человек заскрипел снегом, подошел, стал рядом. Надя не повернулась к нему. Ей было все равно, кто он и зачем пришел.

Потом он сказал:

— И у меня так бывает... Это ничего... Это хорошо...

И вновь заскрипели шаги: хруст, хруст, хруст. И лишь когда смолкли, Надя вдруг встрепенулась, опомнилась. Что это было? Может, почудилось. Она посмотрела на занесенную снегом стезю и увидела рядом со своими следами еще и чужие.

«Странно как, — думала она, торопясь домой. — Кто же это мог быть? И почему я не посмотрела? Как во сне... Очень, очень странно».

Она думала потом об этом весь вечер и всю ночь. А на следующий день, едва дождавшись конца работы, опять побежала в сквер к старому дереву. Но все уже было здесь иным. Снег затоптан человеческими и собачьими следами, а город вдали самый обыкновенный и серый. И все же она постояла здесь, но никто не пришел.

«Я совсем девчонка, — подумала Надя, — совсем глупая девчонка. Мне снятся всякие сны, мерещатся странные вещи... Это бывает только в шестнадцать лет... Конечно же, мне только показалось, будто кто-то подошел. И следы могли показаться».

И все же она еще много раз замечала, что невольно замедляет шаг, когда проходит мимо старого дерева у дороги...

А потом был февральский вечер, с оттепелью, с чавканьем грязного, мокрого снега, с зябким ветром. Пахло мочеными яблоками, дымом, гнилым деревом. Низкие черно-серые облака нависли над домами, чуть ли не цепляясь за трубы и антенны телевизоров. И звенели над улицей провода. Она шла, пряча от ветра пальцы в рукавах пальто. Хотелось есть, поламывало спину после работы. Надя думала лишь об одном: придет сейчас в теплую светлую комнату, так хорошо будет после ужина сесть с книгой

в кресло, в угол, где горит маленькая электрическая лампочка, которую пристроил для нее Сергей. Больше ни о чем она и не думала и вдруг услышала позади себя:

— Надежда Ивановна, погодите-ка.

Это был тот самый голос, что прозвучал тогда у старого дерева. Она замедлила шаг, ожидая: может быть, опять обман? Человек подошел к ней, тронул за рукав:

— Насилу догнал вас... Так спешите.

Она удивилась: это был Вася Голубев, летчик санавиации, парень, которого она нередко встречала в порту и на телефоне. Ей стало смешно: вот ведь глупость какая. А она-то думала...

— Вы извините, Надежда Ивановна, что остановил вас... Помните, когда вы стояли у дерева и плакали, я подошел... Я понял тогда все... И... мне захотелось поболтать с вами... Можно?

— Я домой спешу, — ответила Надя.

— Тогда я провожу вас. — И он запросто взял ее под руку.

Она хотела отстраниться, но подумала: «Ладно уж...» Вспомнила, что в порту и без того называли ее гордячкой. Даже девчонки на телефоне поговаривали об этом. Она не понимала, почему ее так называли, вовсе даже она ни перед кем не заносилась, со всеми была одинаково ровной. Потом решила, что все это простая болтовня, которой не стоит придавать значения.

«О чем же это он хочет говорить?» — размышляла она, идя с ним рядом. А он не торопился. Или не мог сразу подобрать слова, чтоб продолжать разговор. Надя первая не выдержала молчания.

— Так что же? — спросила она.

— Мне показалось, Надежда Ивановна, что вам плохо живется. Это правда?

— А вас разве это должно интересовать? — спросила Надя, уже раздражаясь.

— Не знаю... но почему-то интересуется.

Она почувствовала, как он улыбнулся в темноте. «Странный какой... Надо идти побыстрее...»

— Откуда вы взяли, что мне плохо живется?

— Откуда взял?.. Да просто у вас глаза грустные.

Надя вздрогнула и покосилась на Голубева.

— Все это вы выдумали, — сердито ответила она.

— Зачем же выдумывать? Я вижу.

— А хоть бы и так, вам-то до этого что?

— Не надо сердиться, Надежда Ивановна. — Голос у Голубева был мягкий, добрый. — Ведь бывает так у человека: увидит он, как грустит другой, и сам начинает грустить. И очень хочется, чтобы этот человек перестал тосковать... Разве у вас так не бывает?

И Надя неожиданно для самой себя ответила:

— Бывает.

— Ну вот, видите. — И опять она почувствовала, как он улыбнулся. — Это ведь только кажется иногда, что никто ничего о тебе не знает. А люди живут вместе и часто чувствуют, что думают другие... Вот иногда идешь по улице, увидишь освещенное окно, а за ним стоит женщина, плачет или смеется, и хочется вместе с ней плакать или смеяться, а она даже не знает о тебе. Разве так не бывает?

— Бывает, — опять ответила она.

Этот человек говорил то, о чем она не раз думала в одиночестве.

Они вышли на новую улицу. Свет из широких магазинных витрин, как желтый туман, зыбился над тротуаром. Торопливо шли прохожие, подняв воротники. На углу, в будке, нахохлившись, сидел милиционер и смотрел, как сновали, мигая красными огоньками, машины. Надя повернулась к Голубеву, увидела его высокий лоб, белесые брови. У него были резкие черты лица и совсем молодые добродушные глаза. Раньше она просто не обращала внимания на этого человека, здоровалась с ним, если встречала, иногда даже о чем-то говорила, но сейчас она не могла вспомнить, о чем именно. Он был для нее, как и все летчики порта, знакомым человеком. Но оказывается, они были совсем не знакомы, просто все привыкли называть так людей, имена и фамилии ко-

терых знали... «Что же это все-таки за человек?» — подумала она с любопытством и спросила:

— А вы откуда все это знаете?

— Оттуда же, откуда и вы, Надежда Ивановна, — ответил он.

«Глупый какой вопрос задала», — подумала Надя.

— Это хорошо, — опять заговорил он, — когда человек может радоваться закату, небу, травинке... Это очень хорошо. Вы не читали такой рассказ: писатель написал книгу и потом потерял свою рукопись. Близкий друг спросил у него: «О чем была рукопись?» И тогда писатель повез его в ночной лес, и тот увидел множество самых необычных, самых чудесных вещей и понял, о чем была эта книга. Эта книга была о радости... Не читали?

— Нет.

— А жаль... Ведь не каждый человек умеет радоваться. Верно?

— Верно.

— Вы чего бы хотели больше всего в жизни? — спросил он. Вопрос для Нади прозвучал неожиданно. Но тут же она задумалась. Чего бы хотела? Если бы ей подсказал кто-нибудь. Разве знает она?

— Не знаю, — ответила Надя.

— Вот видите. Так ведь тоже не каждый скажет. Большинство тотчас тебе ответит: то-то и то-то. Дачу, квартиру или там чтоб женщина ответила любовью, а то и такое, что в учебниках написано. Ведь у нас привыкли, чтоб у человека полнейшая ясность была, твердость цели, так сказать... Я вот мальчишкой очень мечтал быть летчиком. Стал им. И все мне на месте не сидится. Столько портов сменил. Где только не летал! И на Севере, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. И все куда-то тянет, тянет... И сам не знаю почему. Может, когда-нибудь обо всем, что видел, книгу напишу.

— А вы умеете?

— Не знаю... Никогда не писал... А вот если бы стал писать, то об этом: как чувствуют люди друг друга, землю, небо, все, что есть вокруг, и как умеют

радоваться этому... А может быть, я и не буду писать книги. Просто мне хочется больше увидеть. Вот какой жадный. — Он улыбнулся, и теперь Надя увидела его улыбку и тоже улыбнулась ему в ответ. Ветер налетал порывами откуда-то сверху, из-за черных облаков и, распластавшись над улицей, надрывно и тягуче гудел в темных узких переулках. В водосточной трубе с грохотом обвалился лед и, крошась, выскочил на тротуар.

— Есть такая песня, — сказал Голубев, — слышал от одного летчика:

На сопках — лед, на крыльях — лед,
И в небе — сто чертей.
Не жди, пилот, что повезет,
Штурвал в руке твоей, —

пропел он низким густым голосом. — Хорошая песня?

Песня совсем не подходила к их разговору, но оттого, что он спел ее, Наде стало веселее.

Они дошли до угла, где ей надо было сворачивать.

— Мне сюда, — сказала она.

— Что, уже дошли? — огорченно спросил он.

— Да, пора домой, — ответила она и тут же почувствовала, что ей вовсе не хочется уходить от этого человека в свою комнату, одиноко сидеть в кресле. Сергей сейчас в полете. Даже если б он был дома, то чертил бы.

— А знаете что, — запросто сказал Голубев, — я тут рядом живу, пошли ко мне. Чаю попьем. А?.. Надо погреться.

— Да нет... что вы! — испугалась Надя.

— Чего же так бояться? Я ведь в гости приглашаю.

— А я не боюсь.

— Так в чем же дело? — засмеялся он и, крепче взяв ее за руку, повел через улицу. А она даже не успела возразить...

Они поднялись на второй этаж нового дома. Голубев сам открыл дверь и пропустил вперед Надю. То, что увидела она, не было похоже на обычное

человеческое жилье. В углу таращило круглые глаза чучело пингвина. Над ним висел на проволоке, распустив крылья, альбатрос. Весь подоконник заставлен горшочками с кактусами самых разных форм и оттенков. На стене — белая медвежья шкура, а на ней — двуствольное ружье. На дощатой самодельной полке стояли глиняные сосуды, деревянные бочата с резьбой, пивные старинные кружки, какие-то статуэтки. Висело несколько старых карт с красными и синими карандашными пометками. В углу прямо на полу лежали стопками книги, журналы. Зато мебели не было почти никакой: простая койка казенного образца, письменный стол да две табуретки. Надя прежде и не могла бы себе представить такое сочетание самых неожиданных вещей и теперь стояла у порога, удивленно оглядывая все это.

— Снимайте пальто, — сказал Голубев.

— Что это у вас, как... в комиссионном магазине?

Голубев рассмеялся:

— Разве похоже?

— Очень.

— Ну, ну, — погрозил он пальцем. — За такие сравнения... Это все ценнейшие реликвии жития раба божьего Василия. Знаете, рассматривая эти вещи, можно сделать любопытное путешествие. Вот хотя бы эта шкура... — Но тут же Голубев спохватился. — Впрочем, что же это я... Садитесь-ка сюда, на табуретку. Чем же вас угощать? Ах да, я обещал чаю. А знаете, долой чай! У меня есть одна штука, ребята из Средней Азии прислали. Гранаты. Хотите?

Он полез в тумбочку письменного стола, достал оттуда несколько бурых гранатов.

— Питайтесь.

— Так что же шкура? — спросила Надя, разрезая ножом гранат.

— Шкура? Ах да, шкура... Но я вам лучше сначала про этот бочонок расскажу.

Ветер не унимался за окном, бился о стекло, и оно, вздрагивая, тонко звенело. Надя смотрела на крепкую, жилистую шею Голубева, сгрызала мякоть с гранатовых зерен и слушала. Он рассказывал что-

то про степь, бескрайную, беспощадную, сухую, про какого-то монгола. И ей было хорошо здесь, в теплой комнате, где пахло кожей, залежалой бумагой. А Голубев все рассказывал и рассказывал, и она не перебивала его.

— Ну вот, — наконец сказал он. — Видите, здесь у каждой вещи своя история. Всего не расскажешь.

— Интересно, — сказала Надя. — Вы, наверное, много знаете.

— Нет, — ответил Голубев, — мало... Мы вообще мало знаем. Сейчас столько вокруг нас интересного, а мы об этом самые смутные представления имеем. Я даже иногда книгу читаю и удивляюсь, что и писатели-то мало знают. Даже как-то обидно за них. Вот мы, летчики, сейчас часто говорим о ракетах, спутниках. Да и вообще идет большая борьба умов, люди совершают открытия в науке. Разве не должны мы по-настоящему интересоваться этим, думать, спорить?

— Наверно, нельзя все на свете знать.

— Это-то верно, но должны быть такие книги, которые умели бы рассказывать нам о большой борьбе умов. Я вот иногда думаю, что, наверное, потом появится такая литература, где великая поэзия будет накрепко слита с великой мыслью ученого. И такая литература будет давать высшее наслаждение, питая и чувства и разум. Вы не думали над этим, Надя?

— Нет, — ответила она, и ей стало грустно. Она вообще никогда не думала над книгами, читала их и верила им. Теперь же она позавидовала Голубеву: он умеет говорить обо всем.

— Ну что же, спасибо вам, — вздохнула она и встала. — Мне было очень интересно...

Он помог ей одеться и проводил до угла. А дома, вспоминая обо всем, она удивлялась, как все это было неожиданно и просто...

Через день Надя шла на дежурство и увидела Голубева. Тот стоял у подъезда вокзала с ребятами и, размахивая папироской, что-то весело говорил. Когда она стала подниматься по ступенькам, он вдруг оглянулся, и у нее сжалось сердце, будто она

испугалась чего-то, что вот-вот должно случиться. Он смотрел на нее прямо, согнав улыбку с губ. И Надя, торопясь и краснея, пробежала мимо. «Боже мой, да что же это?» — чуть не вскрикнула она, затворяя за собой дверь...

Удивительные все-таки происходят перемены в человеческой жизни. Кто угадает их, кто узнает наперед, где и когда откроется перед тобой великое чудо, что таится в самом простом и обычном? Неведомыми путями свершается открытие людских душ...

Надя редко встречала Голубева. То она видела его мельком в порту, то в буфете, то на улице. Он не подходил к ней, издали бегло здоровался. И каждый раз она пугалась этих встреч и чего-то ждала. Но ничего не случалось.

Иногда она вспоминала комнату Голубева и то, что они говорили, и ей хотелось снова побывать там, снова услышать его рассказы. Тогда она просила Сергея что-нибудь рассказать ей, но тот не понимал ее, ласково отвечал:

— Что ты, Надюша?.. Потом, потом, сейчас не до этого. А ты почитай-ка лучше...

Кончилась зима, отшумели колючие ветры, и запахи забродившей земли донесло к городу с окрестных холмов. Хоть и по-прежнему жило в ней ожидание, она вовсе не удивилась, когда Голубев, однажды подойдя к ней, весело сказал:

— Здравствуйте, Надежда Ивановна. У меня большие новости.

Он взял ее под руку, и они пошли рядом.

— Хорошие? — спросила она, стараясь подавить в себе испуг.

— Я уезжаю, — опять весело сказал он.

Она ничего не ответила, стала ждать, что он еще скажет.

— Откомандировывают во флотилию «Слава». Знаете такую? Она бьет китов в Антарктике. Мы будем вести разведку вертолетом. Очень интересно... Привезти вам китовый ус?

— А для чего он? — спросила она.

— Говорят, дорогая штука. Ее любят краеведы...

— Вот им и привезите.

Голубев остановился и повернул ее к себе лицом.

— Надя, — сказал он. И тогда она поняла, что вовсе даже не весело до этого говорил он, а просто нарочито громко, — Надя, — повторил он и прижал к себе ее руку. — Можно... можно мне написать вам?

— Напишите... Почему же нельзя? — отвечала она, чувствуя, как у нее холодеют пальцы.

Теперь он стоял против нее и смотрел прямо в лицо. Она не отвела взгляда.

— Странная вы, — наконец сказал он. — Странная...

И, внезапно повернувшись, Голубев быстро пошел прочь. И тогда она закусила губу, боясь, что вот-вот расплачется.

И опять шли дни, шли и шли. Но они были другими, чем прежде, наполненные не только повседневными делами, но и беспокойством ожидания.

В памяти стирались подробности ее первой встречи с Голубевым, она уж не помнила, как и почему пошла с ним в его комнату, запомнилось лишь, как он смотрел на нее, как говорил, и то, как сказал на прощание: «Странная вы...» Вспоминая об этом, она томилась, не находя себе места, и что-то новое росло и утверждалось в ней. Она уже не могла жить без этих воспоминаний, и с каждым днем ей все больше казалось, что ждет она вовсе не чужого, а самого близкого, о котором все-все знает.

И пришел день... Она пораньше пошла на работу. Сергея не было. Их самолет где-то задержали. Надя шла по тихой улочке не спеша. Пахло полынью. Так пахнет только в степи. Может быть, ветер в этот жаркий осенний день принес запах сюда, на городские улицы, с полей. Она шла, ни о чем не думая, наслаждаясь тишиной, едва слышным шуршанием листьев на деревьях. Ее окликнули. Сначала она подумала, что это показалось. Так бывало еще в детстве: идешь, идешь, и вдруг покажется, что кто-то зовет тебя, а оглядишься — вокруг никого.

Она подняла голову и увидела подле дерева, у обочины дороги, человека. Свет уличного фонаря

падал на него. Надя узнала Голубева. Он стал плотнее, шире в плечах, лицо почернело, продубело. Только глаза остались те же... Он шагнул ей навстречу. Она не помнит, что случилось, только увидела рядом, совсем близко его лицо...

— Надя, Надюша моя! — бормотал он.

А она, кажется, плакала и ничего не чувствовала. А потом что-то говорила... Не видела, как проскочил мимо них «Москвич», в котором сидели Кирилл и Гоша, она вообще ничего не видела. Наверное, прошло очень много времени, когда она вспомнила, что идет на работу.

— Потом... потом, — сказала она, отстраняясь от Голубева.

Но он не понимал и все не отпускал ее.

— Мне надо, — объяснила Надя.

— Я провожу тебя.

Но она вырвалась и убежала...

Когда подошла к вокзалу и увидела Сергея, сидящего, как всегда, у каменного шара на ступеньках, только тогда подумала: «Как же теперь все будет?»

Едва пришла на станцию и села к коммутатору, как сейчас же забыла об этом. В ней жило лишь ощущение безмятежного счастья.

Она не помнит, как работала в эту ночь. Помнит рассвет, ослепительно яркий, во все небо, как огромный пожар, будто вспыхнула и запылала сама земля. Помнит, как бежала по гулким улицам, где дворники одиноко пылили на мостовых; как бежала на второй этаж.

Было жутко, весело. Она вскинула руку, постучала в дверь. И тотчас она распахнулась. Голубев стоял на пороге одетый, в белой рубашке-безрукавке, может быть, он тоже не спал в эту ночь. Он не сказал ни слова, отступил, пропуская ее, и Надя шагнула к нему, трепещущая от радостного ожидания...

Сильный розовый луч падал сквозь окно на белую шею чучела пингвина, и она казалась опаленной. Надя лежала, прижавшись щекой к груди Голубева,



слышала, как часто бьется его сердце. Оба молчали. Ей ни о чем не хотелось говорить. Прежде бывало в ее жизни — мелькнет отрадная минута, и только спустя много дней она понимала, что то было счастье, и жалела, что оно так быстро прошло. А сейчас все было иначе, сейчас она чувствовала, какая она счастливая, и верила, и знала, что это надолго, очень надолго, и потому ей не хотелось ни шевелиться, ни думать о чем-либо, а только ощущать это счастье.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«...Наверное, по-разному бывают счастливы люди. Я запомнил калитку, за которую убежала девушка. Она так и не сказала мне своего имени. Но каждый свободный вечер я приходил в тихий переулок, оставившись подле телеграфного столба и ждал. Я смотрел на звезды, смотрел, как из окон дома в глубине двора течет слабый свет и вздрагивают на нем сторожкие ветви кустов. Какое ее окно? Где она? Может быть, читает, спит, а может быть, ее вовсе нет дома? Я подолгу стоял у столба, и так было хорошо, что хотелось смеяться и плакать одновременно. Что это было? Ведь я и не знал как следует этой девушки. Да, по-разному бывают счастливы люди...

Я долго думал об этом. Счастье. Наверное, не так уж часто приходит оно к человеку, потому надо так беречь его, так охранять, чтобы не расплескать прежде времени. И если увидел ты, что человек счастлив, то не тревожь его».

1

Кирилл принял решение после разговора с командиром Смирновым. Дальше ждать было нельзя... И все-таки не покидало сомнение: стоит ли идти к Наде? Да и Маша говорила, что самое правильное, если они разберутся сами. Так будет честнее. Но она

не очень-то настаивала на этом, особенно после того, как рассказала о стычке Гоши в буфете:

— Ты знаешь, Кирюша, он ведь тоже прав. Тут надо кончать, а то, хочешь не хочешь, начинает тянуться хвост сплетни...

Кирилл выслушал ее и не ответил. После спора с Гошей он немало передумал, но так и не мог решиться на что-либо. Казалось, что если вмешаться, то обязательно рухнет что-то дорогое ему. А так еще оставалась надежда...

Все решил разговор со Смирновым. Кирилл, получив документы в диспетчерской, шел мимо вокзала к стартовой дорожке. Тут он услышал:

— Гудов, подожди-ка!

Кирилл оглянулся. К нему подходил, опираясь на толстую сучковатую палку, командир Смирнов. Его худощавое лицо, как всегда, отливало синевой после бритья. Смирнов был без фуражки, и ветер растрепал обычно гладкие, совершенно белые волосы. Смирнов не любил надоедать людям, и все в порту знали, что коль он захотел поговорить, то дело важное. «Выскочил без фуражки, — настороженно подумал Кирилл. — Может, полет отменяют?»

Смирнов протянул пухлую руку с не сходящей — от палки — мозолью на ладони.

— Здравствуй, давно не виделись, — так всегда начинал он разговор.

— На последнем партсобрании, — ответил Кирилл.

— Да, это я помню. — Смирнов поковырял палкой влажную землю и вскинул цепкие карие глаза. — Ты ведь тогда говорил о всепрощении?

— Я, — ответил Кирилл и еще больше насторожился: «К чему это он вспомнил?»

— Хорошо говорил, — спокойно продолжал Смирнов. — Я помню: «В авиации не должно быть «добреньких» летчиков, «добреньких» техников, «добреньких» диспетчеров. Когда самолет в воздухе, приятельские отношения и всепрощения — наши враги. Достаточно летчику простить хоть маленький недо-

смотр технику, и это может повести к катастрофе». Ты так говорил?

— Почти так.

— Ну вот видишь, я помню, — сказал Смирнов и улыбнулся. Улыбка у него была резкая, неожиданная: две упругие складки собирались на загорелых щеках, и открывался ярко-белый ряд зубов. — Мы постом обсуждали это в комитете, много было предложений... — Он опять поковырял палкой землю.

«Хитрит что-то, тянет», — решил Кирилл и, что бы разом покончить с этим, сказал:

— Да говори, командир, зачем пришел. Чего тянуть? Мне самолет выруливать надо.

— Знаю. — Смирнов сделался серьезным. — Ладно... Что у тебя с Сергеем?

Кирилл оторопел. Этого он не ожидал.

— Да вроде ничего, — растерянно пробормотал он.

— Ты мне брось, — резко сказал Смирнов. — Знаешь, о чем говорю. У них там не все в порядке. Говорят, уходит она к Голубеву.

Но Кирилл уже не на шутку рассердился.

— Бабы сплетни, — огрызнулся он. — Нельзя лезть в чужую постель. Это не ваше дело.

— Верно, — спокойно ответил Смирнов. — Чужая постель — не мое дело. А душа — это уже мое. Если мы человеку доверяем везти людей, то надо быть уверенным, что у него все ладно на душе. Ты сам это знаешь. А если у него плохо, он может за штурвалом натворить черт знает что.

Кирилл посмотрел, как ветер треплет седые волосы на голове командира. Спорить было невозможно.

— Ладно, — сказал он, — я понял.

— Смотри, дело идет не о пустяке.

— Я понял, — опять повторил Кирилл. — Мне надо идти выруливать. Всего хорошего, командир.

— Попутного ветра, Гудов.

Кирилл напрямик через стартовое поле зашагал к самолету. Ветер дул навстречу, трепал полы его темно-синего плаща. Они сердито хлопали по коле-

ням. «К черту все! — думал Кирилл. — Пойду я поговорю с Надей... Тогда все будет ясно... К черту!»

Так он решил. Он мог пойти к ней только вечером, потому что наверняка знал, что Сергея не будет дома. Тот уйдет в публичную библиотеку. Ему нужны для работы над мотоциклеткой некоторые технические справочники, которые есть только там. Лучшего времени, чтобы побывать у Нади, не придумаешь.

Кирилл не представлял, как будет говорить с Надей. Он только знал, что ему обязательно надо поговорить с ней.

...Тот день был свободным, и вечера не так-то легко было дожидаться. Тогда Кирилл вспомнил, что у него есть дело на трикотажной фабрике. Гоша все рассказал ему об этом долговязом парне. Он ведь обещал, что не оставит это так. Он пойдет на фабрику и встретится с парнем.

И вот он попал в комнату, где резко пахло клеем. Было жарко. Оконные стекла казались липкими. Кирилл расстегнул китель (он надел его специально, потому что считал, что шел по делу официально) и сел на стул.

— Мне нужно отыскать здесь одного парня, — сказал он.

Веселый розовый человек, скорее похожий на циркового администратора, чем на председателя фабкома, сидел за столом, покрытым красной скатертью, заляпанной чернилами, и внимательно слушал.

— Его зовут Петя. Долговязый такой парень. Работает слесарем. У вас есть слесари?

— Есть у нас слесари и токари, — засмеялся председатель. Он, наверное, всегда смеялся не к месту. — Что же случилось с этим парнем?

Председатель, наверное из-за кителя, принимал Кирилла за какое-то особое лицо и даже не спросил документов.

— Да ничего такого, просто он нужен мне.

Председатель задумался.

— Петя... Петя... Петя, — перебирал он в памя-

ти. — Возможно, Серафимов? Вы в лицо-то его знаете?

— Да.

Председатель проворно нагнулся и вытащил из ящика стола большой альбом в красном коленкором переплете, перевернул несколько страниц с фотографиями.

— Этот?

Кирилл приподнялся, чтобы взглянуть. Сверху было написано черной тушью: «Слесарь П. Серафимов, выполняет норму на 160 проц.». Кирилл было уже подумал, что этот вовсе не тот парнюга, с которым пришлось ему немного повозиться вечером в переулке. С фотографии смотрел аккуратно причесанный, в белой рубашке, при галстукке, спокойный, самоуверенный парень. И все же Кирилл узнал его по маленьким глазкам, по продолговатому лицу с крючковатым носом.

— Он, — сказал Кирилл. — Когда же его можно увидеть?

— Так, — понимающе сказал председатель и озабоченно взглянул на часы. — Через десять минут кончается смена. Ну что же, пригласим сюда. Вы посидите тут...

Председатель вышел из комнаты. Мелко дребезжали оконные стекла, все здание вздрагивало. Даже сюда, в эту комнату, долетал шум моторов, хотя цехи были где-то во дворе. «Почему тут так пахнет клеем?» — подумал Кирилл и еще раз огляделся. На полу отпечатались несколько белых букв. Здесь, наверное, писали лозунги, и краска просочилась сквозь материю.

Дверь отворилась бесшумно, но Кирилл почувствовал это.

— Вы, что ли, звали?

Это был тот самый парень. На нем теперь была покрытая масляными пятнами синяя спецовка. В складках у носа затаилось несколько металлических пылинок. Кирилл встал ему навстречу, протянул руку:

— Ну, здравствуй, Петя Серафимов.

— Здравствуйте... только я вас не знаю.

— Знаешь, разберемся сейчас.

Петя смотрел удивленно, его маленькие глазки расширились, он мял в больших, тяжелых руках какой-то пакет, завернутый в газету.

— Это я тебя четвертого дня немного зашиб.

Кирилл видел, как он изменился в лице. В глазах сначала метнулся испуг, а потом они стали колючими, как в тот вечер.

— Жаловаться, что ли, пришел? — глухо спросил он.

— Да нет же, просто повидаться.

— Чего же сюда? — указал Петя измятым свертком на пустой стол председателя. — А может, ты из милиции?.. Ты кто такой?

— Летчик я, обыкновенный летчик. — Кирилл достал папиросу, закурил.

— Ле-летчик... Чего же тебе надо? — Он говорил порывисто, видимо пытаясь подавить страх перед тем непонятным, что происходило сейчас.

— Знаешь что, Петя? — запросто сказал Кирилл. — Пойдем отсюда на воздух. Уж очень тут клеет пахнет, голова начинает болеть.

Они вышли на улицу. Было душно, над фабричным зданием висела золотистая пыль, она поблескивала на желтых листьях кленов. От проходной в разные стороны растекалась толпа, все больше девчата, и улицу наполнял их веселый гомон.

Кирилл посмотрел снизу вверх на Петю. «Ну и верзила же вымахал!» — внутренне усмехнулся он. Они шли рядом. Кирилл молчал. Петя явно нервничал, то и дело перекидывая измятый пакет из руки в руку. «Пусть говорит первым», — решил Кирилл. Петя не выдержал молчания.

— Чего же тебе надо? — сдавленно спросил он.

Кирилл бросил папиросу в урну, остановился:

— У тебя жена есть?

— Ну, есть.

— Чего же к девчонке пристаешь?

— Мое дело. — И тут же нагло ухмыльнулся. — Интерес, что ли, имеешь?

— Имею, — спокойно ответил Кирилл.

— Ишь ты... — Глаза у Пети опять стали колючими, злыми. — Все равно ничего не выйдет. К Зинке и не такие подбивались. Отогнал.

— Ну вот что, — насупился Кирилл. — Пристанешь еще раз к ней, пойду к твоей жене и все выложу. Понял?

И, повернувшись, зашагал прочь. Расчет его оказался правильным: не прошло и минуты, как Кирилл услышал за собой шаги, тяжелая рука сжала его плечо:

— Обожди.

— Ну?

— Ты жинку мою не трожь. Не надо.

Парень стоял, по-бычьему склонив голову, на бледном лбу его выступили капли пота.

— Ты ведь ничего не знаешь.., Зачем лезешь?

— Мое дело предупредить, — жестко ответил Кирилл.

Петя помял в руках пакет, вздохнул, отвел глаза и, увидев неподалеку вывеску на ларьке «Пивоводы», неожиданно сказал:

— Зайдем выпьем по кружке?

В деревянной будке было прохладно, жужжал вентилятор, пахло вымытыми полами и кислым хлебом. У высоких столиков толпились несколько человек, неторопливо отхлебывая пиво из кружек. Они разговаривали вполголоса, и за шумом вентилятора нельзя было разобрать их слов.

Петя поставил на каменную крышку стола две кружки, густая желтоватая пена свешивалась через их края. Он дунул на эту пену, жадно отпил, над верхней его губой остался белый след. Кирилл побоялся, что скоро начнется длинная плаксивая исповедь: именно так нередко и кончаются разговоры за кружкой пива. Ему же просто хотелось предупредить парня, чтоб он не портил жизнь другому. Впрочем, всякий раз, когда он вмешивался в подобные истории, а это случалось в последнее время с ним довольно часто, на душе оставалось чувство неловкости за людей, с которыми ему приходилось встречать-

ся, и он долго помнил их и долго думал: а прав ли сам? То приходилось ему везти домой к родным девочку, у которой едва хватило денег на билет в самолет, и слушать о том, что парень, с которым она удрала из дому, оказался скверным человеком; то на вокзале подбирал он пьяного безусого пацана, и тот утром, проснувшись в его комнате, плакал и клялся, что жизнь его погублена, и Кирилл, вылив на него ведро холодной воды, начинал, как он говорил, «вправлять ему мозги», то... Да мало ли что было? Маша, узнав об этом, говорила:

— Уж очень ты сердобольный, Кирилл.

Ему не нравилось это слово, казалось обидным и каким-то липким. Он сердился, когда она так говорила, и пытался ей объяснить, что просто все эти люди встречаются на его пути, и кто их разберет, почему именно перед ним они начинают выворачивать свои души наизнанку. Он же не просит их об этом. А теперь вот этот Петя Серафимов. Правда, он сам пошел к нему на фабрику. Но тут уж ничего не поделаешь, так нужно было... Ему не хотелось сейчас слушать чужую исповедь, и, чтоб опередить парня, он, вспомнив про альбом у председателя фабкома, сказал:

— А ты на фабрике, видать, в передовиках ходишь?

— Работать не боюсь, — глухо ответил Петя. — Люблю работать, с малолетства привык. На фабрике ценят, это верно...

Он еще отпил из кружки, отер ладонью губы, вздохнул:

— Что-то неправильное во мне получается... Непонятное... Ты думаешь, я свою жинку не люблю? Я ее очень люблю. Ребенка ждем. Еще месяц, и родится... Очень хорошая у меня жинка, умная, техникум кончила, интересно мне с ней жить. Я-то сам своим горбом до специальности дошел, а она грамотная... Очень хорошая жинка.

— Чего же тебе тогда еще нужно?

— Не знаю.. Непонятное что-то получается. Мы с Зинкой гуляли раньше, красивая она, умная. Для

меня если девчонка умная — это самое большое... Зинка думает, что женился из-за того, что у жинки квартира была. Вот умная, а не понимает... А я как выпью, что-то делается во мне. Иду к Зинке и ругаюсь. Нехорошо ругаюсь. Увижу ее с кем-нибудь — душа переворачивается. А почему так получается, не знаю.

Кирилл теперь слушал с интересом. И в том, как говорил этот парень — глуховато, пряча глаза, — и в словах его было что-то подчеркнутое, необычное, самовлюбленное, будто не впервой приходилось ему все это рассказывать. Он допил пиво, повертел в своей ладони кружку, глядя, как, пузырясь, оседает на дне пена.

— И рвет меня на две части. Как гляну на Зинку, так меня поворачивает: «Моя любовь, и все». Приду домой — и хоть в ноги вались жене. Бывает так?.. Ну, скажи? — с оттенком непонятной гордости спросил он.

Кирилл ответил не сразу, закурил, выпустил прямую струю дыма, покачал головой:

— Жади́на ты, Петя Серафимов.

— Это как? — Петя внимательно посмотрел на Кирилла и неожиданно осклабился:

— Ну, это ты брось... Спроси ребят на фабрике. Скажи им: Петя Серафимов — жмот, — смеяться будут. Уж чего-чего, а этого нет во мне. И ребят, когда надо, угощу, и если на что пожертвовать...

— Ты, брат, по-другому жади́на, — сказал Кирилл. — «Моя да моя». А какая она твоя? А то, что жить ей мешаешь, тебе наплевать. О себе только думаешь, для себя... Вот где ты жади́на.

— Что же я поделывать могу?

— А это уж ты сам думай.

Петя опять вздохнул, покачав головой:

— Красиво разрисовал, да только...

— Нет уж, брат, красиво ты сам себя разрисовал. Ты что, думал, я заплакать должен перед твоими страданиями? Да их и нет у тебя, выдумал все. Ребят с фабрики небось по пьяной лавочке хвастаешь, как мне вот сейчас. Не так?

Петя покраснел.

— Ну, то-то, — сказал Кирилл, и ему сразу стало неинтересно с этим парнем, захотелось побыстрее уйти от него.

— Вот что, — жестко сказал он, — пристанешь еще раз к Зине — будет у нас совсем другой разговор.

И пошел к выходу.

— Постой! — окликнул его Петя.

Кирилл обернулся.

— Может, еще по кружке? — просяще сказал Петя.

Кирилл пожал плечами, вышел на улицу. Необычайно жаркий для осени выдался нынче день. Не выдержав духоты, облетали с кленов желтые листья. Кирилл шел, стараясь держаться поближе к стенам домов, от которых падали короткие тени на тротуар. Глухое раздражение нарождалось в нем, было неприятно все то, что он слышал сейчас и видел. И он думал о том, как скверны бывают люди в своих мелких, незадачливых страстях, и когда они пытаются выставлять их напоказ, принимая это за необычность, то выглядят удивительно убого. И судить их бывает порой нелегко, потому что люди эти сами не замечают убогости своей и кичатся, гордятся ею. Он думал об этом по-своему, не находя и не подбирая слов, лишь раздражаясь и сердясь. Потом он подумал о том, что скоро ему надо будет идти к Наде, и от этого еще тяжелее стало на душе.

2

Сумерки сгущались по-осеннему, не спеша; во дворы, палисадники, в подъезды уже забрели и затаились густые тени, в окнах зажигался свет и, еще блеклый, падал жидкими пятнами на дорогу. Кирилл остановился около дома, где жил Сергей. Где-то был включен приемник — гремела музыка, хлопнула калитка. «Мишка, иди-и-и домой!» — кричал женский голос; пахло стираным бельем, квашеной капустой, яблочной хмелю. Кирилл вздохнул, поправил штур-

манку, хрустнул пальцами и, сердясь на самого себя, сопя и тяжело топая, стал подниматься по ступенькам. Он стукнул костяшками пальцев в дверь, но никто не откликнулся; тогда дернул на себя ручку и, перешагнув порог, тотчас увидел Надю. Она стояла спиной к нему возле зеркала и заплетала косу.

Кирилл, приложив ладонь ко рту, кашлянул и спросил:

— Можно?

Надя вздрогнула, оглянулась и выронила из рта заколки. Кириллу стало неловко: он напугал ее.

Она наклонилась, чтобы подобрать заколки, густые медовые волосы упали с плеч, открыв порозовевшую шею, отчетливо вырисовались сквозь шелк платья две пуговицы бюстгальтера. Кирилл досадливо крикнул и полез было за папиросой, но сейчас же раздумал. А Надя обеими руками закинула косу за спину и после этого прямо взглянула на Кирилла.

— Ты к Сергею? — спросила она. — Он ушел...

— Знаю, — уже совсем сердясь на самого себя, ответил он. — Давай-ка собирайся... Я отвернусь...

И прошел к окну, растворил его, сел на стул, расставив ноги, снял с головы штурманку, положил ее себе на колени. Ему видна была почти вся комната: мягкое кресло в углу, на нем раскрытая книга, золотистые обои, рыжий ковер, стол, накрытый белой скатертью со складкой посередине, а на столе синяя стеклянная ваза, из которой торчали лохматые мордашки георгинов. Оглядев все это, Кирилл вдруг почувствовал тоску: он любил бывать здесь, а вот, может, нынче же все это будет никому не нужным, и он для того пришел сюда...

Надя за спиной все топталась, шуршала чем-то, коротко вздыхала. «Чего тянуть, — думал Кирилл, — надо сразу, и точка». Он неторопливо провел ладонью по щеке.

— Слышь, — сказал и кашлянул, голос у него стал сильным. — Как... как живешь?

— Ничего, — ответила она спокойно, а может быть, ему так показалось: он ведь не видел ее ли-

ца. — Коммутатор у нас снимают, АТС пришла, придется сдавать экзамен на техника.

— Знаю.

— Вот видишь, ты все мои новости знаешь. — Кажется, она улыбнулась.

«Что это со мной?» — подумал Кирилл.

— Курить у тебя можно?

— Ты же знаешь, что можно.

— Да... да...

И поспешно полез в карман за папиросой. Тут ему показалось, что вот так он посидит, посидит, покурит, встанет и уйдет, не сказав больше ни слова, а потом будет мучиться, клясть себя в душе, что не сумел сделать того, что задумал, и опять прихлынут раздумья, будут тревожить его.

— Можешь обернуться, я готова, — сказала Надя.

Кирилл повернулся, увидел ее глаза, большие, глубокие, и, нахмурясь, сказал грубовато:

— Что у тебя с Голубевым?

Щеки у Нади вспыхнули, она прижала руку к груди, что-то неуловимое, будто луч невидимого фонаря, скользнуло по ее лицу и погасло. Она подошла к столу, села подле него, положив на скатерть обе ладони.

— Ты для этого пришел? — тихо спросила она.

— Да.

— А зачем?

Кирилл скомкал у себя на коленях штурманку. «Зачем?» Да, черт побери, должна же она сама понимать: Сергей для него не чужой... Он хотел ей сказать об этом, но Надя неожиданно поднялась из-за стола, подавшись вперед, розовея лицом; крепкая грудь ее, туго обтянутая шелком, прерывисто вздрагивала; в широко открытых глазах не было ни страха, ни стыда, ни обиды, только глубокий ясный свет, и был он так ярок, так пронзителен, что больно было глядеть ей в лицо. И он, не смея больше открыть рта, смотрел на это чудо, пораженный, сразу почувствовав свою беспомощность и слабость. Он не услышал, а скорее догадался, как она сказала:

— Уходи!

Кирилл почесал щеку, заскрипел стулом, поднялся. Надя не отвела взгляда, смогрела по-прежнему, только строгая складка обозначилась меж бровей, и тогда он отчетливо понял, что ничего уж больше не сделаешь, да ничего и не надо делать и говорить. Кирилл поспешно встал, в сердцах нахлобучил штурманку и, широко шагнув через комнату, пинком открыл дверь...

Где-то в густой тьме, за деревьями, в бессильной злобе выла, гремя цепью, собака, с металлическим скрежетом рвалась музыка из приемника. «Миш-ка-а!» — кричала по-прежнему женщина, и вдали над крышей высокого дома смотрело холодное бельмо звезды. Только выйдя на крыльцо, Кирилл почувствовал, как все напряжено в нем. Он жевал погасшую папиросу, стараясь унять дрожь в пальцах. «Дребедень... дребедень», — сам не зная почему, повторял он про себя это совсем неподходящее слово. Он сплюнул папиросу, превратившуюся в мокрый, изжеванный ошметок, вздохнул и собрался сойти с крыльца. Какой-то человек подошел к нему и сказал:

— Я все слышал, Гудов.

Кирилл узнал его по голосу, но не обернулся, стараясь пройти мимо. Меньше всего ему хотелось сейчас видеть Голубева. Но тот забежал вперед и загородил ему дорогу, стоял, наклонив голову, дыша дорогим табаком. Кирилл отчетливо видел при оконном свете его высокий лоб с залысинами, припухлую нижнюю губу и почувствовал, как перехватило горло, напряглись мышцы рук, и, испугавшись, что сейчас может ударить этого человека, прохрипел:

— Пшел.

Голубев не отступил, качнулся вперед и сказал тихо, но внятно:

— Зачем же так?.. Не дети...

— Ну... чего тебе? — немного отходя душой, но все еще хрипло — раздражение мешало ему говорить — спросил Кирилл.

— Поговорить нужно.

— Зачем?

— Так, нужно... тебе и мне...

— Ну... говори...

Голубев потоптался на месте:

— Не здесь... Давай пройдем ко мне. Это близко.

Кирилл глубоко вобрал в себя воздух, подумал: «Черт с тобой!» — и безразлично сказал:

— Веди.

3

Пока шли каким-то переулком, проходным двором, а потом новой улицей — молча, напряженно дыша, громко шаркая подметками, — Кирилл совсем пришел в себя. Все, что случилось только что, показалось ему нелепым и странным, и он даже удивился, как это он мог так говорить с Надей. «Дребедень», — опять повторил он про себя новость почему пришедшее на ум слово.

В подъезде горела электрическая лампочка. Кирилл увидел, что на дверях прибита алюминиевая плашка и на ней написано: «В. Голубев». «Как у врача», — усмехнулся он.

Кирилл бегло оглядел комнату: пингвина, черепки на полках, карты. «Ишь, как все разукрасил, — презрительно подумал он. — Показуха, младенцев удивлять: ах, какой герой!..»

— Садись, — сказал Голубев, пододвигая табуретку. — Водки хочешь?

— Нет.

Голубев неопределенно пожал плечами, наклонился, чтобы открыть тумбу письменного стола, и без того продубленная шея его с резкими полосами побавровела. Достал из тумбы бутылку, два стакана, несколько яблок.

— Захочешь, выпьешь. — Голубев сел против Кирилла, потер тугую щеку, сказал запросто: — Вот что, командир, давай сразу, чтоб было ясно: я женюсь на Наде. Это решено и ею и мной... Никаких виражей не будет.

Кириллу не нравилось ни спокойное лицо Голубева, ни его нагловатые светлые глаза, ни твердость,

с которой тот пытался произносить слова. Он ничего не отвечал ему, думал, что зря пошел с этим человеком. Какое ему дело до всего этого? Сейчас надо бы подумать о другом: как помочь Сергею, чтобы не так уж силен был удар. Это ведь на вид только Сергей такой разбитной да бойкий, а вот обрушится на него беда, все может в нем сломаться. Так какое дело Кириллу до Голубева?

А тот взял со стола бутылку, поболтал в ней водку, она заплескалась, зеленея сквозь стекло.

— Налить?

Кирилл опять не ответил, тогда Голубев пододвинул к себе стакан, звякнул горлышком о край, и водка плеснулась на стол. Плечи Голубева дернулись, как от озноба, он сощурился, выпил единым махом, судорожно потянулся к яблоку, но оно выскользнуло из его пальцев, глухо стукнулось об пол, покатилося к стопке журналов. Кирилл нагнулся, поднял яблоко. «Тоже питух», — подумал он и увидел, как смотрит на него Голубев заслезившимися глазами. Было в этом взгляде что-то необычное, будто смешались и грусть, и радость, и тревога.

— Неправым меня считаешь, Гудов?

Кирилл положил яблоко на стол, в нем внезапно закипела злоба.

— Стерва ты! — выругался он. — Стерва!.. На чужое счастье позарился. Ты ведь жизнь человеку поломал. Как же я могу тебе верить? На весь порт бахвалишься. И ей душу искромсаешь. Баб тебе не хватало?

А Голубев все смотрел на него заслезившимися после водки глазами, шумно втянул носом воздух, встал, толкнул ногой табуретку.

— Эх, ты... — сказал он, стиснув зубы. — Эх, ты...

— Что «я»?

— Баба! Трепло базарное. — Голубев повернулся спиной, прошел до дверей, скрипя новыми ботинками. Кирилл видел его напряженную, широкую спину, обтянутую темно-синим кителем. — Лучше уходи, — не поворачивая головы, глухо сказал Голубев. —

Я думал, поймешь... А теперь уходи отсюда, командир, не гость ты мне.

Что-то стыдное обожгло Кирилла, но злоба все еще бурлила в нем. «Так-то лучше, — подумал он. — Так лучше». И встал. Хотел молча пройти мимо Голубева к выходу, но где-то в глубине души заточил червяк: что-то не то он сейчас делает, что-то не так. Хотел отогнать от себя эти мысли: мол, наплевать, — но не смог. Голубев все еще стоял к нему спиной. И все же Кирилл шагнул к дверям. Тут Голубев повернулся.

— Нет, погоди!

Брови его круто сошлись, он дышал тяжело, с прихрапом, словно делал какую-то трудную работу.

— Чужое счастье, говоришь, хапаю?.. А какое оно, чужое?! Мое оно, слышишь ты, поп, мое! — Он двинулся навстречу Кириллу, задышал водкой прямо в лицо: — Ты сейчас дерьмом в меня запустил! О Сергее печешься? Так о друзьях не пекутся. Не любит она его, меня любит. Не нравится?.. Черт с тобой! Только вот что скажу: обманул я в тебе, думал — умней. Да ладно, не в этом дело. С Сергеем сам поговорю. Нелегко будет, тебе было бы проще... Ну да ладно... Теперь уходи. — И он отодвинулся, уступая дорогу к выходу.

— Обожди. — Кирилл переступил с ноги на ногу. — Ты Сергея не трогай.

— Боишься?

— Чего?

— Боишься за него? Не веришь в его силенки? Привык сам за всех делать? Не веришь другим? А может, он посильнее тебя, а?

— Ты это брось! Не верил бы...

— То-то и оно, что не веришь. Ты что же, думаешь, патент на честность у тебя в кармане лежит? Я, мол, не ошибусь, ошибаются другие. И к Наде пошел с проповедью, да не вышло. Она сильнее тебя оказалась, а ты и не заметил этого... Эх, командир! Слова у тебя, все слова. «Людам до всего есть дело». Есть, черт возьми, есть! Только когда это дело без

поповства и ханжества... Я, может быть, о Сергее не меньше тебя думаю.

— И что же ты думаешь?

— Затем и звал тебя. Не хочу, чтобы в грязь все окунали, не хочу, чтобы злоба за спиной пенилась. Не хочу! Слышишь?

— Чистенькое любишь?

— Люблю! Люблю, чтоб человек понимал другого, не гавкал, не лаялся, как мы с тобой. Люблю, чтоб в людях такая сила уважения друг к другу была, чтоб они дерьмом взаимно не швырялись. Знаешь, что она его не любит? Знаешь! Так почему же хочешь, чтоб все осталось по-прежнему? Хуже-то ведь и нет на свете, чем рабская любовь... Ты же, как квочка вокруг своих цыплят, бегаешь да кудахчешь: «Тише, дети, все должно быть спокойно». А на кой шиш такое спокойствие? Сверху гладенько, а снизу — гаденько. Вот так-то, командир.

Голубев отвернулся, прошел к столу, сел на табуретку, широко расставив ноги. Внутри у Кирилла все кипело, стало сухо во рту, но он не знал, что отвечать этому человеку, бессильная ярость туманила рассудок. А Голубев подвинул к себе стакан, налил водки и, на этот раз не морщась, не вздыхая, выпил. Он не смотрел на Кирилла, что-то думал свое, медленно поворачивая в кургуzych пальцах граненый стакан.

Кириллу тоже захотелось выпить. Он шагнул к столу, задев ногой табуретку, она с грохотом отлетела в угол, но он даже не взглянул в ту сторону. Водка привычно обожгла рот, Кирилл с хрустом откусил яблоко, отошел к окну. За черным стеклом длинной цепью тянулись огни уличных фонарей и перекрещивались лучи. Огни уходили все дальше и дальше и где-то вдали сливались с белыми глазницами крупных сильных звезд.

— Болтают люди о любви, — сказал за спиной Голубев. Голос его теперь был задумчив, хоть и казалось, что где-то еще звенит в нем давешняя металлическая нотка. — Болтают... А ищут в ней лишь себе радости. Тронь их, вопят: мое! А где такая лю-

бовь, чтоб в ней достало мужества и крепости отдать всю радость любимому?.. Наверное, придут еще такие люди, придет такое время, когда уважение друг к другу будет так велико, что оно сумеет победить любое тяжкое горе. Вот тогда, Гудов, стыдно нам будет, ох, как стыдно нам будет, что мы не умели этого! Так-то...

Кирилл смотрел, как переливается, мигает, дрожится в черной мгле огромный мир света и ночи; гулко стучала кровь в висках. Оконное стекло закачалось, затуманилось, и в провале всплыло длинное лицо Пети Серафимова, оно подмигнуло ему тонким веком, будто хотело сказать: «Здорово, приятель», — и ослабилось белозубо, и исчезло, растаяло. «Тьфу ты, — мотнул головой Кирилл, — пьян я, что ли?» И опять услышал Голубева:

— А ты не можешь нас судить, командир, нет, не можешь.

И Кирилл почувствовал, что не может. Что ответить человеку, к которому пришла любовь? Так уж, видно, бывает в этом мире, что радость, дарованная одним, оборачивается бедой для других, даже если те, кому выпало счастье, не желают никому на земле горя. Да так ли все это?.. Неужто люди и вправду не могут уходить друг от друга свободно, когда иссякает то, что питает их любовь? Ведь никто из них не раб, и прав этот парень, что нет хуже рабской любви. Но как быть, если один верен чувству, а другой стал холоден к нему? Но разве же в человеке не должно быть столько силы, чтоб он мог дать свободу другому?.. Нет, нельзя судить людей за любовь, а коль она пришла бедой для другого, то для того и есть у него друзья, чтоб не дать ему захлебнуться от горя. А он, Кирилл, не понял этого с самого начала. Он рассуждал, как привыкли рассуждать во круг, и он опоздал и дал обрушиться беде...

Кирилл стоял у окна, думал обо всем этом и чувствовал, что уже ничего не сможет ответить Голубеву...

ГЛАВА ПЯТАЯ

«...Я покупал в магазине колбасу на ужин и услышал рядом с собой:

— Здравствуйте, а я вас узнала.

Наверное, у меня был очень глупый вид, да еще вдобавок я сунул с перепугу колбасу в карман.

— А вы меня не забыли?

Она держала в руках круглую буханку хлеба. Ну как же мог я забыть ее? Даже смешно.

Она вдруг прыснула:

— А здорово вы Петю напугали!

Я хотел сказать ей, что это вовсе не я напугал, а Кирилл, но раздумал и ответил:

— Пустяки... Я ведь к вам потом приходил, к калитке. Думал, может, опять будет приставать...

— Нет, он больше не пристаёт. Идемте отсюда, а?.. Тут душно и много народу.

На улице шел мелкий-мелкий дождь, и я испугался, что она из-за этого дождя пойдет очень быстро. Но она не пошла быстро.

— Я вам тогда не сказала, как меня зовут... Зина. А вас?

— Все зовут Гошей... А вообще Игнат. Но можете и вы — Гошей.

— Вы летчик?

— Нет, бортрадист.

— Но все равно ведь летаете?.. А я еще никогда не летала на самолете. Наверное, испугалась бы, я ужасная трусиха. Расскажите мне что-нибудь про то, как летают.

И я стал ей рассказывать, как мы летаем втроем, какое бывает небо. Я говорил без умолку, а сам боялся, что она вот-вот уйдет из-за этого дождя. Она совсем промокла и все-таки слушала. Раньше с девочками у меня никогда не клеился разговор, а тут так здорово получалось. Потом она посмотрела на свой хлеб и сказала:

— Сейчас мне попадет от мамы. Буханка совсем размокла... А впрочем, какая разница?..

Тогда я совсем осмелел и сказал:

— Мы встретимся завтра... у калитки.

— Хорошо, — ответила она и ушла.

Я шел домой и думал, что сейчас отдам всю эту чертову колбасу Пушки. Пусть ест, пусть ест, дьявол, пусть ест, милый, хороший пес. А в темноте по другой стороне улицы шел какой-то человек и пел незнакомую песню:

На крыльях — лед, на сопках — лед,
И в небе — сто чертей.
Не жди, пилот, что повезет,
Штурвал в руке твоей.

Мне понравилась песня. Хорошая была это песня. Я даже хотел перебежать улицу и попросить списать у человека слова. Но он, наверное, был пьян...»

1

В штурманской Сергея не было. Кирилл получил в диспетчерской документы и вышел к вокзалу, посмотрел на большие электрические часы: через десять минут надо выруливать самолет к перрону.

День выдался серый, тусклый, с влажным ветром, и хоть горизонт просматривался далеко, небо низко нависло над землей, было однообразно-свинцово, без единой морщинки; казалось, оно застыло и нет в нем никакого движения. Кирилл не любил такого неба и потому, прежде чем зайти в диспетчерскую, подошел к пилоту, который только что прилетел по их трассе:

— Как дорожка?

— Бери повыше... Я шел на двух тысячах. Там светло.

Странно, каждый летчик относится к погоде по-разному, есть даже такие, что любят только такое небо, как сейчас.

Кирилл еще раз взглянул на часы. Где же Сергей? Если он не подойдет через пять минут, придется выруливать самому. Просить замену пока рано. И все же где Сергей?

Он подумал, что не стоит больше ждать у диспетчерской, где они всегда собирались, и направился

к самолету. Когда вышел из-за кустов к полю, то увидел, что дверца кабины у самолета открыта и около лесенки стоят Гоша и Сергей. Еще не доходя до них, Кирилл понял, что произошло что-то неладное. Только он сразу не мог догадаться, что именно. Когда оставалось до самолета шагов десять, бросилось в глаза: Сергей стоит на ветру в одной рубашке, без кителя, лицо у него усталое, бледное.

— Добрый день, — сказал Кирилл и подошел к Сергею: — Ты не заболел?

— Нет.

— Может быть, не полетишь? Вид у тебя... того. Сергей вскинул покрасневшие глаза.

— Почему? Отличный вид! — И неприятно, криво рассмеялся.

Кирилл понял: то, чего он ждал, случилось. Она сказала ему все. «Надо заменить его...» И тут же представил, как Сергей останется на земле, вспомнил вчерашний разговор с Голубевым. «Нельзя, — твердо решил. — Никак нельзя... Надо вместе».

— Давай быстрее, Сережа, — сказал он. — Скоро объявят посадку.

Когда он сел на свое место и взялся было за стартер, то увидел: за перроном, возле железной ограды, стоит, опираясь на палку, командир Смирнов, ветер треплет его седые волосы...

Самолет будто недвижно повис, запутавшись, как в паутине, в сплошной серой наволочи, лишь гул моторов да подрагивание стрелок на приборах напоминали о движении. На наружном термометре было минус пять по Цельсию. Лед матовым налетом затуманил стекло, снег жадно лип на крылья. Это всегда бывает, когда при такой температуре с моря несет влажную сплошную облачность. Сергей видел слева от себя напряженную щеку Кирилла. От серого света, похожего на свет дневных ламп, лицо его казалось бледным.

Едва сел Сергей к штурвалу, как его захватил привычный ритм работы. Он следил за приборами, делал отметки в бортовом журнале, сверяя пролеты по карте, легко понимая каждое движение, каждый

жест Кирилла. И хоть где-то в глубине еще жило в нем все то, что случилось ночью, но мысли были о другом. Его тревожило, что снег липнет на крылья, а «ИЛ» их старенький и не любит обледенения, что вот идут они столько времени, а все не могут пробить противную серую массу облаков. Он наблюдал, как Гоша встал со своего места, трогал Кирилла за плечо, протягивал ему крохотный лоскуточек бумажки — бюллетень погоды. Сергей тоже тянулся к ней и, прочитав цифры, успокоительно кивал головой: «Все, мол, в порядке, погоду обещают хорошую». Он жил сейчас в мире точных расчетов, метеосводок, сигналов, долетающих из эфира, и весь другой мир отодвинулся, сместился, он остался там, внизу, на земле. И Сергей облегченно вздохнул, когда побледнело вокруг. Словно из разорванных паутинных пут самолет выскочил в яркую голубизну, сразу просветлели стекла, и сквозь них был виден в небе сильный белый росчерк — след реактивного самолета. Высота — две тысячи метров...

Сергей увидел, как Кирилл взял папиросу, закурил и искоса взглянул на него. И этот настороженный взгляд уколол. Тогда Сергей понял, что мир, о котором он думал, вовсе не остался на земле, он летит с ним рядом, вместе, в одной кабине. Снова подступило противное, скребущее чувство. Оно появилось, когда он ушел из дому и бродил по ночным улицам. Сперва все маячило перед глазами замкнутое Надино лицо. Он сказал ей: «Сволочь!» — а после жалел, шел и жалел, что сказал это, лучше бы уж ударил... Ему хотелось выпить, напиться или расквасить кому-нибудь морду. Он шел по ночным улицам, сжимая кулаки в кармане. «Вот кого сейчас встречу, тому и дам в морду».

Сергей сам не заметил, как вышел к порту. Огни переливались в тумане, расползались в темноте тонкими стрелами в разные стороны. Он подошел к вокзалу, сел на ступеньку у каменного шара, где всегда поджидал Надю, и закурил. «Глупость какая, — подумал он. — Зачем кому-то бить морду?.. Глупость, настоящая глупость. А выпить надо. Просто меня

трясет, и выпить надо...» Он вспомнил, что еще открыт ночной буфет. Встал, прошел по гулким залам, где дремали несколько пассажиров, ожидая ночного рейса. Никто даже не посмотрел на него.

В буфете за столиком сидела полная, рыхлая женщина и пила ситро, громко причмокивая пухлыми накрашенными губами. Сергей подошел к стойке, увидел Машу. Она, подперев обеими руками голову, читала книгу, рыжеватые волосы ее рассыпались, упали на стойку.

— Маша, — позвал Сергей.

Она вздрогнула, подняла голову. Книга соскользнула и глухо ударилась об пол.

— Что с тобой? — спросила Маша.

— Ничего, — ответил он и отвернулся. — Налей стакан коньяку.

Он пошел к столику, сел, склонив голову, слышал, как Маша гремит стаканом, топчется, вот обронила что-то.

«Зачем я пришел сюда?» — подумал он.

— Пей, — сказала Маша и поставила перед ним стакан.

Он протянул руку и обжегся:

— Что это?

— Чай, — сказала она. — Выпей чаю, ты совсем замерз...

Ему вдруг стало обидно, что она утешает его, что принесла вместо коньяка чаю, что так скверно все было сегодня ночью. Не выдержав, Сергей повалился грудью на стол и, совсем как мальчишка, заплакал.

— Боже! — вскрикнула женщина. — Боже! Что случилось?!

Он слышал ее и даже подумал: «Дура».

— Уходите! — крикнула Маша. — Уходите! Буфет закрыт.

— Тут все сумасшедшие, — сказала женщина и хлопнула стеклянной дверью.

— Перестань, Сережа, сейчас же перестань, — сердито сказала Маша.

Он всхлипнул и застыдился, вытер ладонью лицо и, не поднимая на Машу глаз, взял стакан с чаем.

Пил большими глотками, обжигая рот, видел, как Машины руки с потрескавшимся лаком на ногтях гладят белую скатерть.

— Тебе не надо так убиваться, — сказала она.

«Откуда знает?» — подумал он, все еще не смея взглянуть ей в лицо. Над головой щелкнуло радио, и сонный голос диктора механически произнес: «Граждане пассажиры, объявляется посадка на самолет двадцать ноль семь, следующий рейсом четыреста тринадцать».

— Откуда ты знаешь? — спросил Сергей.

— Все знают, — спокойно сказала Маша.

— И Кирилл?

— И Кирилл знает... Тебе не надо так убиваться, — повторила Маша.

— Она сволочь, — сказал он, хотя недавно корил себя за то, что бросил это слово Наде в лицо.

— Нет, — ответила Маша, — она не сволочь. Она любит его.

— А я?

— Не знаю... Но его она любит, и теперь ничего не сделаешь, Сережа... Если бы она просто таскалась, тогда другое дело. А она любит... Это точно.

Он поднял голову, увидел, что зеленоватые глаза Маши смотрят серьезно и строго, и сразу что-то оборвалось внутри: он понял, что Надя ушла, совсем ушла от него и ничего теперь нельзя изменить. Ночью, когда она все ему выложила, была обида и злость. Они захлестнули его с такой силой, что затуманили разум. Сергей смотрел на Машу и думал: «Что же теперь будет?..»

И вдруг заторопился:

— Я пойду.

— Иди, — ответила Маша. — Лучше ложись спать... Можешь подняться на второй этаж, в гостиницу, там есть свободные койки. Только не пей, тебе это ни к чему. Не будешь?

— Не буду, — покорно ответил он и вышел.

Но так и не заснул на гостиничной койке, лежал, бездумно смотрел в потолок, а когда стало совсем светло, пошел к себе домой.

Надя ушла на работу. В комнате все было по-прежнему, на спинке стула висел Надин халат, на столе стоял недопитый стакан молока, лежал кусок хлеба. Сергей почувствовал, что хочет есть, выпил молоко, съел хлеб.

«Может быть, собрать чемодан?» — подумал он. Взгляд его упал на чертежную доску, к которой был приколот кусок ватмана с чертежом воздушной мотоциклетки.

«А это как же?» И, вдруг обозлившись, двинул ногой по доске, выскочил из комнаты и торопливо пошел к порту. Лишь у диспетчерской вспомнил про сегодняшний рейс, взглянул на часы и заспешил к самолету...

Сейчас все это вновь вставало перед глазами, заслоняя собой бездонную солнечную голубизну неба. И на земле тоже было солнце, но не такое веселое и яркое, как наверху. Оно робко касалось бетона, поблескивало на крыльях самолетов, слабым огнем зажгло окна вокзала. Сквозь бетон местами пробивалась пожухлая трава, убитая утренним морозом.

Сергей вышел на перрон. Полтора часа, и они снова отправятся в путь. Воздух вокруг показался ему мутным, желтоватым, словно вода, тронутая ржавчиной. Может быть, это кружится голова?.. Он шагнул по бетонным плитам и не услышал своих шагов.

— Скажешь техникам, чтобы проверили двигатели, — сказал ему Кирилл. — Потом приходи в столовую...

Сергей посмотрел ему вслед. Кирилл шел, тяжело ступая по бетону, держа в руке планшет с документами; рядом с ним семенил Гоша.

К самолету подъехал грузовик. Девчата в синих комбинезонах бросали в кузов мягкие пакеты с почтой. Сверкая серебристой покраской, развернулся бензовоз. Заправщик забрался на крыло, потянул за собой шланг, похожий на большую трубку от противогоза. Сергей видел все это, давно знакомое и привычное, как сквозь запотевшие очки.

Он всегда любил прилетать в этот огромный, мно-

голюдный порт, любил бродить по большому пассажирскому залу ожиданий. Но теперь его не тянуло на люди.

«Где же эти техники?» — подумал он и в это время услышал:

— Сергиуш! Алло, Сергиуш!

За решеткой, что отделяла перрон от вокзала, стоял долговязый Юзеф и размахивал руками. На нем был толстый красный свитер, усы резко закручены кверху.

Сергей подошел к нему.

— Я знал, что ты прилетишь. — Юзеф протянул обе руки над решеткой. — Я кричу тут десять минут, а ты ничего не слышишь!.. — Юзеф перевесился через решетку и чмокнул Сергея в щеку. От него пахло кофе и духами, — Лезь через это проволоочное заграждение. Наплевать на все калитки.

И не успел Сергей опомниться, как Юзеф приподнял его над землей. Сергей едва уцепился за решетку, чтобы не упасть, и спрыгнул на асфальтовую дорожку.

— Ну, сегодня ты получишь мат, — сказал Юзеф и по привычке ткнул Сергея длинным пальцем в грудь. — Я продумал всю партию. У тебя нет шансов. Надеюсь, ты не забыл блокнот, где мы записали партию?

Сергей машинально сунул руку в карман: блокнот был там. Меньше всего хотел бы он сейчас видеть Юзефа, хотя всегда радовался встречам с ним. Юзеф заметил это, спросил:

— У тебя нездоровый вид, Сергиуш. Ты немного болен?

— Нет, — ответил Сергей, — я не болен..

— Тогда, наверное, ты немного хандришь. О, это бывает у пилотов, я знаю... И все равно у нас будет как всегда. Правда?

Он обнял Сергея за плечи и почти силой повел в вокзал. Они миновали пассажирский зал, поднялись в буфет.

— Садись сюда, Сергиуш, я сейчас расставляю фигуры.

Сергей сел в кресло. Пластмассовая крышка стола была покрыта стеклом, и Сергей увидел свое отражение: расстегнутая рубашка, взъерошенные волосы, покрасневшие глаза.

— Не надо шахмат, — сказал он и смешал на доске фигуры.

Юзеф удивленно вскинул большие карие глаза и внимательно посмотрел на Сергея.

— У тебя неприятности, Сергиуш? — мягко сказал он.

Сергей отвернулся, подумал: «Нечего было сюда идти, лучше отсидеться в самолете...»

— Тогда я сейчас принесу кофе и еще что-нибудь, — сказал Юзеф и положил руку на плечо Сергею. — Только не надо так смотреть, Сергиуш... Я тебя очень прошу...

Сергей огляделся. В углу о чем-то громко тараторили французы, рядом с ними стояла наша переводчица в костюме стюардессы, вежливо объясняла им что-то. Неподалеку от них сидел негр, медленными глотками пил кофе и морщился.

«Может быть, уйти? — подумал Сергей. — О чем мне говорить с этим парнем?»

Но было уже поздно. Юзеф пробирался к столику, нся в вытянутых руках поднос, на котором стоял кофейник с чашками, лежали булки, сыр.

— Кофе очень помогает, — сказал Юзеф. — Вот увидишь, как он здорово помогает.

Он ловко разлил кофе по чашкам.

— Когда мне плохо, я всегда пью кофе. Отличная штука. А шахматы — ерунда... Мы еще доиграем эту партию. Разве мы больше не встретимся? Ну, конечно, встретимся. Ты здорово играешь в шахматы... Честное слово, я еще не встречал человека, который бы так здорово играл в шахматы. Тебе бы надо было попробовать встретиться с Ботвинником... Ну, пей, ты увидишь, как помогает кофе.

Юзеф болтал без умолку, а карие глаза его были влажны и грустны. Сергей видел это, и ему стало неловко. Он попытался пошутить:

— Ты так хлопчешь... Из тебя бы вышел отличный кельнер.

— Да, да, — немедленно подхватил Юзеф. — Я всегда завидовал кельнерам. Это самый светский народ... Правда, вкусный кофе? Ты пей... Эти неприятности на работе. Иногда думаешь, что очень серьезно, а потом проходит.

Сергей понял его хитрость и сказал:

— У меня нет неприятностей на работе.

— А остальное ерунда, — тут же закивал головой Юзеф. — Самое паршивое, когда есть неприятности на работе. А женщины — это уже второе дело. Если есть неприятности из-за женщины, то это чепуха, потому что с женщинами бывают только одни неприятности. Тут ничего не сделаешь, Сергиуш. Я имел тысячу бед из-за этих женщин, а потом оказалось, что нет ни одной беды. Булка с сыром очень вкусная. В Москве умеют отлично печь булки. Ты должен обязательно кушать, Сергиуш.

— У меня нет неприятностей из-за женщин, — сказал Сергей. — Это Надя...

Юзеф вздрогнул, отвел взгляд и опустил свою чашку. Французы чему-то громко рассмеялись в своем углу. Сергей покосился на них и полез за папиросой. Юзеф достал сигарету, щелкнул зажигалкой, протянул ее через стол, чтобы дать прикурить Сергею, но не донес: ветер ворвался в окно, слизнул крохотный огонек.

Они сидели молча, недопитый кофе стыл на столе.

— Хочешь, я тебе что-то расскажу? — наконец сказал Юзеф. — У меня была жена... — Он опять помолчал, повертел сигарету, сдул с нее пепел. — Мы жили три месяца. Ее звали Ванда. Ты знаешь про восстание в Варшаве?.. Мы жили в то время. Когда фрицы шли на баррикаду, она была со мной... Ты знаешь, я видел, как шел этот проклятый танк. Но я ничего не мог поделать. У нас не было даже гранат... Так получилось... Вот как было. Но когда умирает один человек, жизнь еще не кончается, Сергиуш.

— Надя не умерла.

— Я понял... Но это одно и то же. И жизнь все

равно не кончается... У меня был друг, старый человек, коммунист. Он мне говорил: когда уходит от тебя любимый человек — это трагедия, но это не значит, что любовь умерла. Это он мне сказал после войны. Я тогда много пил, потому что у меня было горе. Но старый человек был прав. Любовь остается жить. Я это понял потом... Тут не надо много слов и таких красивых, тут надо все узнать самому...

Сигарета у него догорела, он ткнул ее в блюдечко. Над буфетной стойкой играло радио. За окном беспрестанно урчали моторы, и голос диктора то и дело объявлял о посадке. Французы встали и шумно пошли к выходу. Девушка-переводчица улыбалась им. Наверное, повезла показывать город.

А двое за столиком, где стояла шахматная доска, чашки с недопитым кофе, сидели и молчали. Оказывается, Юзеф тоже умел молчать. Он сидел напротив Сергея, и крепкие пальцы его, покрытые черными волосками, сжимали край стола. Наконец он вздохнул, прямо посмотрел Сергею в лицо и тихо сказал:

— Тебе, наверное, пора, Сергиуш.

— Да, мне, кажется, пора, — встрепенулся Сергей и встал.

— Я не буду тебя провожать, — сказал Юзеф. — Там много людей...

— Да, да, — ответил Сергей.

Тогда Юзеф взял его за плечи и прижал к себе:

— Попутного ветра тебе, Сергиуш.

— И тебе тоже. До видзенья, Юзеф, — сказал он, как говорил всегда, когда они прощались.

— До скорой встречи, Сергиуш... Ты не забыл свой блокнот? Мы должны доиграть партию.

Сергей кивнул ему и быстро, стараясь не оглядываться, побежал вниз по лестнице.

2

Внизу плыли лохматые, рваные облака, и сквозь них местами проглядывали бурые клочки земли, перерезанные ровными линиями дорог. Огромный шар

солнца скатился к облакам и задержался на них, опалив все вокруг резким желто-красным пламенем, дальние облака обуглились и почернели. Только вверху по-прежнему голубело. Этого не видно с земли, не видно и солнца, только расплывается в небе грязно-красное пятно — вестник наступающей тьмы. А тут солнце скоро провалится сквозь облака, и тогда загустеет воздух, заструится синий свет и начнут пробивать путь звезды.

Поблескивали зеленоватым фосфорическим блеском приборы на щитке. Стрелка радиоконуса застыла на нуле. Самолет шел строго по курсу. Руки Кирилла лежали на штурвале, и он чувствовал его ритмичную дрожь. Станным был этот полет. Все было в нем привычно и непривычно. Весь день ощущал Кирилл неловкость перед Сергеем. Он снова и снова вспоминал все с самого начала, вспоминал разговор с Надей, Голубевым, как шел от него глухой ночью, усталый, опустошенный, словно побывал в нелегкой переделке. «Поп», — вспоминал он, и от этого становилось обидно и тоскливо. Его раздражали слова Голубева, но он не мог спорить с ним, чувствуя в них правду.

Все, что делал он до этих дней, казалось ему выверенным, и он не задумывался: прав ли, виноват ли, — он просто был уверен, что так нужно, так должно быть. А сейчас что-то сломалось, рухнуло, и впервые за много лет зародились сомнения: так ли он живет? Но он все еще не мог связать все в единый узел и понять, почему так стало смутно. Одно лишь он ощущал точно: дело не только в Наде и Сергее, дело не только в Голубеве, а в чем-то гораздо большем, и пока не узнает он этого, не будет ему покоя. И еще тревожило его отсутствие тех незримых прочных связей, которые неизменно возникали всякий раз, когда он садился к штурвалу. Все было, как и всегда: Гоша сидел за спиной, и Кирилл слышал, как он, прижимая к горлу ларингофон, кричит: «Выхожу из вашей зоны, выхожу из вашей зоны... Понял...» Справа, положив на колени планшет и навигационную линейку, застыл Сергей. Это был экипаж Кирилла,

люди, с которыми он летает много времени, но сейчас необычайный холодок царил в кабине: тут были три разных человека, а не одно целое.

Кирилл не спускал глаз с приборов, предельно остро следя за каждым из них, будто самолету грозила беда, хотя небо было спокойным, облака расступились, открыв землю. Она казалась огромной чашей, на дне которой сгустилась тьма, а по краям багровеет яркая полоса. Зажигались огни в домах, поблескивали неясной голубизной озера, черными глыбами затаились леса, и все это медленно двигалось, словно кто-то неторопливо поворачивал чашу. А вверху все еще не наступила ночь, лишь отдельные торопливые звезды выкатились на синий чистый полог.

А за дюралюминиевой стенкой, в пассажирской кабине, в мягких уютных креслах дремали в тепле пассажиры, целиком доверившись тем трем, что вели самолет. Интересные люди — пассажиры. Торопливые и беспокойные на вокзалах, у касс, на перронах, они становятся покорными и молчаливыми, едва опускаются в свое кресло, преданно смотрят в глаза пилота, идущего по проходу, и на лицах их неизменно появляется что-то детское, наивно умильное.

И все же они все разные, совсем разные. Вот сидит на переднем кресле полный человек в морском кителе, сидит плотно, откинув на подушку тяжелую голову. Он резок лицом, хмур и задумчив; рядом с ним девушка в белом свитере, уютно подогнув ноги, дремлет, а светлые ресницы трепетно вздрагивают. За ними усталый человек с пыльными усиками, он держит на коленях портфель. Двое парней в одинаковых серых пиджаках, а за ними еще и еще люди. Двадцать четыре совсем разных человека, вместе летящих к своим делам, семьям, друзьям и недругам, матерям, сестрам, братьям — ко всему, чем живут люди на земле.

Исчезла внизу багряная полоса, облака опять сошлись, темно-серой пеленой прикрыли землю, и вверху дружно высыпал звездный рой. Впереди за стеклом ярко-белым накалом горел льдистый Сириус.

Кирилл подумал о том, что вот сейчас они прилетят в свой порт, и для Сергея все начнется сначала. Нельзя, конечно, оставлять его одного. Он склонился к нему, сказал:

— Прилетим, пойдем ночевать к нам, Сережа. — Но тут же пожалел о сказанном: «Надо бы на земле... Да это и так понятно».

Сергей же откинулся на ручку кресла, покорно ответил:

— Хорошо... Дай-ка папироску.

Кириллу не понравилась эта полная покорность. Так бывает, когда человеку все становится безразличным. Но Кирилл ничего не сказал больше, протянул руку, нащупал пачку «Беломора», которая всегда лежала на планке абонентского аппарата.

Сергей нехотя закурил. Кириллу тяжело было видеть его таким, и, чтоб хоть как-то развеять эту хмури, он сказал:

— Ты не думай об этом... Все уладится.

Сергей посмотрел на него внимательно и покачал головой.

— Поздно, Кирилл.

— Что поздно?

— Говоришь ты мне об этом... Ты же знал раньше и молчал.

У Кирилла перехватило дыхание. Он не ожидал, что Сергей попрекнет его.

— Я не мог. Мне надо было самому понять.

— Ну что ж, — вздохнул Сергей, — раньше мы ничего не скрывали друг от друга.

— Это не так, Сережа. Я должен был понять.

И в это время он услышал за спиной неожиданно резкий голос Гоши.

— Это так, командир. Ты же сам учил нас.... Эх, ты!

Его вывел из себя этот Гошкин выкрик.

— Сядь на место! — строго приказал он. — Ты в воздухе.

— Есть, командир! — подчеркнуто громко ответил Гоша.

Кирилл еще раз пожалел, что затеял сейчас раз-

говор. Не надо было этого делать. И в то же время он чувствовал, как все ускользает из его рук, и ему хотелось вновь собрать вместе то, что он привык называть экипажем. Он сказал:

— Мы никогда так не летали... В воздухе так нельзя. Разберемся на земле.

— Чего уж там разбираться... — вяло ответил Сергей.

— Ты что, перестал верить мне? — Кириллу не легко было это спросить. И голос у него прозвучал надтреснуто, грубо.

Сергей ничего не ответил. И тут Кирилл опять услышал за спиной Гошин выкрик:

— Мы все перестали верить тебе!

Он опять оборвал его:

— Держи связь, Сошин.

— Есть, командир!

Надо взять себя в руки. Хватит этих разговоров. Он по опыту знал, что когда пилот захандрил, то лучше всего заставить его напряженно работать. Тут — хочешь не хочешь — слетает вся хмурь. Штурвал заставляет быть напряженным. Он видел, как и Сергей, когда летели из порта, вдруг стал другим, весь отдавшись работе. И он сказал Сергею, стараясь быть спокойным:

— Бери управление, пройду к пассажирам.

— Есть! — ответил Сергей.

Он знал, что в случае беды всегда успеет оказаться рядом с Сергеем, и попытался встать...

Все произошло почти одновременно. Кирилл увидел, как на манометре и термометре масла прыгнули кверху стрелки, злым красным светом зажглось табло, замигали зеленые лампочки, взвыла надорванным хриплым голосом сирена. Обеими руками ухватился за штурвал, но тут же понял, что делает не то... На какую-то секунду почувствовал боль в пальцах, но сейчас же забыл об этом. Повернул голову влево, взглянул за боковое стекло. По крылу скользнуло, словно измятая ярко-красная тряпка, пламя и исчезло в ночи, и сразу же на смену ему забился над гондой, воюя со встречным ветром, жадно цепляясь за

металл, огонь. Он то становился совершенно плоским, то вырывался тонкими стеблями вверх и распадался тут же на множество мелких брызг. Рвущийся свет падал на стекло, окрашивая его в рыжий цвет, и через какой-то миг снова уступал место синеве. Мысль заработала четко: «Левый двигатель... прогар поршня. Справлюсь сам... Сергея — в кабину, там люди...» И, не успев додумать, крикнул:

— К пассажирам!

Все заглушал хриплый голос сирены.

— Выключи!

Кирилл не думал, слышит ли его Сергей, лишь краем глаза увидел, как тот перевалился через сиденье к задней стенке, где был выключатель сирены. Сразу наступила тишина. Билось за стеклом пламя на крыле. И уже больше ничего не существовало для Кирилла, кроме самолета. Все напряглось в нем до предела, метнулся перед глазами и тотчас исчез яркий белый Сириус...

Сергей понял все сразу и в первые секунды делал все механически, подчинившись воле Кирилла. Распахнул дверь в пассажирскую кабину и тогда лишь по-настоящему почувствовал, что предстоит ему. Люди молча, приподнявшись со своих мест, смотрели на левые окна. Только человек в потертом кителе пятился и пятился по проходу, но на него никто не обращал внимания.

— Сидеть всем! — крикнул Сергей.

Некоторые инстинктивно опустили в кресла, а иные так и остались стоять, глядя на него остекленевшими глазами. А человек в кителе, скосив лицо, все пятился к хвосту самолета. Было в этом молчании что-то угрожающее и жесткое. Сергей понял, что окрик его прозвучал слишком высоко и нервно.

— Сидеть всем! — повторил он как можно спокойней и властей.

— А-а-а! — вдруг надрывно завопил человек в кителе и, сорвавшись с места, кинулся к входному люку. Он наткнулся на большой желтый чемодан, не-

ловко поставленный у буфета, перелетел через него и проворно, несмотря на грузность свою, прыгнул к люку. Рука его скользнула по обшивке, пытаясь нащупать ручку. Сергей увидел, как отвалилась у него тяжелая челюсть и часто задрожал подбородок. В несколько прыжков Сергей очутился возле люка, схватил человека за руку.

Но тот уже ничего не понимал, с каким-то отчаянным упорством тянулся к дверной ручке. Сергей навалился на него. Но человек был сильнее, взбрыкнул ногой. Сергей полетел к буфету, стукнулся головой, но, не замечая боли, тотчас вскочил.

— Помогите же! — рванулся женский голос.

Двое парней кинулись на помощь, оттащили человека от люка, усадили в кресло. Он откинулся на спинку и вдруг беспомощно заплакал глухим, похожим на кашель плачем. Крупные слезы текли по его багровым щекам.

— Как вам не стыдно!

Сергей оглянулся, увидел девушку в белом свитере: она стояла вся напружинившаяся, бледная, широко открыв глаза. Он хотел ей сказать, чтобы она немедленно села, но в это время самолет накренило, и он стремительно, словно потеряв опору, заскользил на крыло. Сергей не удержался на ногах, упал на человека в потертом кителе, успев увидеть в окно, как пламя оторвалось от крыла, собралось в тугой ком и рассыпалось на тысячу звезд...

Через набухшие от влаги и льдистого крошева облака, через густую мглу пролегла незримая тропа короткой волны, на которой звучал голос Гоши: «Пожар в левом двигателе... высота две тысячи метров... курс триста двадцать». Он был сух и скуп, этот голос, летящий с неимоверной скоростью в пространстве, он заставил колебаться мембраны в наушниках радиста и в наушниках дежурных диспетчеров порта. И навстречу этому голосу из ночи полетели другие слова, такие же деловые и скупые: «Доложите, какая нужна помощь, доложите...» Гоша докладывал, он знал, что сейчас рука диспетчера аккуратно заносит в журнал каждое его слово, он знал и то, что тот же

диспетчер, сидящий на земле, ничем не может помочь им, но все же вопрос, прозвучавший в наушниках, не был простым ободрением. Там, на земле, работали люди, которые сейчас, включив приборы, следили за каждым их пролетом...

Безграничен, беспределен воздушный океан, и в черной его пучине нелегко терпящему бедствие кораблю. Нем и глух Млечный Путь, с холодным равнодушием смотрит он на крохотную точку, сверкающую бортовыми огнями, а звезды, друзья-звезды, по которым когда-то отыскивали дорогу воздухоплаватели и авиаторы, звезды, к которым не раз в минуты душевных тревог и в минуты радостей обращались пилоты всего мира, молчаливы и безразличны. С них не долетит ни сигнал о спасении, ни отзвук беспокойства сердец. Миллионы невидимых дорог пролегли в воздушном океане, и корабли, летящие по ним, перехватив на борту сигнал бедствия, включались на короткую волну, напряженно следя за каждым ударом ключа. Они не могли прийти на помощь, как бывает это на земле, в бушующих морях. И все же те трое, которым доверен корабль, не были одинокими. Есть у пилотов своя связь, связь сердец, и она особенно остра в минуты бедствий...

В другой стороне океана в этот час плыл большой тяжелый самолет. Небо было здесь чистым и ласковым. Месяц с кривой усмешкой хитровато посматривал за боковым стеклом, и было видно, как в конце крыла тлеет красный бортовой огонек, будто самолет подхватил на лету искру от закатного пламени да так и понес ее в ночь. Внизу в голубоватом свечении разворачивалась земля, и можно было различить холмы, балки, даже отдельные деревья.

Человек в красном толстом свитере сидел у штурвала, уперев длинные ноги в педали. Он зажал в губах сигарету и смотрел на огни далекого города, открывшиеся на горизонте.

Штурман положил ему руку на плечо.

— Ты что-то грустный сегодня, Юзеф, — сказал штурман по-польски.

— Немного да, — ответил Юзеф.

— Стоит ли грустить в такой вечер?

— О пан, иногда бывает грустно, когда летишь домой и знаешь, что женские руки не поставят тебе на стол чашку кофе.

— Если только за этим дело, то в Варшаве не так уж мало хорошеньких девушек.

— Сегодня не надо шутить, пан. Я ведь думаю не о себе.

Штурман похлопал его по плечу и, ничего не сказав, отошел. А зеленоватый месяц насмешливо поглядывал за окном...

И на земле тоже беспокойно бились сердца. В том городе, куда пробивался сквозь хмурую, промозглую наволочь самолет с пламенем на крыле, шел мелкий, колючий дождь и на асфальте расплывались зеленые, красные, синие огни неоновых реклам. Стайка девчат, шагая прямо через лужи, шла, тесно прижавшись друг к другу. Девчата весело стрекотали о боевом листке, который выпустили в чулочном цехе, о новых юбках, которые неудобно носить, потому что они очень узки, о фильме, который идут они смотреть. Зина шла с ними рядом и все поглядывала в небо, тяжелое, затаенное, морозящее дождем. Остановились у кинотеатра. Полыхала множеством ламп реклама, на которой обнимал женщину смуглый красивый человек.

— Так ты серьезно, Зинка? — спросила одна из девчат.

— Нет, нет... продавайте билет. Я не пойду.

— Ну, смотри...

Девушка взбежала на лестницу, крикнула:

— Кому билетик лишний?

К ней сразу же потянулось несколько рук. Зина посмотрела, как исчезла желтая бумажка в чужих ладонях, вздохнула и пошла дальше. Она шла и слушала, не гудит ли в небе самолет. Так она дошла до своей калитки, постояла и круто повернула... «Вот поеду сейчас в порт и встречу. Вот поеду и встречу... А что ж такого? Господи, неужели так всегда будет страшно, когда он летает?..»

А в порту, в вокзальном буфете, Маша поставила

на тарелку два стакана с крепким чаем, накрыла их салфеткой. Только что звонил командир, просил принести ему чаю. Он всегда в это время, если засиживался долго в порту, звонил и повторял одно и то же:

— Машенька, два стакана самого крепкого.

Маша вышла из буфета, осторожно неся тарелку, и стала подниматься по лестнице на второй этаж. Она миновала диспетчерскую, прошла по коридору, устланному мягкой дорожкой, и увидела, что, прислонившись к стене, запрокинув голову, стоит Надя и смотрит в упор большими темными глазами. У Маши захолонуло сердце, звякнули на тарелке стаканы.

— Что ты? — спросила она Надю почему-то шепотом.

— У них пожар там... на самолете, — сказала Надя и прижала обе руки к груди, словно защищаясь от чего-то.

В это время хлопнула дверь, и в коридор, опираясь на палку, вышел командир Смирнов. Маша потянулась к нему, все еще держа тарелку со стаканами. Командир не понял, отстранил ее руку:

— Потом, Маша, потом...

И прошел к диспетчерской. Надя все стояла, прижимая руки к груди, закусив подкрашенную губу. И тут Маша сорвалась с места, расплескивая чай, кинулась вниз по лестнице к выходу.

— О-о! У-у-у! — закричала она безотчетно, не понимая того, что делает, только чувствуя страшную боль в сердце, внезапно навалившуюся на нее. — О-о! У-у-у! — кричала она и выбежала под дождь, к перрону, и там, ослепленная светом прожектора, остановилась, вцепившись пальцами в железную решетку, замерла, ожидая и слепо глядя вверх.

...Кирилл выровнял самолет, когда увидел, что пламя сбито скольжением на крыло, и включил огнетушители. Теперь работал один правый двигатель. В кабине стоял полумрак, светились лишь приборы да боковые лампы. Гоша, ссутулившись, сидел у радиостанции. Густая, вязкая мгла окружала самолет, в ней не было никакого просвета.

При тусклом свете лицо Кирилла казалось запо-

рошенным серым пеплом. На лбу выступили капли пота. Руки отяжелели, будто на них навесили огромные гири, ломило спину от напряжения.

Гоша подал клочок бумаги. Порт передал погоду. Кирилл взглянул на мелко выписанные цифры. Погода была почти такой же, как днем, когда они вылетели, только приутих ветер и над аэродромом моросил дождь. Выбирать не приходилось. Делать вынужденную посадку нельзя. Внизу холмы и леса. В этой темноте можно напороться на черт знает что. А на борту двадцать четыре пассажира... Надо обязательно дотянуть до порта, там можно садиться даже вслепую. Лишь бы не потерять скорость... Все дело в этой проклятой наволочи. Даже к вечеру не упала температура, по-прежнему пять-шесть градусов ниже нуля и влажность... Значит, опять будет лед. Теперь — один двигатель... Главное, не потерять скорость. Эта машина при ста двадцати километрах в час начинает уходить в пике.

Кирилл увидел, как вошел Сергей и сел на свое место. Значит, в пассажирской кабине все в порядке. Теперь их двое. Будет немного легче. Глаза смотрели на зеленоватые стрелки приборов, ни одной не упуская из поля зрения. Он весь отдался сейчас этому напряженному вниманию. Вокруг не было больше пустоты, как днем. Теперь и Гоша и Сергей, подчиняясь его воле, были накрепко связаны с ним, и он ощущал любое их движение...

Когда Сергей откинул навигационную линейку, Кирилл понял: пора. Гоша поднялся, встал за спиной. Надо было начинать снижение. Кирилл повернул штурвал, самолет накренило. Стрелка высотомера поползла вниз. «Главное — скорость, главное — скорость», — механически повторял про себя Кирилл. Правый двигатель работал напряженно, он дышал хоть и ровно, но тяжело, как человек, несущий в гору нелегкий груз. И это было и его, Кирилла, дыхание...

Лед садился на крылья, он стремительно лип к ним, все больше и больше отягощая их. В этих облаках каждая снежинка тащит за собой тысячи дру-



гих, они лезут на крылья, как крысы на плот после кораблекрушения. Секунды отсчитывали скорость. Сто восемьдесят... Сто семьдесят... Сто шестьдесят...

Гоша стоял за спиной, не спуская глаз с потолка, где был закреплен щиток управления радиокompаса. Руки Сергея лежали на центральном пульте. Теперь эти трое были одним целым, как пальцы сжатого кулака, чувствуя друг друга каждой нервной клеточкой.

Невидимая земля летела навстречу. Скорость сто сорок пять... На одно мгновение Кирилл почувствовал, что самолет потерял опору, дрогнула стрелка радиокompаса, руки сжали штурвал, самолет качнуло, но тут же напряженно взвыл двигатель... Это Сергей в какую-то долю секунды добавил газу. И опять плотная масса сжалась под крыльями.

Звякнул над головой сигнальный звонок.

— Пролет! — крикнул Гоша.

Земля совсем близко.

— Шасси, — отрывисто сказал Кирилл и тут же почувствовал глухой толчок под брюхом самолета. Теперь — посадка...

И в это время как бы раскрылась тьма и двумя яркими строчками красных ламп высветилась внизу посадочная площадка. Самолет шел прямо на нее. Раскаленными углями летели навстречу сигнальные огни, клубился свет прожекторов, и в какой-то миг Кирилл увидел в дымном мареве у железного барьера человека без фуражки, беловолосого, ссутулившегося, и рядом с ним худенькую женщину, вцепившуюся руками в решетку...

3

Командир Смирнов не сразу принял это решение. Он долго размышлял над ним, как привык размышлять всегда, когда дело касалось риска. А то, что он задумал, было рискованным...

Много лет служил Смирнов в гражданской авиации. Подразделение, которым он командовал, было совсем еще недавно маленьким, и со стартового поля поднимались в небо издававшие виды самолеты. Их было тогда мало, очень мало, этих трудяг, что возили грузы, почту, пассажиров в разные концы страны. Они с каждым годом пробивали в воздушном океане все новые и новые трассы. Смирнов всегда верил, что будет время, когда самолет станет таким же обычным, как автомобиль и паровоз. На это ушла его жизнь. Он ничего не сделал в ней особенного: не придумал никаких новых конструкций, не изобрел новых методов навигации и пилотирования. Он был лишь исполнителем огромного, грандиозного плана освоения воздуха, и в этой исполнительской работе была своя необычность, которой он немало дорожил.

Близкие ему люди знали, как иногда ночами он поднимается с постели, едет в порт, неторопливо обходит службы, потом идет на посадочную площадку и там подолгу стоит один, глядя в ночное небо. Думает ли он о чем в такие минуты, мечтает ли, никому

не ведомо. Только давно уже заметили, что после ночных заездов командир бывает весел и бодр. Кто-то из летчиков даже пустил слух, будто Смирнов сочиняет стихи. Над этим посмеялись, но мало кто верил: уж очень не вязался его деловой, строгий характер с эдаким мальчишеским занятием. Все же были люди, которые восприняли шутку всерьез. И Кирилл не удивился бы, если б командир показал ему тетрадку своих стихов. Смирнов умел говорить о самолетах, привык связывать с ними все, что видел, чувствовал. Кирилл слышал, как однажды полушутя Смирнов сказал своему заместителю:

— Феодализм породил телегу и карету, капитализм — автомобиль, а социализм дал нам самолет. Подумай над этим...

И когда заместитель, улыбнувшись, ответил: «Загибаешь, командир», — тот вдруг посерьезнел и даже как будто обиделся, сказал:

— А ты все-таки подумай.

Кирилл всегда с уважением относился к людям, которые не хотели разбрасываться и подчиняли себя одному. Не всем это нравилось. Таких людей иногда почему-то называли ограниченными, односторонними. Но Кирилл думал по-другому: лучше подчинить себя всего без остатка одному, чем расползтись в разные стороны. Не у каждого ведь хватает сил сразу на многое.

Видимо, из-за этой вот собранности и еще потому, что командир не мог простить даже малейшую небрежность в самолете, как знак неуважения к машине, его и побаивались летчики в порту. Но в то же время они знали, что он бывал к ним иногда слишком добр, как вообще был добр к людям, потому что всю жизнь только тем и занимался, что старался помочь им быстрее попасть туда, куда им было нужно, вовремя доставить им врача или почту.

Старые пилоты знали, как много он сделал, чтобы их совсем небольшой порт, который на картах метили раньше как обычную посадочную площадку, стал таким обширным, протянув линии в разные стороны света...

Такой был командир Смирнов. Он созвал на разбор аварии всех: синоптиков, диспетчеров, свободных от полетов командиров кораблей. Тут важно было не только установить истину, но и заставить подумать: как будет завтра? Он сидел за своим письменным столом, катал по стеклу толстый граненый карандаш и слушал, склонив крупную, совершенно белую голову, о чем говорили инженеры и техники, какие приводили расчеты, как дотошно копались в каждой мелочи. Они успели облазить весь самолет вдоль и поперек, осмотрели двигатель.

Смирнов знал наперед, что они скажут. Вот выступает главный инженер.

— ...таким образом, — монотонно говорит он, — и манометр «2 ЭДМУ-10» и термометр «2 ТУЭ-111» должны были показать отклонение давления и температуры масла...

Инженер очень хорошо знал машины, он знал в них все до каждой мельчайшей детали, никогда не делал предположений, говорил наверняка, все проверив и рассчитав. Смирнов знал, что, делая выводы, инженер не пощадит и техников, которые готовили самолет в рейс, знал, что он сделает основной упор на то, что второй пилот Сергей Евсеев не обнаружил отклонений стрелок на манометре и термометре, а в порту назначения не проверил с механиками двигателя. Все это было верно, и против этого ничего нельзя было возразить. Авария есть авария, и без виновных она не бывает.

Но не об этом думал командир Смирнов на разборе. Он катал ладонью по стеклу толстый граненый карандаш и время от времени поглядывал на троих, что сидели вместе по ту сторону стола. Кирилл Гудов положил руки на колени, его лобастое лицо с плотными, резкими губами и прямым крупным носом было нахмурено. Сергей же сидел расслабившись, откинувшись на спинку стула, его взъерошенные волосы растрепанной мочалкой падали на лоб. Гоша весь подался вперед, не спускал глаз с говоривших и все время то приоткрывал, то сжимал припухлые губы,

Вот этот экипаж, думал Смирнов. Маленькое звено в большом хозяйстве порта... Маленькое ли? Эти ребята были особенно дороги ему. Они первыми решили летать без бортмеханика. Не сам придумал такое дело командир Смирнов, но сколько нужно было поломать голову, чтобы начать это? Все экипажи летали раньше с бортмеханиками. Это было законом. Механик знал машину, он отвечал за нее в полете...

Как все это началось?.. Не хватало людей. Приходили все новые и новые самолеты. Сразу, в один год прибыло столько новых самолетов — за все восемь лет после войны они получили в полтора раза меньше. Потом появились реактивные, мощные лайнеры. Надо было посылать людей учиться водить эти быстроходные громадины. Раньше были летчики, но не хватало самолетов. Теперь стало много самолетов и не хватает летчиков. Где сразу взять столько подготовленных людей? Время требовало, чтобы было много гражданских самолетов, время шло стремительное, оно должно было летать со скоростью звука и даже быстрее. Вот тогда сказали в управлении:

— А не должны ли знать машину командир корабля и второй пилот так же, как механик?

— Да, должны. И хорошие пилоты знают ее.

— Тогда зачем же в экипаже бортмеханик?

Командир Смирнов долго думал над этим. Это было нелегкое дело — добавить такую нагрузку пилотам. Инженер выступал против. Он и сейчас не примирился и все время говорит, что сделали ошибку. Теперь у него есть факт.

Да, эти трое ребят первыми начали летать без механика, и неплохо летали. И вот авария... Смирнов знал в своей работе такие аварии, когда прогорал поршень двигателя и начинался пожар. Но это было давно. В последнее время в порту вообще не было никаких аварий. Правда, самолет, на котором летали эти ребята, был стареньким, в будущую навигацию его собирались списать. Но все-таки...

То, что инженер пытается доказать, будто слишком рано сняли с корабля бортмеханика, можно не принимать в расчет. Экипаж отлично справлялся

раньше, инженер просто боится. Все-таки они отлично посадили самолет. Гудов — молодец, великолепный пилот.

Но что же главное, что?.. Легче всего, конечно, обвинить во всем Сергея Евсеева. Формально самая большая вина его. И тут никуда не денешься. Но все куда серьезней. Дело прежде всего в том, что люди, которые сидели в кабине управления, на какое-то время перестали быть тем, что Смирнов привык называть экипажем. Летели просто три человека. Что-то случилось с ребятами, и они перестали понимать друг друга. Смирнов знал, что могло случиться. Он ведь предупреждал Кирилла, и ему показалось, что тот понял его. А если Гудов не понял? Да и он, Смирнов, виноват в этой аварии не меньше, чем остальные. Нельзя доверять человеку людские жизни, если у него самого неспокойно на душе. Он пытался внушить эту мысль всем, кто работал с ним. Это вовсе не значит, что пилота надо оберегать, как кисейную барышню. Но экипаж должен быть экипажем. В воздухе трое — одно. Да, Смирнов поверил Гудову и не стал вмешиваться больше. Ему показалось достаточным того разговора на перроне. Но почему он должен был не верить Кириллу? Он всегда ему верил...

Тут Смирнов вспомнил о Голубеве. Как ни странно, но и этот человек тоже причастен к аварии. Смирнову всегда нравился Голубев. Он прибыл к ним с Севера, знал много машин. Нравилось Смирнову и то, что Голубеву всегда чего-то не хватало. Когда в порту появились вертолеты, он попросился на учебу. Ему очень хотелось узнать эту машину, и летать на ней он научился быстро и хорошо. Голубев... И тут Смирнову пришла мысль. Она еще не оформилась как следует, но уже начала тревожить его. Надо было обдумать, сейчас же все обдумать...

Весь разбор он слушал молча, никого не перебивая. И люди удивились, когда он встал, не сделав заключения. Но он не торопился. Мысль, возникающая у него, требовала еще проверки.

Он не спеша обошел службы, вышел на взлетное

поле, где любил стоять один, глядя, как отрываются от земли самолеты. Небо густело, в нем шло борение: облака надвигались друг на друга, тугие, смуглые, сердитые. Ветер дул южный, насыщенный запахами туманов, морской соли, мокрой земли. За такими ветрами всегда тянутся полосы дождей, потому так беспокойно снуют облака.

Смирнов вспомнил, как выступали на разборе синоптики, диспетчеры, пилоты. Его удивил мальчишка, Гошка-радист. Этот сухарь инженер выдавил из себя нелепую фразу: «Мы не обязаны». А парень нашелся, ответил: «Мы все друг другу обязаны, и чем больше, тем лучше». Хорошо сказал: «Чем больше, тем лучше...»

Смирнов опять посмотрел в небо, хотел еще раз обдумать пришедшую ему на разборе мысль и тут понял, что все уже окончательно решил и не стоит передумывать. Так надо...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«...Мы как-то спорили с Сергеем: что такое товарищ? Он сказал:

— Это человек, который всегда с коллективом.

— А вы откуда все это знаете?

А я ему ответил, что бывает такой коллектив, где совсем нет товарищества, и вовсе не обязательно быть вместе с ним. Он тогда сказал, что у меня в голове путаница. Но так не спорят, это не по правилам. И я вспомнил одну историю. Сергей, конечно, тоже знает ее...

Все летчики в профилактории шумели о ней. (Между прочим, я не знаю, кто это придумал называть гостиницу для летчиков профилакторием. Это совсем неподходящее слово.) Да, так вот: куда ни пойдешь — в столовую, комнату отдыха, в спальню, — везде только и разговоров о втором пилоте — Сеньке из одесского экипажа. Мне-то он не очень нравился: шумливый, без конца сыпал анекдотами.

Правда, многие ребята любили его послушать, когда было свободное время.

А тут одесситы прилетели без Сеньки. К ним сразу же подступили с расспросами: где он да что он? Все-таки с ним веселей в профилактории: хоть выдаст несколько новых анекдотов. Тогда одесситы рассказали. В городе была денежно-вещевая лотерея. Они всем экипажем купили билеты, понаписали на них свои имена, а потом кто-то предложил:

— К черту индивидуализм! Давайте соберем все билеты до кучи. Что выиграем, все делим поровну. Так и решили. Кассиром сделали Сеньку.

Пришла таблица, а Сенька заболел, и ребята не могли проверить билеты. В это время журналисты с ног сбились: кто-то выиграл дом. А кто? Счастливцев не предъявил билета. Журналисты хотели упомянуть о нем в газете. Вот тогда и началась эта история...

Ребята из одесского экипажа показывали нам газеты. В большой статье было написано, что Сенька — плохой товарищ, не сдержал своего слова, и хоть на билете, который выиграл, стояло его имя, все же он нарушил уговор и отказался поделить поровну деньги, которые нужно было получить вместо дома. Мы все читали эту газету и ругали Сеньку.

Кириллу же не понравилась эта история. Он сказал, что она слишком шумная. Кроме того, он хоть тоже недолюбливал Сеньку, знал его еще на войне и рассказывал, что тот был хорошим истребителем и никогда не подводил товарищей. Конечно, если позарился на деньги, наплевал на дружбу, такое не прощают, но...

Прошел месяц, и мы встретили Сеньку в том же профилактории. Правда, прилетел он с другим экипажем. Был хмур, зол, неразговорчив. Впрочем, если бы он начал рассказывать свои анекдоты, его все равно никто бы не стал слушать. А Кирилл все-таки пошел к нему и все расспросил. И вот что оказалось. У Сеньки трое детей и больная жена. Он давно записан в очередь на квартиру, но еще не получил ее, живет в одной комнате. Когда его билет выиграл, он при-

шел к ребятам и сказал, что хочет оставить этот дом у себя, а потом заработает денег и отдаст товарищам их долю. Но ребята не поверили ему, стали кричать, что он зажиливает билет. В это время подросли журналисты. Ребята, обозлившись, рассказали им все, и появилась статья. Журналисты не были виноваты. Они не знали, как все было на самом деле. Сенька вернул билет, отказался от своей доли, ушел в другой экипаж. Об этом в газете, конечно, ничего не написали.

Кирилл знал, что Сенька рассказал сущую правду. У летчиков свой телеграф, и вскоре об этом узнали по всем трассам. Мы недавно видели этого одесского парня. Он по-прежнему любит рассказывать анекдоты...

Вот, пожалуйста, история. Ведь если бы все поверили одесситам, то Сенька бы, пожалуй, совсем погиб. А чтоб погиб человек, этого никак нельзя допустить...»

1

Когда Кирилл увидел в наряде фамилию Голубева, то сначала подумал, что тут какая-то нелепая ошибка. В диспетчерской ему разъяснили, что таков приказ командира: Голубев летит с ним вторым пилотом в Ленинград. Евсеев временно от полетов отстранен. Кирилл, конечно, мог бы спорить: приказ был грубейшим нарушением установленных инструкций и правил — снять человека с вертолета и посадить за штурвал «ИЛ-14». Правда, Голубев опытный летчик, полетал на многих машинах, знает, конечно, и этот самолет, но правила есть правила. Спорить все же Кирилл не стал. Приказ был подписан Смирновым, а если старик подписал, то говорить с ним бесполезно.

С того памятного Кириллу вечера он больше не видел Голубева и сейчас, направляясь к штурманской, думал, что встреча будет трудной, неприятной. Наверное, и Голубеву не очень-то хочется видеть его после всего того, что случилось, да еще лететь вместо Сергея,

Голубев поджидал его у дверей. Все на нем, как всегда, было ладно подогнано: темно-синий из дорогого материала форменный китель, белая рубашка, черный галстук. От него пахло свежим бельем и хорошим мылом. Голубев протянул руку, сказал:

— Я готов, командир.

Кирилл молча кивнул, пошел было вперед, тогда Голубев остановил его, насупил густые брови, почему-то взял за пуговицу кителя, глуховато сказал:

— Вот что, командир, давай так: что хочешь думай обо мне — твое дело. На земле как на земле, а в воздухе как в воздухе. Людей повезем.

Сказал это Голубев негромко, запросто, как говорят о самых обыденных вещах, и это понравилось Кириллу.

— Хорошо, — сказал он. — В воздухе как в воздухе... Давай-ка в самолет, выруливать пора.

Небо было тихим, неторопливо шли в нем кучевые облака, словно нежась под последним теплом неяркого солнца. Оно горело где-то вверху справа и, невидимое из кабины, задило все вокруг неброским прозрачным светом, и потому даль впереди была так отчетливо видна. Обугленные свежим черноземом поля зяби мешались с зелеными квадратами веселой озими; застыли деревья, вскинув обнаженные ветви, побуревшие на ветру; льдистой голубизной отливала вода в озерах, и торопко бежали по серым жилам дорог автомашины. Только не видно было сверху людей. Они терялись где-то среди этих полей, рощ, холмов, прятались под цветными крышами домов, и лишь когда попристальней взглядишься, можешь узнать их в крохотных, едва приметных точках. Люди... Вот разворачивается под крылом самолета земля. Они вспахали ее, посадили деревья, построили дома и города, сделали всю своей, обжитой. Но какие они разные, эти люди, какие порой бывают непонятные и сложные, как нелегко разобраться в них...

Кирилл включил автопилот, сидел, курил, откинувшись на спинку кресла. Что-то произошло в его жизни, и он не мог понять, что именно. Дело, конечно, вовсе не в этой аварии, просто все так совпало.

Говорят же, что одна беда тянет другую... Может быть, слишком был уверен в самом себе, в своих рабствах?..

Кирилл покосился вправо, где сидел Голубев, увидел его смуглую жесткую щеку, и опять вспомнилось обидное «поп». Нет уж, ничего поповского в жизни его не было. Он просто хотел, чтобы людям, которые жили рядом, всегда было хорошо, и не любил кичливого самодовольства, даже тени его. Вот и Вася Голубев оттолкнул его на первых порах тем, что он почувствовал в нем какую-то претензию на исключительность: мол, полетал в Антарктике, повидал такого, что и не снилось вам, а теперь поплеываю на вас. А в тот вечер Вася повернулся иной стороной... «Поп». Эх, ты!

А может быть, уж очень все хорошо было у них в последнее время: они летали, возвращались домой, спорили, играли в шахматы, смотрели у Гоши телевизор. Тихий мир благополучия стал окружать их, все сужаясь и сужаясь, и они сами не заметили, как начали трескаться стены этого мирка. А когда пришла беда, он отступил, заробел, ожидая, что, может, пронесет ее стороной. Гоша и тот встрепнулся, забеспокоился. Гоша стал другим, выпестовался из мальчишки. «Мы все друг другу должны быть обязаны...» Это он сказал на разборе. Инженер так и не сумел ничего ответить. Люди становятся иными. А он, Кирилл, не замечает этого. Странно, прожил тридцать семь лет, а все, как мальчишка, думает: как же надо жить на свете? И удивляется, что вокруг так много неожиданного. Странно все это. Пора бы уж остепениться... Слово-то какое противное — «остепениться»...

Голубев работал молча. Нет, он не забыл машины и делал все точно, ловко, угадывая каждое движение Кирилла. Спокойная уверенность была во всей его фигуре, он снял китель, сидел в белой рубашке, призмистый, крепкий, и Кирилл невольно проникался к нему уважением. За весь полет он не сказал ничего, кроме обычных слов команды.

К Ленинграду подходили, когда смеркалось. Здесь

уже лежал снег, и серые тени ползли по нему, переkreшиваясь, накапливаясь в балках и оврагах. Впереди, в сумеречной синеве, полыхало огромное зарево городских огней, оно с каждой секундой распадалось на отдельные костры, и вот уже стали видны точки прожекторов и тысячи мелких мигающих искр. Кирилл повел самолет на посадку.

В порту, сдав документы в диспетчерскую, они направились в профилакторий. По расписанию улетали на рассвете. Им отвели комнату на троих, теплую, всю белую. Кириллу всегда нравилось это большое общежитие летчиков, где собирались ребята со всех концов страны, среди которых было немало знакомых. Но сейчас ему ни с кем не хотелось встречаться. Он посмотрел, как Гоша деловито сунул свой походный чемоданчик под койку, повесил в шкаф плащ и, взяв полотенце, ни на кого не глядя, пошел умываться. Голубев, насвистывая, причесывался у зеркала. «Поеду-ка в город», — внезапно решил Кирилл и тут же, больше ни о чем не думая, вышел из комнаты.

От порта до города было не так уж близко. Полу-пустой автобус торопливо бежал по улицам. Они, казалось, становились все более тесными, стайки автомашин сливались в большой единый поток, по стеклам пробегали красные, зеленые, голубые всполохи. Сколько раз прилетал в этот порт Кирилл и почти никогда не бывал в городе, и теперь он сам не знал, для чего едет туда. Просто хотелось побыть одному, уйти от веселой суеты в профилактории.

Автобус остановился, скрипнув тормозами, на конечной остановке, у Гостиного двора. Шел ленивый мягкий снег, неторопливо кружась в свете фонарей, оседал на шапках и пальто прохожих, летел под колеса машин, таял на асфальте; змеился на рекламках неон, над центральным гастрономом весело горело большое красное «К» Театра комедии. Уныло, скрываясь в полутьме, затаилась думская башня. Густая толпа валила по Невскому. Мимо бесконечно мелькали лица, смеялись, хмурились, шурились, гримасничали, радовались. От этого мелькания начинала кру-

житься голова. Кирилл медленно побрел навстречу потоку. Его толкали, извинялись, беззлочно поругивали, и среди этой огромной толпы ему было одиноко и смутно.

Остановился на углу. Огляделся. Тесно прижавшись друг к другу, стояли в ряд дома, манили цветными глазницами окон. Там, за этими окнами, едят, пьют, слушают радио, смотрят телевизионные передачи, спорят, читают, работают. Неподалеку, у фонарного столба, теснилась группа девчат с портфельчиками.

Кирилл переступил с ноги на ногу, вынул папиросу. Все показалось ему чужим, далеким. И вдруг очень захотелось окунуться в струящийся мягкий свет ламп, чтоб были рядом люди, чтоб можно было говорить с ними и чтоб они понимали его и он их. Увидел на той стороне улицы витую белую надпись «Ресторан». Туда? Сразу представился дым папирос, острый запах пряных соусов, оголенные плечи женщин, красные лица мужчин. К черту! Пить он сегодня не будет. И тут же подумал: «А может быть...» Он сразу оборвал мысль. Она не в первый раз приходила к нему, когда он прилетал в этот город, но он всегда понимал, что это глупо и наивно. Да, собственно, и зачем?.. Прошло столько лет. Почти половина его жизни. Да, он помнил эту девчонку и даже рассказал о ней Гошке. Просто иногда хорошо было вспоминать о человеке, который когда-то очень помог, хорошо было думать, что когда-нибудь встретится с ним. Но смешно возвращаться к давнему, оно все равно не существует в настоящем. Он читал про такие встречи, но никогда не слышал, чтобы они действительно происходили. Да и зачем ему ехать туда? Только для того, чтобы взглянуть на то место, где однажды, отчаявшись и поверив, что больше никогда не поднимется, вдруг обрел опору?..

Он еще боролся с собой, но, когда увидел зеленый глазок такси, поднял руку.

— Куда едем? — спросил шофер.

— К Нарвским воротам...

Освещенная прожектором, рвалась с арки в снеж-

ное небо колесница. Странно, он помнил здесь все до мелочей. Надо идти вот по этой улице, где стоят черные деревья, жадно собирая на ветвях липкий снег. Все-таки у него крепкая память. Сугробы, как и в тот раз, синели на газонах. Захотелось пить. Кирилл поймал себя на том, что чуть было не наклонился и не зачерпнул рукой этого мягкого снега.

В корпусах весело горели огни, было слышно, как сквозь плотно закрытые окна пробиваются звуки музыки. Кирилл остановился у подъезда. «Это здесь». И тут же попытался представить лицо Нины и удивился: он совсем забыл его, совсем, — и подумал, что и она могла забыть его, он ведь не сказал тогда своего имени... И он вдруг отчетливо понял, почему пришел сюда: человек ищет поддержку там, где один раз получил ее. Как ни странно, но все это именно так...

Но зачем переступать ему порог этого дома? Может быть, женщины, к которой он хотел идти, нет и в живых. Ведь тогда была блокада. Чудес не бывает: она не вернется из далеких лет такой же, какой была. Кирилл еще раз попытался вспомнить лицо Нины, и вдруг ему показалось, что там, в доме, сидит Маша. Он совершенно отчетливо увидел рыжеватый блеск ее волос, улыбку...

Снегопад кончился, вокруг голубел снежный наст, дробясь у фонарных столбов на мелкие цветные блески. Подморозило, отчетливо вырисовывались дальние дома, черные стволы деревьев на газонах. В воздухе висел неясный тихий звон, словно где-то наверху лопались тонкие льдинки. Кирилл постоял, прислушиваясь к этому звону, закурил и медленно побрел в сторону Нарвских ворот. Снег висел на деревьях белыми комьями, и казалось, будто по улице низко прошли кучевые облака, цепляясь за ветви, и оставили на них свои клочья. Надо было надеть пальто — он не думал, что в Ленинграде уже настоящая зима. Маша... Почему это вдруг вспомнилась ему Маша?

Кирилл сел в какой-то автобус, даже не спросив, куда он идет. Окно плотно залепил морозный узор,



в нем кто-то просверлил дырочку, но ее уже затянуло туманной коркой льда. Девочка в красном платке в горошек прислонилась лицом к березе... Они очень похожи, эта девочка и Маша. Когда он купил эту фотографию — до того как познакомился с Машей или после? Да, он, кажется, купил ее после их знакомства и зачем-то повесил на стенку. Он ведь никогда раньше не вешал никаких картинок на стену, не любил этого...

Автобус шел по каким-то улицам, останавливался, входили и выходили люди. Кирилл ничего не слышал, не замечал. Очнулся лишь, когда кондуктор подошел к нему, подозрительно сказал:

— Дальше не едем, гражданин. Конец.

Встрепенулся, вышел из автобуса, огляделся; не-подалеку светлело здание Мраморного дворца, освещенное прожекторами; справа, занесенное снегом, раскинулось Марсово поле; на нем выстроились в ряд, сверкая круглыми шарами, фонари. До Гостиного двора, откуда уходил автобус в порт, было недалеко, но ему еще не хотелось возвращаться в общежитие. Он зашагал по аллее Марсова поля. Снег лежал нетронутый, искрящийся, и пахло вокруг не по-зимнему, а как пахнет вешняя трава после первого грозового дождя.

Ему представилось, как спит сейчас Маша: рыжеватые волосы растрепались по подушке, во сне она иногда причмокивает губами, как ребенок. Он видел это несколько раз ночью. Но он никогда не будил ее, по утрам она просыпалась первая...

Кирилл вышел к центру поля, остановился у гранитных глыб могилы павших борцов. На земле из круглого отверстия вырывалось густо-рыжее пламя Вечного огня; оно было ровным, это пламя, и в безветрии зимней ночи бросало четкий отсвет на все вокруг. Кирилл смотрел на этот огонь, напоминающий лесной костер, и думал: под этими гранитными глыбами лежат давным-давно умершие люди, их имена написаны тут, он никогда не слышал многие из этих имен, но они живут в людской памяти, колы написаны здесь, и ему даже показалось, что за камнями

стоят человеческие тени. «Странно, — подумал он. — А почему странно?» Прошлого всегда толпится рядом с настоящим. Ведь не зря же он ездил сегодня туда, к Нарвским воротам. В последний раз был там в блокаду и вырвал из ученической тетради листок. Он хорошо помнит, что было там написано. Он выучил те слова наизусть:

«7 февраля. У меня был солдат. У него ранена нога. Он прочел этот дневник и сказал, чтоб я не писала больше. Но я буду писать, и я пойду сегодня на завод. Теперь я знаю, что не умру и дождусь отца. Спасибо за это солдату...»

Да, он хорошо запомнил эту запись. «Мы все друг другу обязаны», — вспомнилось ему. Полыхало у ног пламя Вечного огня. И вдруг все, о чем думал Кирилл в этот день: Сергей, Гоша, Голубев, Маша, — все, все слилось воедино, в одно крепкое кованое кольцо. И он понял, почему было так тревожно все эти дни, почему чувствовал себя одиноким и беспомощным, почему метался душой, и, поняв, удивился простоте окружающего. Он еще раз взглянул на огонь и, почувствовав необычайную твердость, пошел дальше по аллее...

2

Сергей сам не знал, где подобрал этот черешневый прут. Местами с него слезла кожица, обнажив розоватую ткань, от нее тонко пахло свежим сеном. Сергей шел, вяло помахивая прутиком. Голова была тяжелой. Ночью он то впадал в какое-то забытие, и тогда из углов вырывалась красная скомканная тряпка пламени, то четко вырисовывался бубновый яркий туз на фюзеляже самолета... Он не хотел обо всем этом думать, он знал, что ему надо уснуть. Но сон не шел. Стряхнув с себя забытие, он лежал, широко открыв глаза, и смотрел за окно, где плавал голубоватый туман лунного света.

Гоша ухаживал за ним, как за маленьким. Сергей хотел лечь на полу, но Гоша так на него накинудся, что Сергей сразу же перестал спорить и лег на кровать. Перед тем как заснуть, Гоша сказал ему:

— Ты, Сережа, ни о чем не думай. Спи. Тебя ведь временно отстранили. Это чепуха. Скоро опять будем вместе летать...

Наивный парень Гоша! Он ничего не понял, на разборе горячился, говорил громкие слова, наверное даже хорошие слова, но ничего не понял. Есть вещи, которые не склеишь. «Будем вместе летать». Летать нельзя вместе, если трое не одно целое. Можно жить, но не летать. Если в воздухе один перестает верить другому, это уже не полет, а черт знает что. Он ведь и вернулся-то на самолет потому, что был Кирилл. Так бы ему и торчать всю жизнь в стариковской диспетчерской или, в лучшем случае, переквалифицироваться в наземного механика. Он не так прост, чтобы не понять, что все дело было в Кирилле. Тот отправил его на море, а после возился с ним, как с начинашкой. А потом эта мотоциклетка... Ее тоже придумал Кирилл, он сказал:

— Ты, Сережка, парень грамотный, у тебя выйдет, действуй.

Он, конечно, не конструктор, но ведь и летчики делали самолеты.

Им было хорошо втроем. Они всегда что-нибудь придумывали. Вот и эти полеты без бортмеханика...

Сергей шел, помахивая прутиком, по дорожке сквера к вокзалу. Он и сам не знал, почему направился туда. Но не сидеть же все время взаперти в Гошиной комнате. Так можно сойти с ума... Низко выпустив шасси, пролетел на посадку легкий «ЯК-12». Сергей проводил его глазами. Кирилл и Гоша сейчас летят от Ленинграда. Тоскливо защемило сердце, он сжал руку, прут переломился, врезался острием в ладонь. Сергей швырнул его на клумбу, где блеклым огнем среди бурых стеблей догорали последние наступии.

В нескольких шагах, на садовой скамье, сидели трое парней. У ног их стояли чемоданы. Наверное, парни пораньше приехали в порт и теперь ждут здесь, на воле, посадки. Сергей не спеша подошел к скамье, сел на свободное место. Парни не обратили на него

внимания. Тот, что сидел посредине, чернявый, с узкими подвижными глазами, рассказывал:

— ...Завтра, считай, в Иркутске буду, а там рукой подать — и свои. Погулял две недели, и будет. Сюда летел, думал: не меньше двух месяцев отгуляю, отпуск-то двойной. Мамаша, конечно, в слезу... Но, понимаешь, тянет к своим, и все тут...

— Не москвичка, так, наверное, еще сидел бы. От тепла палкой не выгонишь, — засмеялся его сосед, здоровый толстощекий парнюга.

— Вот Расскажи тебе, — нахмурился чернявый, — все на свое поворачиваешь... Да, может, у тебя с той москвичкой ничего и нет. Просто девка хорошая, аккуратная, строгая. К ней так, с заходу, не подступишься... А тянет меня потому, что по ребятам соскучился. Тайга рядом, охота золотая. Строителю в тех местах дорожки не заказаны. Говорю тебе, едем, не пожалеешь. Занятие-то у тебя тут паршивей паршивого...

— Ну и ладно! Чего пристал? — надулся толстощекий.

— Да я к тебе не пристава. Это ты пристал: Расскажи да Расскажи. Поезжай сам, да и увидишь...

— Ладно вам, — вмешался третий. — Везде строят, не только под твоим Иркутском...

Сергей поднялся со скамьи. Раньше ему нравилось вот так слушать чужие разговоры на вокзалах. Теперь же ему было не до этого. Голова по-прежнему гудела, будто по ней били молотками.

Он отошел от скамьи, оглянулся на парней и подумал: а не уехать ли и ему куда-нибудь? Хотя бы в тот же Иркутск. Разве там не нужны пилоты? Обрубить все сразу... Почему это он раньше не додумался до самого простого? Взять, сейчас же собрать чемодан, и... все останется позади: и Надя, и авария, и все-все. Там можно начать сначала. Он ведь еще молод. Очень даже просто — взять чемодан. Сергей торопливо вынул папиросу, чиркнул спичкой, жадно затянулся. Да, уехать! Все ясно и просто. Он смотрел себе под ноги. О чем еще рассуждать? К полуобгорелой спичке, которую он бросил на землю, подполз му-

равей, попробовал ее потащить. Спичка дернулась, черная головка отлетела от нее. «А ребята? — подумал он. — Так и не сказать им ничего, взять и уехать?» Это похоже на бегство. Если он сбежит, ребята не простят ему. А он себе простит?.. Муравей все-таки подхватил спичку, поволок ее куда-то в пожухлую траву.

Сергей двинулся дальше и не заметил, как вышел к тому месту, где они всегда оставляли «Москвича» перед полетом. Старый трудяга стоял, как всегда, под деревом, у самых окон диспетчерской, отливая на неярком солнце серой краской. Сергей пошарил в кармане. У него был второй ключ от машины. Правда, он редко пользовался им, но так было заведено: один ключ у Кирилла, второй у него.

Он открыл дверцу, сел за руль, включил зажигание и почувствовал легкую дрожь руля, похожую на дрожь штурвала самолета, и сразу же захотелось вырваться куда-нибудь на шоссе. Захлопнул дверцу, развернул машину. Ему было все равно, куда ехать, он миновал портовые постройки и вырулил на широкую, обсаженную тополями дорогу.

Мимо промелькнули недостроенные дома, трактор, ползущий по черной земле, заторопились столбы шпалер виноградников. Асфальт серо-черным полотенцем стелился под колеса. Навстречу бежали грузовики с бидонами, ящиками, бочками.

Сергей вспомнил, как он вез на этой машине Надю. Тогда Кирилл только что купил «Москвича», и он, сверкающий никелем и стальным отливом, казался им божеством. Была весна, абрикосы уже выбросили свой пышный розовый цвет на голых черных ветвях, бересклет зажег первые зеленые огоньки листьев. Кирилл охотно дал машину.

— Женщины любят быструю езду, — сказал он весело.

Надя села рядом с Сергеем вот на это сиденье. Она была в светлом плаще, вся какая-то радостная, в темных глазах ее застыли испуг и в то же время торжество. Он гнал машину на большой скорости. Когда переваливали через холм, Надя прижимала обе

руки к груди, вскрикивала. Солнце клубилось на дороге, растекалось по влажной земле, и легкое марево дрожало под чистой зеленью озими. И все это: земля, розовые деревья, зелень, небо — все-все кружилось вихрем вокруг них... Они въехали в лес. Здесь еще было сумеречно, влажно, пахло, как в погребе. Срывались капли с деревьев, а под ногами лежала бурочерная прошлогодняя листва. Надя вышла на дорогу, взгляделась в глубь леса.

— А ночью тут, наверное, страшно, — сказала она, зажмурившись.

Он любил ее всю: и то, как она по-особому щурится, ее походку, ее плащ, — всю-всю.

— Это сказка, — сказал он. — В этом лесу живет миллион сказок, и лучшая из них ты.

Она ничего не ответила, пошла по мокрой тропинке. Но он не пустил ее, подхватил на руки, понес в машину...

— Ты сумасшедший, — сказала она. — Все испортил.

Но ему было наплевать, он знал, что ничего не испортил и все по-прежнему светло и по-вешнему ярко...

Сергей сжимал руль и больше не видел дороги; навстречу стремительно летела какая-то серая масса, и на стекле, как в затуманенном зеркале, выступило лицо Нади с черными провалами глаз, лицо, освещенное робким светом настольной лампы. Сергей смотрел на Надю и не понимал, почему у нее дергается густая черная бровь. Слова падали, как комья снега, тугие, холодные. Он сначала не понимал их смысла:

«...Ты можешь прощать меня или не прощать, тебе видней. С самого начала у нас был обман. Ты увез меня девчонкой, даже не спросил: люблю ли я тебя? Ты думал только о себе, но ты не виноват, виновата я...»

А потом, когда понял, то сначала испугался за нее:

«Может быть, ты и сейчас себя обманываешь?»

«Нет... Это настоящее...»

Он никогда прежде не видел у нее такого выражения лица, словно с него слетел какой-то налет и оно обнажилось неожиданно, стало проще, открытее.

«Такое не объясняют... Пришло, и все, а раньше не было. Это я знаю твердо. Плохо, что я боялась тебе сказать раньше...»

Потом он, кажется, ругал ее. Это было глупо, но он вышел из себя и начал ругаться...

Так у них все кончилось. Он теперь хорошо понимал, что все кончилось и исправить ничего нельзя.

Надино лицо угасало на ветровом стекле, а серая масса все летела навстречу. «Москвич» дрожал от напряжения, стрелка спидометра отчаянно билась на циферблате. Сергей увидел, как из серой массы выплыла точка, она мчалась навстречу, будто черный комок грязи, все увеличиваясь, увеличиваясь, а Сергей ничего не мог с собой поделать: сжимая руль, летел навстречу этому комку. И в это время рядом возник какой-то протяжный, нудный звук, он ширился, заполняя кабину, давил на уши. Сергей стиснул зубы, пытаясь превозмочь боль, вспыхнувшую в висках, и в это время выросла прямо перед ним тупая сетчатая морда грузовика, чьи-то перекошенные в испуге глаза. И, в мгновение все поняв, упал грудью на руль, ожидая удара. Слева что-то хрустнуло, чужое лицо мелькнуло мимо, и Сергей отчетливо увидел ровную гладь асфальта. «Москвич» летел по ней, трепеща, лихорадочно вздрагивая. Сергей стал медленно сбрасывать газ. «Что это было?» — подумал он.

Машина остановилась у самой обочины. За кюветом рос старый кряжистый орех, его почерневшие продолговатые листья лежали на земле. Сергей вышел из машины, сел на пожухлую траву. Лицо и руки были потными. «Что это?.. Что это?..» — назойливо вертелось в голове. Вдали по полю двигался трактор, он натруженно ворочал гусеницами, и тяжелый звук его мотора долетал сюда, к дороге. Сергей закурил. Пальцы дрожали. Дым папиросы показался горьким, вонючим. Затянулся еще раз и бросил окурок на черные листья ореха.

«Неужто я?.. Как могло взбрести в голову?..» Он сидел, уставившись на трактор. «Может быть, это так и бывает, неважно где: за рулем автомобиля или дома за столом, когда достают старый пистолет?.. Не может быть. Мне не могло прийти это в голову!»

В небе неторопливо тянулось длинное узкое облако, мягкое, будто сотканное из осенней паутины. От облака падала тень на поле, где работал трактор.

— К черту! — сказал Сергей вслух. — К черту!

Он поднялся, обошел машину. На «Москвиче» не было ни одной царапины. Что же тогда так хрястнуло? Может быть, что-нибудь случилось с тем человеком, который сидел в грузовике? Сергей сел, взялся за руль и тотчас отдернул руки. По пальцам будто ударил ток. «Это нервы, — сказал он сам себе. — Нельзя так... Надо ехать, надо посмотреть, что там на дороге». Он опять уцепился за баранку, руки сжали пластмассу.

Сергей развернул «Москвича» и поехал обратно. Теперь солнце било в лицо, оно нависло вдали над холмом и прямо бросало свои лучи вдоль дороги; асфальт уже не казался серой массой, а был похож на струящуюся в закатном пламени реку. Сергей опустил темный козырек машины, чтоб не слепило глаза. Он вел машину осторожно, сбрасывая газ на поворотах, словно плыл по порожистой реке.

Он поднялся на небольшой холм и увидел притулившийся к обочине грузовик. Передние колеса его были в кювете. Около грузовика вертелся человек в ватной спецовке.

Сергей машинально опустил стекло справа и, затормозив, высунулся в окно.

— Что случилось? — крикнул он.

Шофер оглянулся. У него было небритое продолговатое лицо с крючковатым длинным носом.

— Вернулся? — зло спросил шофер и вдруг сорвался на визгливый крик: — Ты что же это, гад, делаешь? На такой скорости в лоб! А ну, вылезай!

Сергей покорно вылез из машины, сказал:

— Так получилось, товарищ...

Он взглянул на грузовик и сразу все понял: шо-



фер резко свернул с дороги, врезался в кювет передними колесами, немного погнув буйфер.

— Получилось! — опять взвизгнул шофер. — Семьи у тебя нет, что ли, зараза? — И тут же неожиданно смягчился: — Счастье твое, инспектора нет поблизости. Дай-ка закурить.

Сергей достал пачку папирос, молча протянул.

— Офицерские куришь, — заметил шофер. — Начальство, что ли, возишь?

— Начальство сейчас на «Москвичах» не ездит, — ответил Сергей.

— Это верно, — сплюнув, поддакнул шофер, почесал затылок, посмотрел на свой грузовик. — Как его, черта, вытаскивать?

— Тросом.

— Тросом-то тросом, да не «Москвичом» твоим буксировать.

— Остановим машину.

— Пробуй, — согласился шофер и взглянул на Сергея. — А ты что бледный такой? Испугался?

— Сам не знаю, что случилось, — ответил Сергей. — Погнал машину, ничего не видел перед собой.

— Бывает в нашем деле, — спокойно заметил шофер. — Я вот прошлый год на целину ездил, хлеб возил. Веришь, так намотался, за рулем заснул. Степь там, ровно... Так спящий на элеватор и приехал, аж страшно стало. А кабы встречная пошла или мостик какой, ну и каюк... В нашем деле бывает...

Шофер покурил, жадно затягиваясь, увидел на шоссе колонну грузовиков и забеспокоился, полез в кузов за тросом, потом поглядел на Сергея сверху вниз:

— Слышь, парень, ты давай езжай.

Сергей хотел было возразить, но тот не дал ему:

— Езжай, а то, не ровен час, инспектор наскочит. Езжай! Ишь, белый какой! Сами тут управимся.

Сергей сел в машину и неторопливо повел ее в город. Опять побежали сбоку недостроенные здания, штабеля белого камня, бревен, акации, которые еще не сбросили своей листвы. На большой выровненной площадке рабочие монтировали кран. У самой дороги стояла овощная палатка, в ящиках навалом лежали красные, огненные перцы, кочаны капусты, поблескивали желтизной яблоки. Сергей теперь с особым вниманием вглядывался во все, что попадалось ему на пути. Вот плакат на щите: «Концертный зал филармонии. Шостакович. Седьмая симфония...» Девушка, читающая газету; старуха, несущая сумку, из которой торчит куриная голова; двое монтеров на столбе... Солнце плескалось на оголенных деревьях, на рыжих листьях, что охапками лежали на тротуаре; медленно плыло над улицей длинное облако, наверное, то самое, что видел он над полем...

Он проехал по улице, свернул в переулок, поставил машину под старой сучковатой яблоней, где всегда ее ставил Кирилл. Пушок кинулся навстречу, ласково взвизгнул, лизнул руку, заюлил у ног.

— Ну что ты, дружище? — сказал Сергей и по-

гладил собаку по мягкой белой шерстке. — Ну-ну, я тут... Мы посидим вместе.

Сел на скамью у дощатого стола. Пушок положил ему лапы на колени и преданными глазами смотрел в лицо. Сергей гладил его по голове.

— Вот мы и дома, — сказал он и удивился, будто впервые увидел эту яблоню, дощатую калитку, потрескавшиеся стены финского домика. — Понимаешь, в чем дело, Пушок?.. А, дружище? Эх, ничего ты, пес, не понимаешь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«...За решетчатой изгородью перрона, в стороне от группы пассажиров, стояла девушка. Тут не было ничего необычного. На этом месте часто стояли жены молодых пилотов, дожидаясь их возвращения из рейса. А потом они, наверное, привыкали, что муж почти каждый день поднимается в небо, и переставали ходить в порт. Когда-то встречала нас на этом месте Надя. Я подошел поближе, и девушка помахала мне рукой. Тогда я увидел, что это Зина.

— Ты не обижаешься, что я пришла? У меня сегодня выходной, и я пришла. Только сначала позвонила по телефону в диспетчерскую и спросила, когда прибывает ваш самолет.

На ней был новый серенький жакетик, и она все поправляла рукава, которые сползали ей чуть ли не на ладони. На ступеньках вокзала стояли несколько наших ребят и среди них Ковалев, с которым я сцепился в буфете. Ребята смотрели на Зину. Мне стало неловко, что они смотрят на нее, и я сказал:

— Пойдем побыстрее отсюда.

— Значит, мне не надо было приходить? — сказала она и обидчиво поджала губы.

Тут я чуть было совсем не смешался и взял ее под руку. Мне очень хотелось ей объяснить, что как раз она хорошо сделала, что пришла. Сразу стало наплевать на Ковалева и ребят, которые стояли ря-

дом с ним. Я сам не знаю, как это случилось: просто взял, повернул Зину к себе и поцеловал. Конечно же, я сделал это назло Ковалеву, чтобы тот не таращил свои глаза туда, куда не надо. Потом я испугался, что Зина или очень рассердится, или стукнет меня по щеке. Но Зина не рассердилась. Она сначала удивленно посмотрела на меня, потом прыснула:

— Ну и смешной же ты, Гоша.

— Почему?

— Ты поэтому звал, чтобы мы быстрее ушли отсюда?

— Может быть, поэтому.

Веснушки весело запрыгали у нее на переносице. Мне очень нравится, как она смеется. Честное слово, я никогда не видел, чтобы так хорошо смеялись девчонки! Я опять повернулся в сторону Ковалева, увидел, что он вовсе не смотрит на нас, а о чем-то спорит со своими ребятами. Мне стало досадно. «А впрочем, — подумал я, — все равно».

Потом мы сидели на лавочке в сквере. Тут было очень тихо, на земле лежали желтые листья, и меж ними у самых комлей деревьев пробивалась зеленая трава — поднялась после недавних дождей. Ладонка у Зины была жесткая — она ведь работает у станка, — жесткая, но очень теплая, и мне нравилось гладить ее. Зина рассказывала мне про какого-то парня, который хоть и хороший, но ужасный трус и не дает делать по-настоящему стенгазету. Мне было, конечно, все равно, кто этот парень. Она кончила рассказывать и неожиданно сказала:

— А я на тебя немного обиделась, Гоша.

Я подумал, что это она опять про то, как я ее поцеловал, и сказал:

— Лучше не надо обижаться. Честное слово, это само получилось.

— Ты знаешь, про что я говорю? — ответила она. — Ты почему ничего не рассказал мне о пожаре?

Вот тогда я удивился. Конечно, я ей ничего не рассказывал об аварии. Чего уж тут хорошего, чтобы всем об этом рассказывать. И сразу вспомнил про Сергея... Все-таки надо быть большой свиньей, чтобы

забыть о своем товарище. Он не летал с нами в Ленинград, и я его еще не видел. Человека отстранили от полетов. Что он делал один? Сергей парень такой — может натворить всяких глупостей. За ним только следи. Вон он какой был ночью после разбора. Я тоже не спал, все слушал, как он ворочается на своей койке. Чуть не плакал тогда от жалости. А вот теперь взял и забыл. Настоящая свинья! Я сжал Зинину ладонь и сказал:

— Знаешь, мне надо идти, обязательно идти.

Она испугалась. Наверное, я выпалил все это тревожно. И я подумал: надо бы ей все объяснить, а то она обидится, что я бросил ее ни с того ни с сего. И я коротко, очень коротко рассказал ей все, что случилось у нас в экипаже. Зина послушала, нахмурилась и ответила:

— А я думала: у вас не так... Я думала, что вы очень дружные.

Вот тут я не на шутку обозлился.

— Много ты понимаешь! — сказал я. — Ни черта ты не понимаешь!

Я отвернулся от нее и пошел по дорожке сквера. Мне было ужасно обидно.

— Всякая девчонка будет еще рассуждать... — бурчал я.

Уже выходил я из сквера, когда Зина окликнула меня. Оглянулся и увидел, что она стоит рядом и смеется:

— Гоша, я, наверное, не так поняла... Слышишь, Гоша?

Ну, зачем она так смеется? Честное слово, я никогда не видел, чтоб так умели смеяться девчонки!

— Ну, Гоша, — сказала она и опустила голову. — Если хочешь... поцелуй меня еще раз...»

1

Кирилл поискал глазами Гошу и, не найдя его, подумал, что тот поджидает его у «Москвича».

В полете Кирилл много думал о Сергее. Все-таки это не такой парень, чтобы раскваситься окончательно-

но после всего случившегося. Нет, совсем не такой парень.

Справа, на месте Сергея, сидел Голубев. У Кирилла все время было такое чувство, будто они летали с ним много раз. Иногда ему казалось, что это вовсе не Голубев, а Сергей, так похож был их рабочий почерк; а может быть, Голубев просто легко освоился и приноровился к его ритму. Ведь он летал на многих машинах.

Самолет шел ровно, пробивая путь в облаках, теснившихся серыми отарами в небе. И в эти минуты Кирилл понимал, почему Смирнов, решившись нарушить инструкции, дал ему в экипаж вторым пилотом Голубева. Их было трое: он, Сергей и Гоша. Они были как один сжатый кулак, и их нельзя было разбросать в разные стороны. И вдруг пальцы начали разжиматься... Смирнов, конечно, почувствовал это. Но не только трое, составлявшие экипаж Гудова, беспокоили его. У него было много ребят, самых разных, часто совсем не похожих друг на друга. Они летали по дальним и ближним трассам, они летали на тяжелых самолетах и небольших вертолетах, они жили в воздухе и на земле, в диспетчерской, на телеграфе, в метеостанции. Они возили людей, почту, грузы. Они жили в такое время, которое мчалось с небывалой скоростью. И Смирнов тоже сжимал кулак. Ему было нелегко, как Кириллу, даже намного тяжелее. Но так было нужно, и дело, которое делали он и все, кто жил с ним рядом, требовало, чтобы люди были вместе. И Кирилл словно увидел всех этих людей с большой высоты, увидел, как они собираются воедино, оставив по ту сторону светораздела, где кочуют туманы и серые сумерки, все мелкое и не нужное им; их много, этих людей, очень много, так что не охватишь глазом даже с такой высоты...

Внизу в клочья рвались облака, и открывалась земля, влажная после осенних дождей. Она сверкала то вороненым крылом зяби, то зеркалами озер, то весело шурилась складками холмов.

Кирилл сцепил пальцы на штурвале и опять думал о Сергее. Каждый летчик знает, что авария —

это еще не катастрофа. Надя?.. Есть вещи посильнее любви. Кирилл-то знает хорошо...

Он думал об этом в полете, и когда приземлился, то накрепко решил, что сегодня обо всем сумеет поговорить с Сергеем. Он торопливо шел мимо вокзала к тому месту, где всегда стоял «Москвич». Гоша, наверное, уже там, не стал дожидаться, пока он сдавал документы. Надо сейчас же ехать к Сергею. Он не видел его лишь сутки, а кажется, будто прошел год.

Кирилл свернул за угол и остановился: на подножке «Москвича» сидел Сергей, шурился на солнце, курил.

— Добрый день, Сережа, — тихо сказал Кирилл. Сергей вскочил, отбросил в сторону папиросу:

— С прилетом, командир.

Они стояли друг против друга, оба в одинаковых форменках, один — широкий в плечах, чуть сутуловатый, лобастый, с плотными, резкими губами, другой — худощавый, легкий, светлая мочалка волос выбивалась у него из-под козырька. Они стояли друг против друга и молчали, каждый из них хотел что-то сказать, но никак не мог решиться заговорить первым.

Наконец, Кирилл отвел в сторону глаза, спросил:

— А где же Гоша?

— Я видел, он ушел со своей девчонкой.

— Разве у него есть девчонка?

— Появилась.

— Что же он молчал, чертенок?

— Он еще скажет, командир.

Они опять посмотрели друг на друга и неожиданно вместе улыбнулись, и сразу растаял ледок неловкости.

— Скажи, пожалуйста, женихом стал Гоша! — все еще продолжая улыбаться, сказал Кирилл.

— Еще какой жених! — ответил Сергей. — Первый сорт жених.

И им обоим это показалось очень смешным. Они дружно расхохотались. Они смеялись и хлопали друг друга по плечу. Они смеялись так, что даже девуш-

ка-синоптик, пробежавшая мимо, остановилась, воскликнула:

— Ой, расскажите и мне!

Кирилл махнул ей рукой: дескать, не для тебя. Девушка обидчиво пожала плечами и убежала.

— Ладно, Сережа, поедем, — сказал Кирилл, вытирая кулаками выступившую слезу.

— Поедем, — согласился Сергей.

Они сели в машину рядом. Кирилл включил мотор. Он подумал, что все те слова, которые он приготовил для Сергея в полете, вовсе ни к чему. Ну, правда, зачем они этому парню?

А Сергей сидел, откинувшись на спинку сиденья, и думал совсем о другом. Кирилл не мог знать, что за полчаса до их прилета Сергей встретился с Надей.

Он увидел ее, когда она шла к вокзалу через сквер — в темном форменном жакете, прижав к груди синюю сумочку, шла легко, не глядя по сторонам. У него сжалось испуганно сердце, он попятился, думая укрыться куда-нибудь, но тут же невольно подался вперед и безотчетно пошел ей навстречу.

Надя остановилась. У нее появилось до боли знакомое выражение, точь-в-точь такое же, как тогда в приморском городке, когда он взял ее впервые за плечи. И Сергею почудилось, что он чувствует запах ее волос, от которого кружится голова.

— Здравствуй, Сережа, — тихо сказала она.

— Здравствуй, — с трудом произнес он.

Она вздохнула, неожиданно потянулась к нему и поправила сползший у него набок галстук.

— Ты очень стал бледный... и небритый. Так нехорошо...

— Да, нехорошо, — поддакнул он.

Она внимательно посмотрела на него. Глаза у нее были, как и прежде, глубокие, неясные, и все же в них было и что-то новое, они и смотрели-то на него теперь по-другому, как смотрят на человека, который тебе хоть и дорог, но далек. И тут Сергей подумал, что вот она стоит перед ним, и он знает ее всю: ее привычки, капризы, знает всю без утайки, и она те-

перь уже не его, а чужая и никогда не будет с ним вместе. И все это было так неправдоподобно, страшно, непонятно. Он отшатнулся от нее. Она почувствовала это, наклонила голову.

— Я очень боялась, Сережа, — тихо сказала она. — Когда вы летели при пожаре... Очень боялась...

И было жалкое что-то в ее словах, или так показалось ему, потому что он словно захотел ее успокоить и ответил:

— Спасибо.

Она теребила ручку своей сумочки, и он видел ее склоненное, чистое, розовеющее лицо. И еще он увидел, что и внешне она изменилась. Надя отрезала косу, и теперь у нее была модная короткая прическа. Она и раньше порывалась отрезать косу:

— Что я, девчонка какая?



Но он не хотел, ему нравилась ее коса. И все же эта новая прическа больше шла ей.

— Ты, Сережа, не должен меня ругать, — сказала она.

Он вспомнил, как мучился после той ночи, когда, не выдержав, начал бросать в нее обидными словами.

— Я не ругаю, — ответил он и тут же спросил: — Как ты живешь?

Тогда она вскинула голову и, как бывало прежде, когда она хотела сказать ему что-нибудь заветное, ответила просто:

— Я счастливая.

И он увидел, что она говорила правду, такая она была в эту секунду гордая, открытая, смелая.

— Ну вот, — сказала она, — я пойду...

И пошла, неторопливо, легко ступая по дорожке к вокзалу. А он стоял и чувствовал, что больше никогда не сможет с нею говорить иначе, чем сейчас, и что никогда она ему не была так дорога, как после всего того, что случилось...

Он думал об этом, сидя рядом с Кириллом в машине, думал и потом много дней и ночей. Так и осталось у него все это в душе...

2

Кирилл слышал, как заворчал за окном Пушок, а потом ласково заскулил; слышал, как простучали шаги по ступеням. Сейчас она откроет дверь и войдет в комнату. Но он лежал, не двигаясь, прикрыв глаза словно в забытьи, представляя все: дымную струю лунного света, нахально врывающуюся сквозь окно, и побелевшие в этом свете Машины плечи. Вот она вошла, увидела, что он лежит, и осторожно повесила на спинку стула авоську. Никогда еще так не ждал ее Кирилл. Он боялся открыть глаза; ему чудилось, что если он это сделает, то рухнет в нем необычное чувство легкости и света. Он слышал, как шелестит, будто первый вешний дождик, ее платье. Ему не хотелось, чтобы лунный свет касался ее плеч. Все же он не пошевелился, чтобы окликнуть Машу

и предупредить ее об этом. В нем жило ожидание, оно было совсем необычное, совсем не похожее на все то, что было раньше. И почему-то всплыло перед глазами Марсово поле, круглые шары фонарей. Кирилл почувствовал запах ее волос. Он знал, что только у нее так пахнут волосы, словно осенние кленовые листья, но даже не поднял руки, чтобы погладить их.

— Ты не спишь? — тихо спросила Маша.

Он не ответил. Ему надо было сказать ей сейчас самое главное, на что он решился в полете, надо было сказать сразу, чтобы она поняла, но он не знал, какие здесь нужны слова.

— Ты вправду спишь? — опять спросила она и коротко вздохнула. Ему стало жаль ее. Она вздыхает совсем как маленькая девочка.

— Нет, я не сплю, — ответил он и открыл глаза. Вокруг было все то, что бывало и раньше: лунный свет, ее затуманенное лицо, сизые пятна на потолке, но в то же время все было иным.

— Знаешь, Маша... — начал он и услышал, как грубо упали его слова, почувствовал, что она настожила, тут же подумал, что нельзя заставлять ее тревожиться, и, рассердившись на себя, продолжал: — Переезжай сюда... ко мне...

Маша не ответила. Он плохо видел ее лицо, лишь слышал дыхание, сдержанное, прерывистое. У Кирилла сжалось сердце, тут же испуганно метнулась мысль: «А если не захочет?..» И он ждал. Время медленно плыло куда-то в туман.

— Насовсем? — тихо спросила Маша.

— Да, насовсем, — сказал он.

Тут же он почувствовал, как она уткнулась лицом в его плечо. Горячая капля упала на него, потом еще одна. Кирилл протянул руку, погладил ее по волосам. Он не хотел уговаривать, пусть плачет. А перед глазами то кружилась оконная рама, то мелькало красное пламя, то летели навстречу колющие снежинки. Он думал в эту минуту о тысячах вещей и сам удивлялся, что может думать о них. Он думал о Сергее,

о Наде, о Голубеве и Гоше, он думал обо всем на свете. Наконец Маша сказала:

— Зажги свет, Кирюша.

Он повернул выключатель. Исчез дымный луч лунного света, окно стало черным. Машина авоська висела на спинке стула, на столе лежала скомканная газета.

Глаза Маши были широко раскрыты, и на рыжеватых ресницах еще дрожали две светлые капли.

Маша глядела на фотографию, которая одиноко висела на стене: девочка с лукошком прислонилась лицом к березке.

— И у нас будут дети, Кирюша? — спросила она.

— Обязательно будут, — ответил он и засмеялся.

Маша тоже засмеялась:

— И ты не очень обидишься, если родится девочка?

— Чудная ты у меня, — ответил Кирилл и потянулся к выключателю.

— Нет, обожди, — остановила его Маша. — Я еще хочу посмотреть на нее...

«...Вот, пожалуй, и все. С тех пор прошел почти год. Мы летаем теперь на турбовинтовом самолете «ИЛ-18». Вы, конечно, слышали об этом лайнере, так что я не буду говорить, какая это хорошая машина. Летаем мы теперь не трое, а семеро. И вместе с нами в экипаже Вася Голубев и Ковалев. Зря я думал про него, что он скверный парень, и чуть было не подрался с ним. Просто он иногда болтает не то, что надо.

А Голубев... Ну, что же Голубев! В тот вечер, когда Кирилл уехал в Ленинград, мы остались с ним в профилактории. Он долго ходил и курил и о чем-то думал. И мне было неприятно, что он так ходит и молчит. Я вспомнил все, что о нем говорили ребята в порту. А говорили о нем много. Да я и сам видел, какой он пилот. Может быть, только Кирилл лучше его знает машину. В общем мне очень хотелось с ним

поговорить. Наверное, и ему хотелось, потому что он первый подошел ко мне и сказал:

— Закури, парень. Французские сигареты. Бьют наповал.

Он говорил, а светлые глаза у него были печальные и задумчивые.

— Спасибо, Голубев, — сказал я ему. — Я не курю... Скажи, это правда, что ты летал на Севере?

— Правда, — ответил он просто, — я летал на Севере, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке.

— И у тебя были аварии?

— И не одна... Я сидел в Кара-Кумах трое суток без воды. Потом меня нашли... А на Севере я снимал со льдины людей.

— Интересная у тебя жизнь, Голубев.

— Жизнь у всех интересная, — сказал он. — Ее делают себе сами люди... И у тебя интересная жизнь, Гошка. Иногда мы просто не замечаем, какая у нас интересная жизнь.

Я тогда посмотрел на его продубленное лицо, на его крепкую шею и сказал:

— Все-таки странно, одно время мне хотелось сделать тебе что-нибудь очень плохое. Я хотел тебе плюнуть в лицо... Ударить. Даже убить... Это я думал по ночам. Сережа спал у меня. Он мучился. А я не мог смотреть, как он мучается...

— А теперь ты не хочешь сделать мне плохо?

— Я думал, что ты пижон. Любишь шикарно одеться. Хвастаешь французскими сигаретами.

— Разве пижон — это тот, кто красиво одевается?

— Я так думал.

— А теперь?

Он смотрел на меня и ждал. И я видел, как ему это очень важно знать. И я сказал ему то, что думал:

— Ты не плохой парень, Голубев.

И он ответил серьезно:

— И ты не плохой парень... И Сергей... И Кирилл...

Мне от этих слов стало очень гордо. Может быть, не надо было так говорить, но я сказал:

— У нас в экипаже только так и может быть.

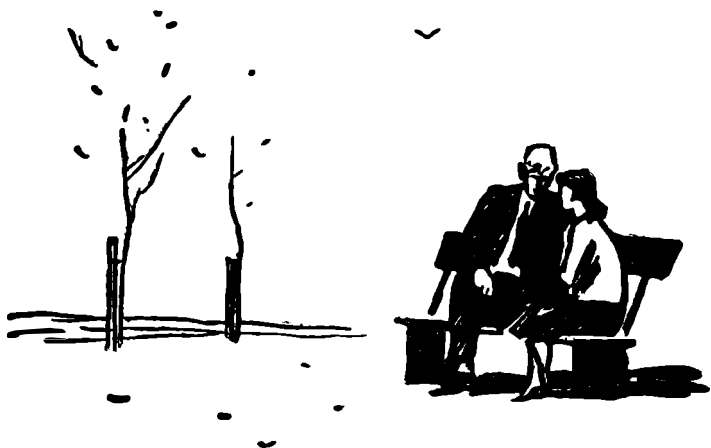
И он улыбнулся:

— Я всегда это знал, Гоша.

А сейчас мы летаем вместе с ним. Иначе и нельзя. Как говорит командир наш Кирилл Гудов: «Воздух любит спайку. Воздух...»

Я часто думаю об этом, думаю, что минет время и наш «ИЛ-18» будет казаться самой заурядной машиной, потому что появятся новые, совсем другие, и летать мы будем на ракетах, а может быть, вовсе на необычных машинах, и не только над землей. Да, и годы пройдут, и десятилетия пройдут, и века, и наступят те дни, когда, освоив невероятные глубины небесного океана, человек запросто станет летать на другие планеты, как сейчас летаем мы в другие города, но жить он будет по-прежнему на Земле. Тут его дом. А в доме — как в доме: и плачут, и любят, и печалются. Наверное, человек станет тогда намного лучше и Земля будет совсем другой. Но все же она останется для человека домом. И, наверное, прилетая на нее, он будет говорить:

— Здравствуйте, люди...»



И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕТРЫ

Напе Кожеевниновой

П

1

еред майскими праздниками пускали цех холодного проката. На тридцатиметровой высоте густо синели стекла гигантской крыши. Там, под самыми сводами, кружились стайки воробьев, беспокойно чирикали, суетливо поглядывали вниз, где в широком пролете собралось множество людей.

В этот день все газеты писали о новом цехе, писали о том, что он крупнейший в стране, что будет прокатывать трансформаторную сталь, писали, что монтажники сдают его на три месяца раньше срока. С трибуны, увешанной лозунгами, выступали ораторы. Они говорили о том же, о чем писали газеты. Сначала их слушали, бурно аплодировали, потом устали, начали переговариваться, потихоньку закури-

ли, и над толпой повисли облачка сизого дыма. Монтажники, все народ молодой, оделись по-праздничному, броско, и в глазах рябило от клетчатых рубаш, от синих, зеленых, бежевых костюмов. Довольные тем, что все позади, монтажники шептались о премиальных, блаженном отдыхе, сговаривались на складчины: шум все нарастал и нарастал. И вдруг все замолчали, разом посмотрели на трибуну.

— ...Начальнику цеха... Самарину, — донеслось оттуда.

На трибуне стоял высокий человек с припухлым, насмешливым лицом, курчавыми седыми висками. На нем была синяя спецовка на «молниях», с отложным воротником, и в распахе виднелась безукоризненно белая рубаша с черным галстуком. Человек, выжидая, когда совсем стихнет шум, наклонил голову и, неожиданно вскинув ее, заговорил:

— Спасибо тем, кто выстроил нам этот дом. Но те, кто строил, уходят. Остаемся мы. Нам тут жить и работать. Сегодня мы начинаем свой путь. Пусть же он будет для нас счастливым. Даешь первый лист!

Толпа качнулась, подалась вперед и тотчас раступилась.

Человек легко сбежал с трибуны к прокатному стану, сверкающему краской, встал на операторское место. На пульте зажглись красные и зеленые лампы. Поднял руку, и все затаили дыхание. Увидели, как закрутились тяжелые валки, затрепетала стальная лента и готовый, обжатый рулон скатился на другом конце стана. Крикнул «ура!». Сварщик выжег на рулоне дату. К стану вырвался низенький, с красной потной лысиной директор краеведческого музея. Самарин размашисто подошел к нему, протянул руку, кивнул на рулон:

— Забирай для истории!

...Илья Клинов весь митинг стоял возле стана, слушал разговоры монтажников и чувствовал зависть к ним. Этим людям сегодня легко. Кочевое племя. Нынче здесь, завтра на другой стройке. То, что кончилось для них, для Ильи лишь начинается и никогда не кончится.

Рядом сопел начальник техотдела Иван Тимофеевич Росляков. Немолодой, сутулый, в очках. На худощавом лице — резкие складки. У него привычка: что-нибудь обдумывая, он всегда постукивал о зубы кончиком карандаша. Привычка эта сейчас раздражала Илью, и ему все время, пока шел митинг, хотелось сказать Рослякову, чтобы тот спрятал свой карандаш.

На трибуну поднялся Самарин, и Росляков наклонился к Илье, прошептал:

— Начнет сейчас витийствовать.

Илья не ответил. Но когда Самарин заговорил, театрально вскинув голову, Илья недоуменно пожал плечами: кто-кто, а уж Самарин-то отлично понимал, что происходит. Подписали акты, дали телеграмму правительству, но... они же вместе нынешней ночью возились с наладчиками, чтобы стан проработал хотя бы часа три. И прокатали-то сейчас на нем не трансформаторную сталь, ради которой строили цех, а обычный автолист. А с трансформаторной... Черт знает, что с ней! Все пробы — сплошной брак. Крошится сталь, не обжимается, и никто не знает, когда она будет прокатываться. Так какой уж тут пуск? Просто уходят монтажники, это их праздник...

— Поцелуй в диафрагму, — съехидничал рядом Росляков, когда Самарин целовался с директором музея. Илья опять не ответил. Старый ворчун! И без того тошно от мысли, что их ждет. Так зачем же без конца бубнить?!

Самарин заметил в толпе Илью и Рослякова, подошел к ним, обнял за плечи. От него пахло свежестюженным бельем и душистым мылом.

— Ну, братцы, — сказал он, и Илья увидел, что его всегда насмешливые глаза были сейчас усталыми, хотя Самарин и улыбался. — Вечерком прошу ко мне... Новоселье, ничего не попишешь.

Росляков нахмурился, поправил очки.

— Стоит ли, Игнат Лукич?.. Праздника бы дождался.

— Эка, праздника! — засмеялся Самарин. — У нас народ приезжий. Разбегутся по семьям — где

искать?.. А не обмыть квартиру все равно что не дать имя ребенку... Так жду. Железно.

И отошел, заспешил куда-то.

— Вот ведь, — Росляков сердито вздохнул. — Самая запарка начинается, а он гулянку...

— Так и не ходите, — ответил Илья. Он наблюдал, как Самарин легко пробирается в толпе. Перед ним расступаются, уважительно поглядывают вслед.

— А вы? — спросил Росляков.

Илья вспомнил, что рабочие на заводе называют Рослякова не начальником техотдела, а начальником «из тех», и улыбнулся.

— У меня особая слабость, Иван Тимофеевич: смертельно люблю новоселья.

Росляков постучал карандашом по зубам, сказал уныло:

— Всем, так всем, — и развел руками. — Неудобно... Начальник цеха.

На улице небо не казалось таким густо-синим, как сквозь стекла крыши, — оно было высоким, в белесой прозрачной дымке. У стены цеха чернела свежая земля, стояли тополя, трепеща ветвями на звонком ветру.

Землю навезли месяца полтора назад. Тогда же и посадили деревья. Это придумал Самарин. На одной из оперативок сказал: «А сейчас поговорим о весне. Я хочу, чтоб у цеха в мае пели соловьи». Все рассмеялись, приняли его слова в шутку. Но Самарин говорил всерьез. Впрочем, у него не всегда разберешь, когда он говорит серьезно, а когда шутит. Деревья строем вытянулись вдоль стены, бросали на нее призрачные тени.

На углу, где кончались тополя, раскинул свои столы буфет. Продавали пиво. Председатель завкома сам распорядился об этом: «Будут гости, да и вообще... праздник». Пока гости ходили по цеху, буфет осаждали монтажники. Стаканов не хватало, пили прямо из горлышек бутылок. Илья посмотрел на эту свалку, хотел пройти мимо, но его остановили.

— Илья, хоть бы ты позаботился.

Он оглянулся, увидел Наташу Курц. Она держала

в руке несколько веток вербы — пушистые серые сережки на ярко коричневых прутиках.

— О чем ты? — спросил Илья.

— Эти троглодиты забили все подступы. А я ужасно хочу пить.

Ее длинные темно-русые волосы были прикрыты нейлоновой косынкой. Светло-серое пальто легко облегалo тонкую, почти девичью фигуру. Глаза светлые, прозрачные, и где-то в глубине их насмешливая искринка.

— Хоть бы стакан воды, — сказала она.

Что-то было в ней от капризной девчонки, которая любит докучать родителям. Илья усмехнулся: «Мама, хочу конфетку», — поискал глазами в толпе: нет ли кого знакомых, увидел ремонтников из цеха и крикнул им. Несколько рук через головы передали бутылку пива, стакан.

— Здорово! — сказала Наташа. — Поддержи-ка, — и протянула Илье ветки. Они пахли свежестью, как пахнет утром у реки, когда с нее уходят туманы.

Наташа выпила залпом пиво, оставив на стакане след губной помады.

— Ух, никогда не думала, что пиво бывает таким вкусным! Хочешь? — и быстро налила в стакан.

— Откуда у тебя эти вербы? — спросил Илья.

— Подарили... Правда, эти сережки похожи на матовые лампочки?.. Это Самарин сказал, что похожи. Он подарил... Так будешь пить?

— Нет... Цветы — и стекляшки. Дурацкое сравнение.

— Ты думаешь?

Илья не ответил, взял из ее рук пустую бутылку, воткнул в нее ветки и поставил на землю.

— Будь здорова, я спешу.

И пошел, чуть прихрамывая. «Стрекоза», — подумал он беззлобно и улыбнулся.

2

В большой трехкомнатной квартире Самарина стоял длинный, привезенный из цехкома стол, уставленный водкой и закусками, несколько казенных

стульев, раскладушка и два желтой кожи чемодана. Семья Самарина была еще на Урале, и все знали, что жена его не приедет, пока дети не закончат учебный год.

Всех, кто приходил, Самарин встречал у порога, в новом черном костюме, сшитом по последней моде: узкие брюки, мягко падающий с плеч пиджак, цветной галстук-бабочка. Встречая гостей, обнимал каждого, перед женщинами склонял свою крупную голову, целовал руку, говорил раскатисто:

— Милости прошу!

Получалось это у него душевно, и у всех вызывало ответную улыбку.

В квартире пахло краской и известью. Гости нанесли всяких ненужных вещей, блуждали по комнатам, заглядывали в ванну, пускали горячую воду, хвалили и поругивали строителей за то, что не научились еще чисто отделывать комнаты, предсказывали, что скоро начнут трескаться двери и полы. Самарин всех слушал, шутливо поддакивал.

Наташа чуточку запоздала, пришла, когда все, шумно двигая стульями, сели к столу. Ее встретили дружным возгласом, и она сразу же почувствовала себя уверенно. Самарин разливал водку и рассказывал, как вселялись в дом прокатчики. Дом давно был готов к сдаче, завком утвердил списки, и будущие жильцы целый месяц атаковали ЖКО. Там отвечали, что горсовет не вынес какого-то решения. Тогда перед самым пуском цеха рабочие силой повезли начальника ЖКО к секретарю обкома, и секретарь сразу же разрешил месячную тяжбу. Об этом много говорили в цехе, возмущались, но у Самарина сейчас вся история получалась смешной и веселой, и за столом смеялись. Наташа тоже смеялась, оглядывала гостей. Все здесь были знакомы: цеховые инженеры, заводской народ. Она сидела возле Анастасии Семеновны, жены Рослякова. Та наклонилась к ней, зашептала:

— Ты, Наташка, сегодня ужасно красивая!

Наташа улыбнулась, не ответила. Она подумала о том, что никогда прежде не видела Анастасию Се-

меновну и Рослякова вместе. Как-то все так получалось. А сейчас вот они сидели рядом, и было даже странно, что они муж и жена. Наташе нравилась эта женщина. Они вместе работали в заводской лаборатории. У Анастасии Семеновны были пышные светлые волосы, темные глаза, от них к вискам разбегались веточками морщинки. Она умела заразительно смеяться, курила, любила красные кофты, хотя они совсем не шли к ее пополневшей фигуре.

— Ну, выпьем, что же ты? — сказала Анастасия Семеновна.

— Водку?

— Мужчинам можно, а нам нельзя? Metallург! Ну ладно, курчонок, на тебе сухое вино. Это для тебя приготовили.

За столом чокались. К Наташе тянулся с другого конца и все никак не мог достать до ее рюмки молоденький инженер. Он чуть не расплескал свою водку, на него зашикали. Он не смутился, крикнул через весь стол:

— Воздушный поцелуй!

Наташа попыталась вспомнить его фамилию и не смогла. Она знала, что мальчик работает оператором у стана. Отрастил себе усы, тонкие, какие-то серые. Хочет быть совсем мужчиной.

Илья Клинков сидел напротив, но не смотрел в ее сторону, вполголоса беседовал с Росляковым. «Что-то похожее в них», — подумала Наташа. И до нее долетели слова Рослякова: «...кварц тут ни при чем». Наташа усмехнулась: «Два сухаря. Вот что общее...»

За столом было шумно. Говорили почти все разом, спорили. Анастасия Семеновна повернулась к Самарину, спрашивала:

— Не жалеете, что сюда приехали?

— Да какое там... Чудесные места! Обживемся, будем ходить на охоту, на рыбалку. Моторку завведем. Река-то какая! Ей-богу, будет славно!

«Интересный человек Самарин, — думала Наташа, — ни на одном заводе не видела таких начальников цехов. Или сидит хмурое старичье вроде Рослякова, или нервные, измотанные люди. А этот — моло-

дец!» Она не поняла, почему вдруг установилась тишина и в этой тишине отчетливо прозвучал голос Рослякова:

— Трансформаторную катать не сможем...

И сразу по лицам пробежала тень. Наташа увидела это отчетливо. Было такое чувство, будто узнали: в соседней комнате покойник. Стало неловко, нехорошо. Выручил тот самый мальчик с серыми усами. Он откинулся на спинку стула и запел странную песню:

Мы отчий дом пропьем гуртом.
Травой зеленой зарастет.
Собачка верная моя
В тоске завоюет у ворот...

Голос у него был чистый, спокойный, и пел он хорошо. Наташа внезапно вспомнила, что фамилия его Симаков и зовут его Славой. Как-то раз, когда она проходила мимо стана, он сказал ей вдобавок: «В такие глаза я могу влюбиться». Она остановилась, повернулась к нему: «А в нос или в уши?» Он растерялся. «Любовь и анатомия!» — бросила Наташа и пошла дальше, услышав, как рассмеялись наладчики, что возились у стана. Она совсем забыла об этом, но сейчас, когда Симаков пел, вспомнила. Ему дружно захлопали. Росляков сидел смущенный, нервничал, поправлял очки.

— Эй, молодежь, включай проигрыватель! — сказала Анастасия Ивановна.

Танцевали в пустой комнате. Проигрыватель стоял на подоконнике. Кто-то попросил Илью Клинова менять пластинки. Наташе хотелось танцевать с Самариным, но к ней подбежал Симаков: «Разрешите?» Танцевал он хорошо и все время улыбался.

— Вы не москвичка? — спросил.

— И да и нет.

— А я вырос на Арбате, — важно сказал Симаков.

Наташа рассмеялась. Симаков обиделся.

— Что же тут смешного?

— Я просто подумала, что вы еще не выросли.

Симаков, видимо, решил, что дальше обижаться не стоит, и покровительственно засмеялся.

— Люблю остроумных девочек.

«Пошляк, — подумала Наташа, — младенец, а пошляк», — и продолжала танцевать с ним.

Потом опять сели к столу, из-за которого не выходили только Росляков и какой-то инженер из заводоуправления. Выпили, заспорили: может ли быть комедия грустной? Наташа вспомнила Чехова. Долговязый инженер кричал, что он уже совсем разучился смеяться и если пойдет так и дальше, то придется открывать курсы, где будут обучать смеху.

Заговорили о форме. Мол, кому что по душе: усложненность или простота? Подозвали Самарина, спросили у него. Игнат Лукич хитровато сощурил глаза, сказал:

— Знаете, ребята, у нас мудрили с разметочной машиной. Два института работали. Один работяга взял шнур, корытце с краской. Рулон стали, когда сползал с валка, прижимал шнур к краске и делал метку. Только и всего. А можно было бы построить автомат и получить премию.

Все засмеялись, всем это было понятно.

Спорили еще долго и о стихах, и о кино, и о прокате, и опять о стихах. Когда расходились, Самарин снова стоял у дверей, со всеми по очереди прощался. Наташе сказал:

— Приходите в гости. С вами интересно поболтать.

— Мы болтаем с вами каждый день в цехе, — ответила она.

— Это другое... Я люблю, чтобы шумно, молодо было. Прихватывайте своих коллег и забегайте к старику.

После, когда она вышла на улицу, то подумала: «Он совсем не старик. Моложе того младенца с усами...»

Домой Наташа шла с Ильей Клиновым. Он жил, как и она, в гостинице. Трамваи уже не ходили, а нужно было добраться в старый город на правый берег реки. Ночь стояла теплая, над корпусами домов в голубеющем небе висел тонкий, лишь ныне народившийся месяц. В сквере, что тянулся вдоль всей

улицы, были развешаны праздничные гирлянды электрических лампочек, и свет от них падал на робкую зелень кленов. Илья взял Наташу под руку, шел, волоча правую ногу, и по пустынной улице далеко разносилось шарканье его шагов. В Наташе еще жило чувство бездумного веселья. Хотелось петь, танцевать, наделать какого-нибудь шума, а Илья молчал, от него неприятно пахло водкой и табаком. Наташа вообще не понимала этого сухошавого человека. Он ходил прямо, и почему-то казалось, что держит руки по швам, как вышколенный курсант военного училища. Он, видимо, рано поседел, и волосы его, когда-то черные, теперь обрели неопределенный пепельный цвет.

Наташа подумала, что все-таки обидно, что так неинтересно заканчивается новоселье. Другой бы на месте Ильи попытался наговорить ей множество приятных слов. Вот хотя бы Самарин или Симаков... Тот бы полез целоваться. Ну и черт с ним. Его можно было бы очень здорово поставить на место. Это даже интересно... Все-таки она ужасно легкомысленный человек. Ей двадцать восемь. Правда, на улице и в трамваях ей говорят: «Девушка». Люди удивляются, когда узнают, что ей двадцать восемь. А Наташе нравится удивлять. Позавчера она надела юбку колоколом, на которой были нарисованы разные цветные зверюшки, и пошла на завод. У проходной стояло несколько парней.

— Вот это юбка! — присвистнул один из них.

Наташа остановилась, повернулась на каблуках, прищурила глаз, словно прицеливалась, спросила:

— Что, нравится?

Парень смутился, покраснел, остальные засмеялись.

А что в конце концов, разве она должна одеваться, как старуха? Ей идет эта юбка, и все. Если на завод, то обязательно напяливать спецовку? Чепуха! Плевать, если кому-то это кажется стилижеством. Правда, Самарин увидел Наташу и сказал:

— По-мосму, очень красиво. Только надо спросить разрешения у инженера по технике безопасности.

— А что, он еще и дамский портной?

— Нет, — ответил Самарин, — просто я боюсь, что кто-нибудь из ребят у станка может слишком заглядеться.

Потом, когда она вернулась к себе в гостиничный номер, то ругалась: «Все-таки во мне много бабского. Тоже парад устроила».

Но на следующий день опять пошла на завод в этой же юбке. Пусть привыкают!

В цехе горячего проката на юбку упала окалина и прожгла дырку. Весь день над этим подтрунивали в лаборатории. «Так тебе и надо, — корила себя Наташа, — не будь душой...»

И все же очень обидно, что в такой вечер ее провожает неинтересный человек. На мосту она не выдержала, сказала:

— Обожди, Илья, я хочу передохнуть. У меня туфли жмут.

Мост длинной асфальтовой лентой уходил на правый берег. Там громоздился холмами старый город. Наташа облокотилась на перила. Река нынешней весной разлилась широко и теперь, при свете молодого месяца, голубела дымной долиной. У берега темнели островки земли, торчали сваи, верхушки заборов, стояли по пояс в воде деревья. Плавали желтые маслянистые пятна света от фонарей, что цепью выстроились вдоль моста.

Илья тоже облокотился на перила, закурил, посмотрел, как слабой красной точкой полетела вниз спичка.

Наташа вздохнула и неожиданно спросила:

— А ты отчего хромаешь, Илья?

— Фронтальная метка, — неохотно ответил он.

— Ты был на войне?

— На двух. В сорок четвертом попал на Запад, потом на Восток.

— Было интересно?

— На войне не бывает интересно.

— А как там бывает?

— Трудно.

— А почему ты так сердито говоришь со мной?

— Потому что ты задаешь глупые вопросы.

Наташа с любопытством повернулась к нему, увидела его жесткую, бледную от лунного света щеку. «Ого!» — подумала она, и сразу же в ней возникло желание поддразнить этого человека. Она пожала плечами, небрежно сказала:

— А мне всегда думалось, что на войне интересно.

— Теперь это не только тебе думается. Есть много книг. Их отлично пишут те, кто дальше армейского КП не бывал.

— А разве нет хороших книг?

— Есть. Но есть и такие вроде того фильма, что ты хвалила у Самарина. Та самая белиберда, где французская девка прыгает в тыл к немцам.

— Но это же комедия. Разве тебе не было смешно?

— Очень, — Илья ухмыльнулся. — Только после фильма хотелось найти режиссера и поговорить с ним по-свойски.

— Между прочим, этот режиссер не меньше знаменит в своей области, чем наш академик Бардин.

— Пусть. Только я всегда думал и сейчас думаю, что на братских могилах незачем выплясывать джазу.

«Какой изумительный сухарь! Такой мне еще не попадался», — подумала Наташа. И все же ей стало неловко и даже немного обидно.

В войну Наташа была совсем девчонкой, жила в маленьком приуральском городке, набитом эвакуированными. Отец Наташи умер рано, она почти не знала его; не было у нее ни старших братьев, ни сестер, которые бы ушли на фронт. С детства она привыкла смотреть на людей, побывавших «там», с уважением. Но ее обижало, когда о войне с ней начинали говорить высокомерно. Конечно, она знала о войне очень мало, но и того, что знала, тоже было достаточно. И незачем с ней говорить так, будто это она виновата, что пишут какие-то книги и в них нет той правды, которую хотел бы услышать этот человек.

— Ты зря так сердито говоришь со мной. Если тебе не нравится то, что нравится мне, ведь не обязательно злиться.

Наташа увидела, что он смутился, потом улыбнулся.

ся краешками губ и поспешно затянулся папиросой. Этот человек может быть лишен чувства юмора и не понимать, что речь идет всего лишь о веселой комедии. И все-таки... Он смотрел на реку, туда, где сизый туман тянулся от воды к берегу, совсем затушевывая его; в разрыве густых хлопьев, у самой земли, мигала крохотная звезда, будто дальний маяк.

— Ладно, — наконец сказал он. — Идем, скоро светать начнет. Мне в семь часов на самолет.

— Ты на праздник летишь домой?

— Да. Жена и дети.

— У тебя много детей?

— Дочь. Ее зовут Викой. Идем...

Они шли по длинному мосту, где местами был выщерблен асфальт и матовым блеском отливали трамвайные рельсы. С моста был виден холм, и там, на фоне посветлевшего неба, выступали силуэты тяжелого здания Дома Советов, старинной церкви и гостиницы. Там же, на холме, — площадь с трибуной, где послезавтра будут парад и демонстрация. Чтобы попасть на этот холм, надо пройти через парк и подняться по гранитным ступеням.

— У тебя отец был немец? — спросил Илья.

— Откуда ты взял? — удивилась Наташа.

— Фамилия...

— А-а... — Наташа засмеялась. — Это осталось от мужа. А фамилия моя настоящая — Василькова. Правда, красиво?

— Слишком даже... А Курц — это немец?

— Нет, он из Молдавии... Ты почему об этом спрашиваешь?

Илья неопределенно пожал плечами.

В парке, как и в сквере, горели цветные гирлянды ламп, освещая корявые стволы лип. Пахло грибной плесенью, застоявшимся туманом. Неподалеку от выхода на каменном постаменте покоились черные стволы петровских пушек. На одну из них кто-то бросил зеленую ветвь. Наташа посмотрела на влажные от тумана пушки, на ветку, и ей захотелось остаться в парке, уйти в какую-нибудь далекую аллею и там просидеть до утра. Она сразу почувствовала усталость и

одиночество. Илья невольно напомнил ей о Санду. Прошло пять лет, как они расстались, а она ничего не могла забыть и, наверное, никогда не забудет.

Ей часто казалось, что во всей этой истории нет ни правых, ни виноватых. Но так решить легче всего. Теперь, когда прошли годы и в памяти стушевались мелочи, которые часто мешают разглядеть главное, она иногда начинает думать по-иному. С Санду у них была ребячья дружба, и, может быть, они не выросли из нее...

В ту пору в каждый дом селили эвакуированных. Людям в их маленьком городке пришлось потесниться. Ничего не поделаешь, так было нужно. Те, кто приехал к ним, вообще остались без крова.

Они жили с мамой в двух небольших комнатках. Кроме того, у них была кухня. А это уже роскошь. Она хорошо помнит: мама привела высокого худого человека с седой взлохмаченной шевелюрой. У него были большие, опаленные рыжеватыми ресницами глаза. Одет он был в очень странное, потертое клетчатое пальто. К нему жался худенький рыжеватый парнишка с точно такими же красноватыми глазами.

— Вот, Наташа, наши жильцы, — сказала мама.

Высокий человек склонился к ней, протянул руку и ласково сказал:

— Буне сара, — и тут же перевел: — Это будет добрый вечер.

Он похлопал по плечу сына, подтолкнул его вперед:

— Ну, смелей, Санду!

Наташа застеснялась и убежала. Потом мама ей выговаривала:

— Дикая растешь. Люди с другого края света приехали, а ты...

Мама рассказала, что жильцы их эвакуированы из Бессарабии. По дороге во время бомбежки у Санду погибла мать. Они не успели ее похоронить.

— Сам-то он хирург, — сказала мама. — Очень, говорят, хороший. В тутошнем госпитале будет работать. Только вот беда, по-русски плохо говорит, все румынские слова вставляет... А мать у них по-нашему

хорошо знала. Ты с парнишкой поласковой. Понимать надо...

Наташа видела несколько раз в дверную щель, как рыжий Санду, оставаясь один, плакал, прижавшись к стене. Она понимала, почему он плачет, и тоже, стоя у дверей, кусала губы, чтобы не всхлипнуть, и начинала плакать.

Они подружились. Санду знал много такого, о чем Наташа и понятия не имела. Он рассказал ей, что отец его Георгию Нестерович, бессарабский коммунист, подпольщик, сидел в Дофтани.

— А что это такое — Дофтана?

— Каторжная тюрьма.

Она не знала и что такое явки и что такое сигуранца. Все это ей рассказал Санду.

Наташу боялись на улице. Росла она озорной, драчливой, никому не давала спуска. Мальчишки говорили:

— А ей не больно. У нее одни мослы. Стукнешь, только руку отшибешь.

Теперь она выходила на улицу с Санду. Может, поэтому его никто не звал «Рыжим». Мальчишки любили зазывать его куда-нибудь в дровяник, где пахло сосновой корой, и там, в темноте, заставляли рассказывать про подпольщиков.

Георгий Нестерович оказался веселым человеком. Он знал много песен. По-русски он действительно говорил плохо, и когда что-нибудь рассказывал, то получалось это у него очень смешно.

Они прожили так почти до конца войны. Потом отцу Санду предложили переехать в Москву, в какой-то большой госпиталь. Из Москвы Наташе все время шли письма. Санду звал ее к себе, писал, что как только она закончит школу, пусть немедленно приезжает, чтобы учиться дальше в институте. И когда она закончила школу, поехала к ним.

Жили Курцы в одной комнате с кухней. Кухня была веселая, светлая и теплая. Там Наташа и поставила свою кровать. Санду учился на металлургическом, и она, не задумываясь, тоже пошла учиться на металлурга. Теперь это был высокий парень, остроум-

ный и внешне всегда спокойный. Волосы у него потемнели, но все же отливали рыжеватинкой.

Они поженились, когда Наташе было восемнадцать. Прожили вместе четыре года.

Она всегда пыталась уйти от воспоминаний, и зря, конечно, Илья Клинков заставил ее вернуться к ним. Впрочем, если она и вспоминала о Санду, то все с самого начала. Ей казалось, что нельзя оторвать одно от другого. Правда, иногда всплывала какая-то забытая подробность, которая представлялась очень важной, но со временем опять тускнела, заслоненная главным.

Наташа и Илья вышли из парка, поднялись по гранитной лестнице. Небо за Домом Советов и гостиницей побелело, и здания стали серыми, сумрачными, с черными непроницаемыми окнами. Наташа оглянулась, увидела вершины деревьев парка. Там еще прочно держалась ночь. И Наташа пожалела, что не осталась внизу. Ей не хотелось сейчас идти к себе в номер, хотя она очень устала. Она еще раз взглянула на гостиницу и внезапно увидела, что одно из окон растворено настежь. На подоконнике сидели двое. Наташа не могла разглядеть их лиц, только видела две черные густые тени. «Ждут восхода солнца», — подумала она. И тут же решила: «И я пожду».

— Иди, Илья, — сказала. — Спасибо, что проводил. Я останусь здесь.

Он отпустил ее руку, недоуменно взглянул, остановившись на ступеньке. Лицо его при блеклых сумерках казалось серым, пепельным, как и волосы.

— Я тебя чем-нибудь обидел? — спросил он, и Наташа впервые уловила в его голосе теплую нотку участия.

— Нет, нет, — поспешно ответила она. Ничего не хотелось объяснять. — Просто я посижу вон на той скамейке.

Илья, более не спрашивая ни о чем, протянул руку.

— Ну что же, если хочется... Доброго утра. Я пойду собираться. Счастливых праздников.

Наташа видела, как легко он взбежал по последним ступенькам лестницы, словно освободившись от чего-то тяжелого, и зашагал, прихрамывая, через широкую площадь к гостинице. Шаги его гулко отдавались на асфальте. Наташа ждала, что Илья оглянется, но он отворил тяжелую дверь и исчез. Стало очень обидно, так обидно, что она готова была заплакать.

3

Она сидела на скамье под деревом. Перед ней чернела свежей землей клумба. Цветы еще не высадили, хотя и стояли теплые дни, — боялись, что ударят заморозки. Наташа вяло подумала об этом и стала смотреть на вершины деревьев. За парком, где была пойма реки, клубился синий туман, и в нем ничего нельзя было различить.

Странная какая-то у нее жизнь. Она не раз слышала, как говорили: «Наташке все нипочем. Вот характер — все отскакивает, позавидуешь». Смешные люди. Разве может человек выставлять напоказ сокровенное?.. А сколько раз она плакала по темным углам, и от этих слез не становилось легче. Потом, когда все проходило, думала о себе с отвращением: «Глупая... Типичный хлюпик. Умей отвечать за себя, черт возьми. Разве у тебя не хватает гордости сказать: «Это моя жизнь, и тут все мое»? Нюни пускать сможет каждый дурак. А ты вот попробуй смотреть на все открыто, не ханжить, не ловчить, не лицемерить... Ну?!» Шли дни, и снова неожиданно-негаданно накатывала тоска, и она забывала обо всем этом и целиком отдавалась ей, как всегда и всему отдавалась только целиком.

Как же у нее произошло с Санду?.. Наверное, не так уж много изменилось в их отношениях, когда они стали мужем и женой. Этот высокий парень и прежде относился к ней ласково, любил шутить и сам всегда смеялся вместе с ней. Он был немного старше ее. Прежде, в детстве, она не чувствовала этого, но теперь...

Наташа очень любила, когда вечерами они соби-

рались втроем в небольшой комнате на Смоленской площади. Они устраивали домашние шахматные турниры, придумывали разные игры. Отец и сын были очень похожи друг на друга. Когда Наташа и Санду поженились, Георгий Нестерович начал пропадать на ночных дежурствах, а потом незаметно переехал на кухню, на то самое место, где раньше стояла Наташина кровать. Сделал он это непринужденно и весело, так, что никто не сумел возразить. Старик любил приносить Наташе цветы.

— Это очень полезно здоровью, — говорил он. — Это даже лучше, чем простокваша по утрам. Ты верь, девочка, так говорит доктор Курц.

Вот как все это было, и, может быть, так было бы до сих пор...

В то лето она поехала на практику в Свердловск, на Верх-Исетский завод, где катали трансформаторную горячим способом. Она начала увлекаться прокатом. Тогда все говорили: «Прокат — за ним будущее». А они с Санду часто говорили о будущем.

Она писала ему чуть ли не каждый день и тосковала, если он долго не отвечал. Уже когда практика подходила к концу, Наташа услышала об арестах в Москве. Все вокруг говорили о врачах-вредителях, жадно слушали радио. А от Санду не было писем.

Наташа уехала из Свердловска, не дождавшись окончания практики. Ощущение беды не покидало ее всю дорогу. И оно не обмануло...

Она бегом поднялась на третий этаж в квартиру на Смоленской площади. Санду был дома. Она увидела его воспаленные глаза, помятое лицо. Он открыл ей дверь и прислонился к стене.

— Что случилось? — почему-то шепотом спросила Наташа.

— Папу... арестовали, — сказал он и пошел в комнату. Спина его вздрагивала мелко, как от озноба.

Они не спали всю ночь. Санду ходил из угла в угол, ходил и молчал, охватив плечи длинными руками. Наташа сидела в углу на кровати и смотрела,

как ходит Санду. В какую-то минуту ей сделалось страшно. Она подумала, что все эти дни без нее он тоже ходил вот так же.

— Ну, скажи же что-нибудь! — не выдержала она.

Он вздрогнул, пожал плечами:

— Я не знаю.

Она сидела и думала: «Тут какая-то ошибка. Георгий Нестерович не такой, не может быть таким. Сидел в Дофтане. Его знают товарищи в Румынии. Они были вместе... Недавно прислали брошюру о подпольщиках. Там есть протокол сигуранцы. Его допрашивали. Он никого не выдал... Нет, тут ошибка. Как не понимает Санду?.. Может быть, те, другие, но только не он... Надо все узнать... Хлопотать».

Наташа спросила:

— Ты ходил куда-нибудь?

Санду пожал плечами.

— Он ведь не виноват, понимаешь?.. Ты понимаешь?

Санду повернулся к ней. Она увидела его большие, очень усталые глаза.

— Я не знаю, — сказал он растерянно.

Она подумала, что с ним сейчас нельзя об этом говорить, лучше потом, пусть он немного придет в себя.

Наташа сама написала в прокуратуру, в газету, в Моссовет, но не получила ответа. А Санду все молчал. Внешне он стал спокоен и много занимался. Он любил теперь заниматься по ночам. Ему нужно было к весне закончить дипломный проект.

И тут пришла новая беда. Наташа узнала в институте, что Санду готовятся исключить. Она узнала это случайно от знакомой секретарши заместителя директора по учебной части.

Тогда Наташа сама пошла к заместителю. Это был благообразный, вежливый человек с выхоленным гладким лицом. Говорил он негромко, мягко улыбаясь, и причмокивал губами, словно съел что-то очень вкусное. Он сказал:

— Вы хорошая девушка, Василькова. Мой совет: вам не надо бы портить биографию... У вас, кажется, нет детей?

Наташа не сразу поняла, о чем он говорит, а когда поняла, то вспыхнула, вскочила со своего места, сжала кулаки. Он смотрел на нее, и она видела по его глазам, что ему нравится сейчас смотреть на нее. Это злило еще больше.

— Гадина! — крикнула она, не сумев сдержаться, и выскочила из кабинета.

Она шла домой и плакала; хотела помочь Санду, а теперь выгонят из института и его и ее. У подъезда вытерла слезы, попудрилась, поднялась наверх. Санду сидел, ссутулившись, за столом, работал.

Когда Наташа поднималась по лестнице, то думала: «Все сейчас расскажу... Надо уехать отсюда. Лучше всего в родной городок. Там — мама. Можно будет устроиться на завод...» Но увидела Санду, как он сидит, пишет, как рука его нервно дергается, будто что-то выщипывает, и раздумала. Легла в постель. Уснуть не могла. Она смотрела на Санду. Теперь это был совсем другой парень. Почему он перестал регулярно бриться? Надо ему сказать. А то у него щети-на рыжая, колючая...

Она видела, как Санду расхаживал по комнате, потом надел пальто. Наташа хотела его остановить, но не смогла. Санду ушел, и Наташа уснула.

Он разбудил ее спустя несколько часов. Стоял возле постели на коленях в пальто, зимней шапке и плакал.

— Не пугайся, Наташа, не пугайся... Очень большое горе.

Она не испугалась, лишь оцепенело смотрела на него.

— Умер Сталин, — сказал Санду.

Несколько дней они толкались на улицах. Люди ходили с черными повязками на рукавах. И так же, как и остальные, Наташа думала: «Что же теперь будет?»

Однажды они шли по Пушкинской. Неподалеку от Столешникова переулка их остановил истеричный

женский крик. В воротах стояла пьяная, растрепанная женщина. Седые волосы свисали на красное с синими прожилками лицо. «Это они его... врачешки», — вопила она. Люди проходили мимо, сторонясь.

Санду вобрал голову в плечи, ссутулился и, опустив Наташину руку, быстро свернул за угол. Наташа догнала его. У Санду дергалась небритая щека.

— Что с тобой? — спросила она.

Он не отвечал, шел быстро. Дома долго ходил молча по комнате, охватив плечи руками. Он научился молчать. Его так и не исключили из института. Об этом словно забыли и больше не вспоминали. Месяца через два после похорон Сталина вернулся домой Георгий Нестерович. Внешне он был таким же, как всегда. Шутил, спустя несколько дней принес Наташе цветы и сказал свое обычное:

— Они очень полезны здоровью.

Он сумел сделать так, что его никто не расспрашивал, что было с ним за это время, и все постепенно привыкли... Опять были домашние шахматные турниры и праздничный обед в «Праге» в честь получения Санду диплома. Все, казалось, было так, как и прежде. Но нечто незримое, от чего нет-нет да и сжималось сердце, поселилось в комнате на Смоленской площади. И его нельзя было ухватить, нельзя было понять. Нечто чужое стояло в углах, когда отец и сын склонялись над шахматной доской, оно четвертым садилось за обеденный стол и бодрствовало у окон по ночам. И Наташа чувствовала это, когда перехватывала внезапный взгляд Георгия Нестеровича. Взгляд был тяжел, холоден и тосклив. Прежде старик никогда не смотрел так на сына, и Санду, не выдержав, опускал глаза, и лицо его в это мгновение становилось таким же, каким было в ту ночь, когда он ходил по комнате и отвечал: «Я не знаю...»

Их разговор она услышала случайно. Дверь была не заперта. Из кухни донесся голос старика: «Тебя вызывали?» — «Нет... Я сам», — ответил Санду. Больше она ничего не услышала. Отец и сын замол-

чали, они увидели ее. Тогда Наташа не придавала значения этим фразам. У нее в тот день была радость. Она сдала экзамен, и хорошо сдала. А когда у человека радость, разве он задумывается над случайно услышанными словами?

Она вспомнила их потом, много дней спустя. Ночью проснулась как от толчка. Ей почудилось, что кто-то притаился у окна. Наташа вскочила, отдернула штору. Блеклый, рассеянный свет уходящей ночи вошел в комнату. И при нем она увидела лицо Санду. Оно казалось обрюзгшим, рыхлым, с неприятной желтизной. И тогда она вспомнила тот разговор на кухне. Ей стало страшно.

— Санду, — позвала она, — Санду...

Но он не просыпался. Наташа забилась в угол кровати, поджав под себя ноги, и смотрела на него. «Не может быть... я все выдумываю», — пыталась успокоить себя она.

Но чувствовала, что нужно немедленно, сейчас же узнать всю правду, и опять начала его будить. Он вскочил, испуганно сел на кровати.

— Санду, — сказала она, холодея. — О чем вы говорили с отцом на кухне? Что вы от меня скрываете?.. Только скажи мне правду, слышишь, Санду? Мне очень надо знать правду...

Он молчал. И так было долго, и она еще раз спросила его. Тогда он всхлипнул, неестественно, без слез, и стал рассказывать... Так Наташа узнала, что в тот же самый день, когда она ходила к заместителю директора, Санду отнес заявление в институт. Он тоже знал, что его собираются исключить, и не хотел, чтоб его исключали. Он написал в том заявлении, что больше не считает Георгия Нестеровича своим отцом...

После той ночи они стали ссориться. Сейчас даже трудно вспомнить, из-за чего, но именно после той ночи — это она знает твердо. Ссоры были мелочными, нудными и липкими, от них долго оставался на душе осадок; какая-то мелочь цеплялась одна за другую.

И так тянулось с год. Она очень устала, больше, чем за все то время, пока не было Георгия Нестеровича. И когда они опять поссорились — кажется, не туда положила его чертежи, — она вдруг поняла: «Все расклеилось... Надо уходить».

Она ушла днем. Все были на работе. Она собрала свои вещички в чемодан и уехала к девчонкам в общежитие. Санду приходил к ней несколько раз, просил вернуться, даже плакал. Но ей не было его жаль. Девчонки называли ее «жестоккой», говорили, что он ее очень любит. А ей не было его жаль. Почему? Она не могла объяснить, да и не хотела. А потом, закончив институт, Санду уехал на Восток.

И еще одно было... Однажды видела на Арбате, как переходил улицу Георгий Нестерович. Он шел, опираясь на палку, внимательно поглядывая по сторонам. У нее сжалось сердце. «С палкой стал ходить», — подумала Наташа. И тут же пришла мысль, что Георгий Нестерович мог понять ее уход по-своему. Она испугалась.

На следующий день направилась в больницу, где работал Курц. Он вышел к ней в халате, не удивился, усадил в кресло. Наташа стала объяснять ему, но сбилась и так и не могла найти нужных слов. Георгий Нестерович встал, погладил ее по волосам.

— Я все знаю, девочка... Старик Курц не мог думать о тебе плохо. Ты хороший, честный человек, девочка.

Он насупилсь, подошел к окну и долго стоял, заложив руки за спину.

— Это большое несчастье, — наконец сказал он, — но что тут поделаешь? Можно быть слабым человеком, очень слабым. Я видел слабых людей и в Дофтане. Но даже слабый человек не имеет права не верить... Мы всегда верили. И там, когда я был подпольщиком, и сейчас... Очень важно, девочка, чтоб человек верил, тогда он может победить свою слабость... Ты понимаешь меня?

— Да, — сказала Наташа.

Он наклонился, поцеловал ее волосы и поспешно ушел. А она разревелась тогда, как дура...



Вот как все это было.

Наташа сидела на скамье и смотрела, как вставало солнце. Туман, что плавал над речною поймой, сперва побурел, будто в парке в лесах по ту сторону зажгли старые пни и это от них потянулся густой, тяжелый дым, а затем посветлел, зазолотился, и по небу заскользили попеременно желтые, красные, зеленые полосы. Нежная хрусткая тишина установилась вокруг. Наташа оглянулась на гостиницу, чтобы посмотреть: в окне ли те двое. Розовый луч теперь лежал на стене дома. Наташа встала со скамьи и хорошо увидела в растворенном окне мужчину и женщину. Они сидели очень близко друг к другу и смотрели в сторону реки. Наташа не выдержала и помахала им рукой. Они заметили ее и тоже в ответ дружно помачали.

По случаю праздника в гостинице оказалось много свободных мест. Суровая администраторша, просмотрев паспорта, сказала простуженным голосом:

— В один номер пустить не имею права. Снимайте два.

— Это почему? — спросил Виктор.

— Потому что вы не муж и жена.

Виктор опешил.

— То есть...

— Вот вам и «то есть», — сердито перебила администраторша. — Чем докажете, что состоите в браке?

Саша склонилась к окошку, насмешливо посмотрела на нее.

— А муж и жена — это только те, у которых в документах отметки?

— Какой может быть вопрос!

— Тогда у нас многих мужей и жен не досчитаются.

Администраторша не поняла, повертела в руке паспорта.

— Так выписывать вам два номера?

Виктору стало весело.

— Черт с ним, пусть будут два. Поживем, как боги, — у каждого своя квартира...

Номер, где поселился Виктор, был солнечный, веселый, с ванной комнатой. Он долго смотрел на это кафельное чудо с никелированными краниками. Захотелось тотчас вымыться, одеться во все чистое. Он открыл краны, разделся и с блаженством опустил в голубеющую воду.

— Хорошо, — сказал он. — Ух, хорошо! — и засмеялся.

Он подумал: как давно не видел всего этого: чистой комнаты, новой одежды, вдоволь горячей воды, как давно не слышал городского шума. Три года... Сначала на Севере, а потом здесь, в лесной российской стороне. Возникло чувство, будто мир заново открывается перед ним. Оно, это чувство, наполняло

его ожиданием, предвкушением небывалых дней, когда все можно, все доступно.

Он долго лежал в ванне, тер свое крепкое тело, фыркал от удовольствия и, растеревшись докрасна мохнатым полотенцем, вдыхая в себя запахи белья, оделся, упал на диван и закурил. Вспомнилось, что еще вчера он был там, в лесах, и собирался в дорогу вместе с Сашей Волковой. В поселке строили подстанцию, торопились, работали без продыха. Женщин было мало: двое монтажниц да девчонка в столовой. Про них болтали разное. О Саше старались не говорить. Никто не знал ее прошлого, да и не пытался узнать. Даже когда Саша пришла к Виктору и поселилась в его комнате, не было обычных в таких случаях шуток. Приняли это событие как будничное: мол, ее право, как хочет, так и живет, а наше дело — сторона.

Подстанцию сдали перед праздниками, получили расчет, премиальные. Был митинг, а вечером собрались в столовой. Монтажники и строители разъезжались кто куда: одни — погостить в родные края, другие же сразу завербовались на стройки. Виктору ехать было некуда, и он решил поначалу двинуться в соседний город, а оттуда на юг, к морю...

Саша сидела за столом рядом с ним. Взгляд ее черных сухих глаз был жестким, но скуластое смуглое лицо чуть зарозовело. Серый, из тонкой шерсти свитер обтягивал ее тугую грудь, угловатые плечи. Виктор видел, как кое-кто из ребят косился на Сашу, но, встретившись с ней глазами, тут же отводил взгляд.

Расходиться стали, когда погасли за окном мохнатые желтые звезды. На выходе к Виктору подошел Степан Бегунов, с которым сдружились еще на Севере, постоял без шапки, обнажив белокурую путаницу волос, потом поднял свои застенчивые глаза, обнял приятеля и поцеловал. Повернулся к Саше и тоже, охватив ее своими ручищами, поцеловал в губы.

— Смотри мне, береги парня, — сказал сурово.

— Ладно, — ответила Саша.

Виктор видел, как шел Степан в предрассветном

тумане к своему бараку, и оборвалось что-то в душе, захотелось крикнуть, остановить, кинуться за ним, но Саша положила свою горячую ладонь на руку, и от этого сразу же стало спокойней.

— Встретимся еще, — Виктор вздохнул, хотя знал, что через неделю Степан уезжает в Сибирь и только крайний случай может свести их.

А через два часа Виктор Сухинин и Саша Волкова ехали в гремящем самосвале по шоссе. Там они пересели на автобус, доехали до города. Поживут два-три дня, чтоб купить обновы, а дальше поезд увезет их на юг, где буйствует весна и блаженное тепло наполняет ленивым спокойствием душу.

«Эх, жизнь летит, грохочет на стыках, и не замечаешь ее радостей. А они есть, есть, черт возьми! Жаль, если мелькнет все да так и не увидишь настоящего. Хорошо, что едем на море, уж там...»

Виктор радостно жмурился, глубоко затягивался папиросой и чувствовал себя легко, несмотря на бессонную ночь.

Раньше у него не было времени оглядываться назад. Три года, как один день, с тех пор, как уехал на Север. Там жили в лесу, нарыли землянок. Сначала было одиноко, беспомощно, казалось, никогда не сможет сойтись с этими людьми, малоразговорчивыми, суровыми. Что было бы с ним, если бы не Степан Бегунов?.. А потом Саша...

Впрочем, Сашу он встретил уже, когда ехали с Севера в здешние места. Их перебрасывали быстро, эшелонам, в товарных вагонах, как во время войны. Никто толком не знал, как попала эта женщина в вагон. Ведь ехали всей бригадой, и только она одна была не из «своих». Пробовали с ней шутить, но она так отрезала, что сразу пропала охота задирать ее. А после все случилось как-то странно.

Жили в лесном поселке. Как-то само собой вышло, что после смены он шел домой вместе с Сашей. Тропа тянулась вдоль леса, и оттуда по-осеннему пахло мокрым листом, прогорклыми мхами.

Они мало разговаривали. Иногда останавливались и слушали, как вздыхает, шумит полусонный влаж-



ный лес. У него еще не было в жизни женщины, да он и не думал так о Саше. Просто ему было хорошо после работы бродить вместе с ней.

И все же пришел вечер, когда он увидел совсем близко ее темные большие глаза, ощутил запах ее волос и потянулся к ней, прижал к себе. Саша вырвалась, оторвала его руки, отстранилась. Виктор испугался, застыдился и пошел прочь. Она догнала его, остановила.

— Я не хотел, — сказал он тихо.

— Знаю, — Саша вздохнула, и ему показалось, что у нее ослабли плечи. Виктор взял ее горячую шершавую руку и, сам удивляясь себе, сказал:

— Только люблю я...

Саша наклонилась, и он услышал, как она прошептала:

— Я приду к тебе...

— Как? — не понял Виктор.

Тогда голос ее стал тверже:

— Совсем... Понимаешь?

И она пришла на следующий день. Виктор жил в комнате со Степаном. Саша принесла с собой рюкзак и чемодан, просто и строго сказала Степану:

— Перейдешь в другой барак, — и бросила на кровать Виктора свои пожитки. Степан так растерялся, что ничего не ответил, покорно собрал вещи, ушел.

Виктор удивлялся, что на людях жесткая, наедине с ним в барачной комнате она становилась ласковой и кроткой.

— Почему ты не всегда такая... там, среди людей?

— Жизнь так научила, — отвечала она. — Тратиться попусту нельзя... Понимаешь?

И он соглашался с ней, хотя чувствовал, что за ее словами много недоговоренного, неизвестного ему.

Теперь, лежа в гостиничном номере на диване, Виктор курил и думал о Саше. Ведь это из-за нее он решил поехать на юг, пусть порадует. Наверное, не так уж много радостей было у нее, он всегда догадывался об этом. Там, на юге, она отдохнет, там уж...

Они заняли угловой столик в ресторане. Солнце щедро текло в высокие окна, падало на крахмальную скатерть, дробилось на множество маленьких огней в хрустальных бокалах.

— С наступающим... Что будем кушать? — спросила девушка-официантка в голубенькой кофточке; да и вся девушка была какая-то голубенькая, уютная.

Виктор заказал еду и бутылку пива. Чокнулся с Сашей, послушал, как тонко звенит хрусталь, сказал:

— Давай-ка еще раз, — опять чокнулся, снова послушал, наслаждаясь тихим звоном. Саша покачала головой, улыбнулась:

— Как мальчишка.

— А что, разве плохо?

Они выпили, и Виктор, закусывая, стал рассматривать людей. Все они казались необычно милыми, славными: и добродушный толстяк в защитной гимнастерке, и двое парней в одинаковых костюмах с черными галстуками на белых рубашках, и трое девушек, что пили кофе с пирожным. Девушки были нарядные, красивые, и Виктор заметил, что они, болтая, то и дело поглядывают на него. Ему стало приятно. Покопался в зеркало, которое висело над столиком, увидел свое веснушчатое лицо, гладко зачесанные каштановые волосы, широкий лоб; посмотрел, остался доволен и потянулся к бутылке с пивом, склонил ее над бокалом мягким жестом, подсмотрев его у парней в черных костюмах.

Отобедав, они вышли из гостиницы на широкую площадь и сразу же увидели почти весь город. Дома уходили вниз по холму, потом нестройными улицами поднимались на другие холмы, и повсюду их прикрывали густые заслоны деревьев. А дальше, за рекой, словно впечатанные черной тушью в небо, поднимались заводские цехи и трубы. Местами над лесом вспыхивали белые призрачные облака, и там, если вглядеться, можно было различить стрелы подъемных кранов.

Виктор и Саша долго стояли, глядя на открывшийся простор, и не хотелось никуда уходить, только стоять и бездумно смотреть на эту даль.

— Широта какая! — сказала Саша.

— А вот на море... — Виктор посмотрел на Сашу и почему-то не договорил.

Они спустились по гранитной лестнице, вышли на улицу. Здесь было тесно, шумно, рябило в глазах от мелькания лиц. Трепетали красные полотнища, шныряли легковые машины, и, стараясь перекричать городской шум, надрывался диктор по радио.

Виктор и Саша ходили по магазинам, накупили всякой всячины. Виктору нравилось покупать, он примерял куртки, узконосые ботинки, накупил галстуков. Саша с тихой усмешкой смотрела на него, но не спорила. Так они пробродили весь день, а к вечеру Вик-

тор потащил Сашу в парк. Он спешил и сам не понимал, почему спешит.

Зажигались огни; они светились редкими точками среди черных неуклюжих стволов лип. Медленно брели люди по аллее, и Виктор вглядывался в их лица. Он видел женщин, улыбчивых, застенчивых, ожидающих, видел, как неровный свет фонарей скользил по ним, то вспыхивал в волосах, то высвечивал веселые глаза, приоткрытые губы. И томяще сжалось сердце; казалось, что вот-вот должно случиться что-то совсем необычное.

Они забрели в глубь парка. Здесь уже не было прохожих.

— Идем назад, — сказала Саша.

В это время Виктор увидел совсем близко, как парень целовал девушку. Это было шагах в пяти. Девушка отталкивала парня, желтоватый свет фонаря упал ей на лицо, и Виктор отчетливо разглядел его: чуть курносое, гладкое, с припухлыми яркими губами. Девушка тихо смеялась, счастливая, но все отталкивала от себя парня: «Не надо же, не надо...»

Саша тоже заметила их, потянула Виктора за рукав, и они пошли быстро, выбрались из парка, поднялись опять по гранитной лестнице.

В гостиничном ресторане играла музыка. Они сели за тот же столик, и та же голубенькая официантка принесла им еду. В ресторане было шумно и дымно, пахло подгорелым мясом. На скатерти остались ржавые пятна соуса. Виктор почувствовал себя очень усталым, ел с неохотой. Искоса взглянул на Сашу. Она сидела, согнув плечи, и они некрасиво топорщились под свитером. Щеки ее были обветренны, у глаз образовалось несколько морщинок, и на скатерти лежали слишком большие руки. «Зачем она носит этот свитер? Он вовсе ей не идет», — подумал Виктор и отвернулся. Перед глазами всплыло девичье лицо с припухлыми губами, лица женщин... Те умеют одеваться. У них все красиво... Виктор стал смотреть на людей в ресторане, видел в табачном дыму обнаженные плечи, крашенные губы. Он ничего этого не знал

или забыл там, в лесу. А вот теперь... Теперь у него Саша. Зачем? Тоскливо заняло на душе...

Он крикнул официантке, чтоб принесла ему водки.

— Не надо, — строго сказала Саша и встала. — Идем.

Он увидел ее сухие черные глаза и покорно поднылся...

Окно его номера выходило в сторону реки. С высоты четвертого этажа была видна залитая сизым светом пойма. Лес затаился черной грядой, и видно было, как вспыхивают над ним маленькие фиолетовые звезды, вспыхивают и гаснут, словно сигналият кому-то. Виктор знал, что это огни электросварки.

Огромный подлунный мир, который лежал за окном, дышал весной, любовью, страстью.

В номере не зажигали света. Лунный луч падал на диван, где сидела Саша. Она сбросила туфли, подобрала под себя ноги. Когда Виктор полез за папироской, попросила:

— Дай и мне закурить.

Саша не курила, но иногда неожиданно просила папиросу. Он протянул ей пачку, зажег спичку, увидел склоненное лицо, жесткую складку меж бровей.

— Знаешь, Витя, — ровным голосом сказала Саша, — я не поеду с тобой на юг...

Он насторожился. Только что, стоя у окна, думал: надо быстрее уезжать.

— Почему? — спросил Виктор.

Она молчала. Было видно, как в углу дивана то вспыхивает красной искрой, то пригасает папироса.

— Я тебе не говорила, Витя, у меня был парень, — все так же ровно ответила Саша. — Полтора года жили...

— Где же он?

— Убили на Севере... Ножом. Девчонку полез защищать.

— Зачем? — не понимая, что говорит, но чувствуя, как все похолодело в нем, спросил Виктор.

— Такой был парень. — Саша помолчала и тихо, вздохнув, сказала: — Жаль...

Он едва различал ее. Саша по-прежнему сидела

в углу дивана, поджав под себя ноги. И ему показалось, что сейчас она встанет и уйдет. Тревожно перехватило дыхание.

— Саша! — позвал он. — Саша!

Она поднялась с дивана, подошла к окну, и Виктор увидел в лунном свете большие темные глаза.

— Саша, Саша...

Раскрыв настежь окно, они сидели на подоконнике, смотрели, как над рекой и старинным парком трепещет сизое лунное марево. «Как же я могу без нее? — думал Виктор. — Как же...» И все, что охватило его совсем недавно, там, внизу, в ресторане, ушло далеко, так далеко, будто и не было.

Саша склонилась головой на его грудь, показала рукой в ту сторону, где над лесом вспыхивали и гасли крохотные фиолетовые звезды.

— Мы поедем туда, — сказала она, — там сейчас хорошо...

— Да, — ответил он, — там хорошо.

И подумал, что еще успеет дать телеграмму Степану Бегунову, чтобы и тот ехал сюда. Зачем обязательно в Сибирь? Тут работа найдется, а терять друга друга нехорошо. Ничего нельзя терять из того, что дорого.

5

Задыхаясь от страсти, за окном ворковали голуби. Они были черные, с сизым отливом. Расхаживали по карнизу, распушив перья, сходились в драке. Илья постучал по стеклу, но голуби не улетели, лишь один из них наклонил голову, посмотрел маленьким злым глазом.

— Черти, поспать не дают, — сказал Илья и пошел умываться.

Он прилетел из Москвы ночью. Поспать пришлось не более четырех часов. Разбудила эта возня за окном: голуби дрались из-за самки, глухо трубили.

Вода в кране была теплая. Илья сердился: надоела неустроенная жизнь, гостиница с ее шумным коридором, испытующими взглядами дежурных по этажу, пьяными песнями по вечерам за стеной; надоело жить

без Клавы и Вики, без всего того, к чему привык дома. Самарин отпустил его на пять дней в Москву на праздники. Это было нарушением. А Илья не любил нарушений, даже если за них должен отвечать не он, а другой. Он пробыл в Москве три дня: два праздничных и один свой выходной. Заранее знал, что в цехе его встретят усмешкой: «Вот дурак, человеку дали возможность побыть с семьей, а он...» А он не хочет быть обязанным Самарину, как и вообще никому не хочет быть обязан. Тот, конечно, скажет: «Вы, Клинков, педант. А педант — это скучно». Так же он сказал, когда произошла история с маслоаккумуляторами. Перед пуском цеха в последний момент обнаружили, что на баллонах нет клейма котлонадзора.

— Пойдем на риск, Илья, — сказал Самарин, — подпишите разрешение на пуск. Самое большое, что сделает котлонадзор, — оштрафует. Я найду деньги, компенсирую вам.

— В каждом баллоне — двести атмосфер давления. Без котлонадзора не могу, — сказал Илья.

Самарин спорить не стал, сам подписал документы. Цех пустили, и в тот же день приехал представитель котлонадзора. Самарин объяснил ему, что тот сам виноват, опоздал, мол, надо было приезжать раньше. Представитель выписал квитанцию на штраф пять рублей.

— Вы отлично знаете машины, Клинков, — сказал Самарин, — но вы академист. На производстве без риска — все равно, что на паруснике без ветра.

Черт с ним, с Самариним. Пусть говорит, что хочет. И никакой он, Клинков, не академист. Если он пришел на завод из исследовательского института, то это еще ничего не значит. Во-первых, он еще до института работал на заводе, а во-вторых, в институте он только тем и занимался, что мотался по всем заводам страны. И знает он производство не хуже Самарина. Просто Илья не хочет нарушать законы. Он уже научен опытом. Самарину нравится это делать, пусть делает, но без него...

Он пробыл в Москве три дня, но это были его дни, и он мог отдохнуть спокойно. Девятилетняя Вика

встретила его неистовым визгом. Клава кинулась к нему и заплакала. Он всегда говорил, что она плачет невпопад. От нее домовито пахло сдобным тестом, духами «Красная Москва». Он заметил, что она немного похудела, но это шло ей, она стала моложавее. Когда-то Клава была совсем худенькой, но после того, как родила Вику, окрепла, пополнила.

Три дня он был только с ними, с Клавой и Викой, никого не звал в гости, никуда не наведалься сам. Вместе обедали, бродили по Москве, сидели у телевизора. Клава рассказывала новости про соседей, говорила, что в библиотеке, где она работает, придумали продавать читателям новинки, так что у них теперь не только библиотека, но и магазин, поэтому работы прибавилось. Спрашивала, скоро ли Илья забереет их всех к себе, и, узнав, что квартиру дадут не ранее июля, огорчалась, но тут же опять начинала хлопотать, смеяться, рассказывать. Она сшила себе новый бежевый костюмчик и несколько раз надевала его, спрашивала:

— Ну как, хорошо?

И он неизменно отвечал:

— Даже очень здорово, — хотя не мог понять, хорош костюмчик или плох.

Он видел, как она счастлива, и радовался. Это были хорошие три дня. Илья отлично отдохнул.

Стоило же ему сесть в самолет, вспомнить о заводе, как радость сразу же померкла. Он стал вспоминать все, что было перед отъездом. С Самариним у него с самого начала сложились не очень хорошие отношения. К этому человеку Илья испытывал двойственное чувство: нравились его непринужденность, умение легко и просто вести себя со всеми, находить нужный тон в любом разговоре. Но уж очень Самарин был замечен, а Илья не доверял таким. Сам замкнутый и внутренне застенчивый, он чувствовал себя проще с людьми малозаметными, скромными.

Конечно, этого высокого насмешливого человека нельзя было назвать пустым. К Самарину прислушивались, его даже любили. И все же в нем было что-то такое, что заставляло иных, в том числе и Илью,

все время держаться настороже. И Самарин чувствовал это. И хотя все это было неприятно, сейчас другое вызывало в Илье досаду.

Он вспомнил вечеринку у Самарина, невесть для чего задуманную, вспомнил, как бубнил в ухо Росляков: «Такая кутерьма на заводе, хоть праздник отменяй, а этот затеял выпивон в будни». Илья тогда не сдержался и сказал Рослякову: «Хватит без конца об этом!» Тот посмотрел на него из-под очков своими выпуклыми, рыбьими глазами, сердито и недоуменно пожал плечами. Старая перечница! Привык угождать, так сидел бы уж и молчал. Самарин, видимо, любит таких. Исполнителен и точен. Железная чиновничья хватка: всюду поспевать за чужой мыслью, не предлагая своей. Приказом директора этого начальника «из тех» закрепили за цехом, пока не освоят трансформаторную... Да бог с ним, с этим Росляковым, его не переделаешь, хотя и обидно, что приходится с таким работать бок о бок.

Самое нехорошее, конечно, вышло после вечеринки. Эта девчонка... Илья отлично помнит, что когда поднялся к себе в номер, чтобы собрать чемодан, то думал о ней с раздражением: нахваталась красивых слов, скачет от одной истины к другой. Его всегда удивляло: зачем такие идут в металлургию? И, как нарочно, становятся металловедами. Кто-то придумал, что это женская профессия. Черта с два! Сейчас без металловеда и шагу не сделаешь. А эдаким девицам порхать бы на танцплощадке, а не заниматься сталью.

Он собрал чемодан, покурил, сидя у себя в номере. До отлета оставалось часа два, и можно было не спешить. Он медленно оглядывал приевшийся номер: старую деревянную кровать, зеленый до ряби в глазах «Девятый вал» над нею, облезлую тумбочку с телефоном, — и с наслаждением стал думать, что скоро, всего через несколько часов, будет дома. Но девчонка не выходила из головы. У нее внимательный взгляд очень открытых, каких-то прозрачных глаз. Когда он шел с ней рядом, то все время ощущал каждое ее движение и ему казалось, что она в любую

минуту может отмочить самое неожиданное: перепрыгнуть через перила моста или убежать за деревья парка. Бог знает, что лезло в голову. Может быть, это от выпитой водки?..

Он поспешно позвонил, пришла коридорная. Илья сдал номер и вышел из гостиницы. Над площадью и одетой в красное трибуной струился розовый веселый свет, и в огромном небе, над черной полоской леса, что видна была отсюда, шло движение желтых, зеленых, ярко-красных полос. Они сливались друг с другом, мешались, и эта беззвучная борьба цвета была так ослепительно ярка, что заставила Илью остановиться, затаить дыхание. Она длилась, может быть, всего несколько секунд, и, когда кончилась, в небе уже властвовал в полную силу солнечный свет. Илья поставил чемодан на ступеньку и посмотрел туда, где начиналась лестница.

Наташа сидела на скамье. Он хорошо видел ее склоненную голову и падающие темно-русые волосы. Илья подумал, что, наверное, обидел ее, наговорил грубостей. Первым желанием было подойти к ней, но он застыдился, растерялся и, подхватив чемодан, поспешил свернуть за Дом Советов, где была трамвайная остановка.

Дома, в Москве, он забыл обо всем. Теперь же, едва проснулся от голубиной возни за окном, вспомнил, и эти воспоминания вызвали саднящее раздражение. Илья умылся теплой водой, взглянул на часы, прикинул, что еще успеет до начала смены позавтракать внизу, в гостиничном буфете.

Он пришел в цех с небольшим опозданием. В этом огромном здании, сложенном из светло-серого кирпича, все еще было новым. Пахло известью, масляной краской, машинным маслом. Гигантским клетчатым экраном вздымалось кверху боковое окно, и в него текло слепящим потоком солнце. Оно сверкало на полированных частях машин, трепетало голубоватым маревом над синими рулонами еще не остывшей стали, поданной из цеха горячего проката. И хоть на улице светило это же солнце, в цехе оно казалось ярче, и Илья невольно прищурил глаза. Он миновал травиль-

ное отделение, прошел по пустому пролету, где лишь начинался монтаж второй очереди оборудования и вверху, под сводами, по-птичьи прилепились сварщики, разбрызгивая искры голубого огня, и вышел к станам. Тут он подумал, что сейчас может встретить Наташу, и стало неприятно, будто он был виновен перед ней. «Вот ведь ерунда какая, — подумал он. — Вот ведь ерунда... Да мне-то что до нее!» Но замедлил шаг и посмотрел вверх, словно наблюдая за работой мостового крана. Потом скосил глаза и увидел, что возле пятиклетьевого стана собралась группа инженеров, вальцовщики и среди них — Самарин. Наташи не было. И ему стало досадно...

Илья сразу понял, что пятиклетьевой остановился, и вид этой мощной бездействующей машины вызвал в Илье тоскливое чувство. И хоть он отлично понимал, что иначе сейчас и не может быть, его раздражала непривычная тишина огромного красавца цеха. Он сразу же забыл о Наташе и обо всем, о чем только что думал.

Самарин издали заметил Илью, поднял руку для приветствия.

— Отлично, что приехал, Клинков, — громыхнул он своим раскатистым, бархатистым голосом.

Однажды Илья не удержался, спросил Самарина: «Вам не приходилось играть на сцене?» Самарин засмеялся: «Вы что, сговорились?.. Уж третий спрашивает об этом... Нет! Я потомственный металлург. Отец на ВИЗе прокатчиком работал...»

— Отлично, что приехали, — еще раз повторил Самарин, пожимая руку Илье. — Давят на нас со страшной силой... Через часок оперативка. Жду у себя. Ну, как праздновала столица нашей Родины?

— Неплохо, — скупо ответил Илья. Ему не хотелось сейчас говорить с Самариным, он все еще чувствовал себя невыспавшимся, и возникшее утром раздражение не проходило. Самарин, видимо, понял его, похлопал Илью по плечу и пошел вдоль стана вместе с вальцовщиками.

Илья медленно оглядел листы стали, что лежали

на бетонной площадке, — согнутые, с зазубренной кромкой рулоны. Все это было искорежено, раздавлено, словно после сильного взрыва. «Ночью пробова-ли катать трансформаторную», — отметил про себя Илья и подумал, что на оперативке опять будут споры, ругань, длинная речь Самарина. Неудача за неудачей... И он снова вспомнил об аккумуляторах в маслоподвале. Эти чертовы аккумуляторы не давали ему покоя. Да и весь маслоподвал. Изоляция скверная, а там открытые емкости, масло... И все это под станом. Что из того, что их зарегистрировал котлонадзор? Для Самарина этого достаточно. Мол, в ответе не мы, а они. Но Самарин не знает еще самого главного...

Когда Илья впервые приехал на завод, монтаж оборудования уже заканчивали. Он стал искать документы на аккумуляторы и механизмы маслоподвала, но не нашел. Потом уже выяснили, что оборудование два года валялось под открытым небом, пока строили цех. Хозяйничали здесь. Мало ли что могло случиться за эти два года! А вдруг трещина в металле? Надо остановить цех на несколько дней и проверить эти аккумуляторы под давлением, просветить. Илья сказал об этом Рослякову. Тот посмотрел на него, как на сумасшедшего. Остановить цех? Сейчас? Когда и так ничего не выходит с прокатом? Дикий бред! Росляков так и сказал:

— Да ты знаешь, что за это? Да ты знаешь?.. За твою бредовую идею башку всем тут снимут... Ишь какой осторожный! Балерина на веревочке.

Это сказал Росляков и оглянулся: не слышал ли кто?

«Бред...» А достаточно искры, достаточно маленькой трещины, и случится беда, вся эта многотонная махина превратится вот в такой же искореженный лом, как эти листы на бетонной площадке. Риск... Он понимает, что такое риск. Но тут не риск, а безалаберщина. Все орут: давай, давай быстрее, лишь бы отрапортовать о пуске. Делать быстро — это еще не значит делать тят да ляп... А с Самариным лучше сейчас и не говорить. Все доводы разобьются, как

о каменную скалу. Разве же такой, как он, остановит цех?

Илья сердито закурил, подошел к паротушителю, потрогал вентиль. Надеяться только на эту штуку — значит все время ходить по краю пропасти. Может быть, он, конечно, преувеличивает. Может быть, ничего страшного и нет, ведь котлонадзор... Ну, уж нет! Он должен проверить механизмы маслоподвала. Он тоже хочет быть спокойным. Вот наладят с прокатом, и тогда пусть хоть все начальство хватит инфаркт, а он остановит стан. Где, где, а здесь рисковать нельзя. В каждой смене — четыреста рабочих. Не до шуток. Пусть его называют педантом, бюрократором, хоть ослом. Он своего добьется. Он пойдет в заводской партком. Там сейчас молодой секретарь, из инженеров. Все-таки металлург и разбирается в прокате. Илье понравилось, как этот парень, низенький, рыжеватый, с тихим голосом, говорил на последнем собрании: «Поменьше, товарищи, словесного шума. Мне непонятно, когда кричат: «Получим трансформаторную во что бы то ни стало!» Да, нам нужна сталь очень. Как воздух нужна. Но нам вовсе не безразлично, во что она станет...» Он смотрел на людей задумчивыми, удивительно спокойными глазами. Илье нравилось, как он смотрит. Конечно же, им не безразлично, какой ценой добьются они стали. Да, если надо будет, то Илья пойдет к нему, хотя и не хочется затевать драки с начальником цеха...

Надо бы еще до оперативки зайти в лабораторию. Что показала ночная прокатка?

И тут он опять вспомнил о Наташе. Там не избежать с ней встречи. Почему все-таки ему неприятно встречаться с ней? Ведь ничего особенного не произошло. Он всегда из пустяка раздувает бог весть что и мучается, как мальчишка. У него, наверное, слишком развито воображение. Довольно валять дурака!

Илья бросил папиросу в ящик для мусора, повернулся к выходу и увидел Наташу.

Там, где, клубясь, перерезал цех желто-матовый луч солнца, шел Самарин, придерживая под локоть Наташу. Илья невольно подался вперед и ощутил,

как прихлынула кровь к щекам. Он остановился и смотрел им вслед до тех пор, пока Самарин и Наташа не вышли из цеха. Только тогда он, вдруг опомнившись, почувствовал жгучую обиду и удивленно спросил себя: «Да что же это?»

6

Виктор и Саша поехали на левый берег реки, который виден был из окна гостиницы, и сразу же нашли работу. Оказалось, что там, в лесу, целый новый город: кварталы домов из серого кирпича, развороченная экскаваторами земля и тут же, у Дома культуры, огромный фонтан, подсвеченный красным огнем. Запах асфальта и сосен. Сосны стояли во дворах, теснились стайками, голенастые, непривычные к открытым местам, жались на отдельных улицах к заборам, будто стыдились, что их оставили, полуоголенных, на обзор людям... И лес. Он был всюду, сразу за домами, а к некоторым подступал чуть не к порогу.

Но главное, конечно, был завод. Что-то Виктору не приходилось прежде видеть таких заводов. По нему можно было бродить целую неделю, как по незнакомому городу, да так весь и не обойти.

Работу дали в цехе холодного проката. Кто же не возьмет слесаря-монтажника в новый цех, да еще с такой квалификацией, как у Виктора. И Саше дали работу в цехе. Она знала краны многих систем.

Нашлось и жилье — комната в общежитии для молодоженов.

— Ну вот, с новосельем! — радовался Виктор.

Саша тоже была довольна. Купила в универмаге простыни, скатерть, небольшой коврик, все в комнате вымыла, стало уютно.

Общежитие было двухэтажным, стояло на бойком месте у поворота дороги, ведущей к заводу, и мимо без конца гроыхали самосвалы, тяжелые «МАЗы» с прицепами. Они пылили, фыркали, рычали. Но зато в ста шагах от общежития начинался сосновый

лес. Оттуда тянулись запахи свежей хвои, смолы и еще чего-то неуловимого, волнующего. Особенно густы были эти запахи по ночам, и Виктор с Сашей настужь растворяли окна.

В общежитии жило множество народу. Тут были не только молодожены, но и холостяки, озорные ребята — монтажники и пожилые, строгие, одинокие рабочие. Были и молодые семьи, у которых появились дети, и семьи, в которых еще только ждали детей. Поэтому на общей кухне больше всего и было разговоров, когда отстроится тот или иной дом и кому в нем будут давать квартиры.

Саше нравилась эта суета, людские хлопоты, споры, за стеной в комнате холостяков песни под гитару. Она привыкла к шумной, многолюдной жизни и хорошо понимала ее.

Виктор наблюдал за Сашей и видел: в ней появилось что-то новое, исчезли угловатость, хмурая суровость. А может быть, он лучше узнал ее и потому теперь многое понял в ней из того, что раньше казалось загадочным? Он сказал ей:

— Ты теперь для меня совсем родная стала.

Они бродили в этот вечер по лесу. Здесь стояла мягкая, ленивая тишина. Даже шагов не слышно — так густо усеяла землю побуревшая старая хвоя. Голые черные стволы сосен окружали их, лишь впереди вдруг высветится ряд белых деревьев. «Это березы», — сказал Виктор. «Нет, — ответила Саша, — луна». И они подходили к белым деревьям, и Виктор убеждался: стояли сосны, лунный свет, пробившись, как в щель, в небольшую просеку, окрасил их в бледный синеватый цвет. Было удивительно спокойно. Даже не долетал шум машин с дороги.

— И ты мне родной, — сказала Саша. — Ты думаешь, это просто, да?.. Это когда любишь. Человек тогда совсем родной, как сын у матери. Ему все простишь, все в нем дорого... Понимаешь?

Ему стало весело от ее слов. Они вышли на поляну. Саша стояла, улыбаясь, смотрела в лес. Первые ряды деревьев опять были светлыми, матово поблес-

кивали шершавой корой, а за ними начиналась темная глубина.

— Люблю сосновый лес, — сказала Саша. — А многие не любят. Говорят, не веселый, не пышный. Смешанный или дубрава радостней... Каждому свое. А я вот такой люблю. — Она неожиданно засмеялась по-своему, глуховато. — Вот не было бы тут таких лесов, ни за что бы не осталась.

А Виктор подумал: «Ты сама на этот лес похожа». И еще подумал, что если бы не было в здешних местах таких лесов, то Саша, наверное, все равно бы осталась...

На заводе он быстро обвыкся. И после случая с агрегатом продольной резки стал своим человеком. Конечно, как всегда, в работу наладчиков он вмешался случайно. Просто Виктору для того, чтобы попасть в механическую, каждый раз надо было проходить мимо резки. Там и возились наладчики. Они запускали стальную полосу, а она то и дело бурилась. Рабочие ругались, нервничали, меняли расположение роликов, подгоняли скорость моталки. И все равно ничего не получалось.

Виктор останавливался возле наладчиков и смотрел. Он вообще любил новые машины и быстро в них разбирался. Недаром же он пошел в монтажники... Так и в этот раз он стоял и неожиданно подумал: «Да выньте вы последние ролики, вот чудак! Чего уж проще». Подумал и внезапно покраснел, испугался: не сказал ли вслух? Действительно, уж очень все было просто. Ребята же не дураки, сами давно бы могли додуматься. А тут пришел пижон со стороны и оказался умнее всех.

Он ушел к себе в механическую, но проклятые ролики все время стояли перед глазами. «Не мое это дело, там инженеры есть», — сердился на себя. А дома все же не выдержал, взял несколько листов бумаги, стал прикидывать на чертежах. Получалось все очень просто и здорово. Он просидел почти всю ночь, а утром понес чертежи в цех. К наладчикам все же подойти не отважился. Встретил в механической Кли-

кова и решил: «Вот этому дам», — протянул инженеру листки.

— Что это у тебя? — спросил Клинков.

— Насчет продольной резки... Если не подходит — верните, — смущенно сказал Виктор.

Клинков посмотрел на него, словно прощупывая, и тут же на станке разложил чертежи. Потом резким движением собрал их, зажал в кулаке, обернулся к Виктору, спросил:

— Откуда ты такой взялся?

Виктор растерянно сказал:

— Здесь... из механической...

Клинков рассмеялся. Он как-то по-особому смеялся. Его сухощавое лицо розовело, седые волосы рассыпались, в глазах зажигались, прыгали цветные точки.

— Вот молодец-то, а?.. Да ты понимаешь, чудило, что сделал? Мы с этой музыкой целый месяц бьемся... А ну, пошли!

И, схватив за рукав спецовки Виктора, потащил его к агрегату. Их окружили наладчики, рвали из рук исчерканные Виктором чертежи, оттеснили его.

— Как зовут-то?

— Виктором... Виктор Сухинин...

— Ну, а меня Ильей... Ты заходи, Виктор, ко мне, почаще заходи. Ладно?

— Ладно.

Виктору вообще нравился этот зам. начальника цеха. Была в нем какая-то ухватка: Виктор не знал, как назвать ее, да никто никогда и не называл ее особым словом. Просто говорили об инженеру: «Этот парень свой...» Что-то общее было в Илье Клинкове со Степаном Бегуновым, но не внешне, нет. Тот белокурый, в плечах широкий, и лицо доброе, а у Клинкова, хоть и молодое лицо, но усталое, а глаза жесткие, почти как у Саши. И все же Клинков был похож на Степана. Виктор еще не мог сказать чем.

Но не всем он нравился в цехе. Как-то Виктор работал с наладчиками у стана. Вальцовщики сидели без дела, покуривали в сторонке на скамейке. Виктор подсел к ним передохнуть. Прислушался, разговор

был интересный. Говорил парнишка с розовым младенческим лицом, и было смешно, что над его верхней губой узкой ленточкой отросли серые усы. Одет был паренек в модную спецовку с большими накладными карманами на «молниях». Эти спецовки в цехе называли «самаринками». Начальник цеха первый завел себе такую.

— Сейчас все решает интеллект, — говорил этот, с усиками. — Бегать по цеху и кричать: «Давай, давай!» — каждый дурак может... «Железная дисциплина, железная дисциплина!..» Тьфу твоя дисциплина, если не шевелишь мозговой извилиной. Шевели, тогда и уважать будут... Вот Самарин... А что мне ваш Клинков? Командир производства? А зачем мне командир? Я и сам могу быть командиром... А вот инженер... настоящий инженер... Тут, шалишь, не каждый может...

Такой разговор был не в новость Виктору. Он и сам не раз рассуждал о том же со Степаном. На Севере с первых дней он невзлюбил крикливых людей, матерщинников, у которых все заменялось хлестким, как удар бича, «Давай, давай!». Они называли таких начальников «выдвиженцами» и втайне подсмеивались над ними, издевались. «Выдвиженцы» любили вспоминать, как строили они в былые времена ломиком да лопатой и как сложно все это было. Виктор и другие ребята понимали, что тогда и вправду было сложно и что люди эти, может быть, сделали немало, но то, что несли они сейчас с собой: окрик, матерщину, пренебрежение к человеку, — было противно им.

Когда Виктор приехал на Север и мастер вместо того, чтобы объяснить, как сделать работу, впервые обложил его матом, у парня сжались кулаки, и он пошел на обидчика грудью. Остановил его Степан Бегунов.

— Не шуми, — сказал спокойно. — Мы с ним по-своему поговорим...

Виктор встречал людей из разных мест, с разныхстроек. Они рассказывали ему: вот в Сибири так-то и так-то, а на Дальнем Востоке так, а в Казахстане вот так. И говорили это, словно Казахстан или Даль-

ний Восток были вон за той сопочкой или леском. От этих рассказов Виктор представлял страну как одну огромную стройку, в которой края и республики, что упоминали люди, были всего лишь отдельными ее участками. И он знал, что на всех участках будет «своим человеком». Ведь те, кто работает там, давно уже приняли его в свою среду. И потому, что он это знал, и потому, что много раз думал о том же, о чем говорил этот «салажонок», не сдержался, повернулся на скамейке, сказал:

— Ты брось тут трепаться!

Усатенький вскинул на него удивленные глаза:

— Это почему?

— А потому... Усы еще не выросли о людях судить.

— Да ты что! — опомнившись, вскипел паренек.

— А то, сплетников не люблю... Понял? — подчеркнуто спокойно сказал Виктор и отошел от скамейки к наладчикам.

Потом он весь день корил себя, что не сдержался и так нагрубил.

7

А май все набирал и набирал силу. Теплые ветры по утрам быстро сгоняли с реки туман, несли на город из лесов хвойные запахи, скапливали их у окон, и по вечерам они были особенно густы, с горьковатым привкусом черемухи и отогретой земли. Едва начинал синеть воздух, люди собирались на берегу у причалов, куда уж давно нетерпеливые рыбаки свезли лодки. Говорили здесь почему-то вполголоса, жадно смотрели, как у свай крохотными стайками играли мальки, вожаденно вздыхали: «Быть теплу». Становилось все темнее и темнее, но люди не расходились, стояли у воды, слушали ее умиротворяющий плес и наблюдали, как вставала из-за леса неполная луна, сперва бурая, еще сонная. И на глазах совершалось чудо: неторопливо скользнув над заводскими трубами, луна словно вздрагивала, пробуждаясь от сна, и начинала белеть, и все вокруг становилось призрачно туманным, зеленела вода, высвечивались

на островках кусты, и с лодок отчетливей слышался шепот, смех.

Илья поздно кончал работу; в трамвае переезжал мост и шел неторопливо к реке парком. Он уставал за день от расчетов, споров, суеты, но здесь, среди людского потока, отходил и начинал думать о Наташе. Еще совсем недавно он не хотел и даже боялся этих дум, а теперь подчинился им. Он видел ее каждый день на заводе, встречал в гостиничном коридоре, иногда ужинал вместе и всякий раз взволнованно наблюдал ее. Он знал ее привычку зябко ежиться и при этом смотреть чуть насмешливо и в то же время строго. Каждый раз, когда она делала так, ему становилось неловко, будто он подглядел недозволенное. И каждый раз смущался, когда она спрашивала: «Ты что такой хмурый, Илья?» — и еще больше хмурился.

В какое-то неуловимое мгновение — Илья сам не смог бы сказать точно, когда именно и как — ее привычки, ее волосы, ее худощавое лицо с небольшими крапинками конопушек на переносице и открытым, гладким лбом стали волнующе близки ему. Он боялся выдать себя неловким жестом, взглядом, словом, старался внешне быть таким же, как всегда, и не замечал, что этим-то и выдает себя. Наташа все чувствовала и начала сторониться его. А он, не зная, что делать, становился с ней груб, резок, иногда на заводе не к месту начинал кричать на нее и тут же, когда она спокойно и насмешливо отвечала, переживал мучительный стыд. Как часто это бывает у застенчивых людей, после таких столкновений к нему приходили минуты жестокой тоски. Он не находил себе места и, усталый, издерганный за день, вечерами подолгу бродил берегом, вспоминал подробности недавних встреч с Наташей.

И в этот вечер он шел и думал о дурацком споре, который завязался у него с Самариным. Сейчас уж трудно вспомнить, с чего все началось. За день возникали тысячи всяческих дел. Он только помнил, что они остались с Самариным в кабинете. Управленческий дом еще не был закончен, и Самарин разместился в лабораторной комнате с белыми кафельными сте-

нами и большой эмалированной раковиной, куда нудно капала вода из крана. Эту комнату рабочие называли «умывальником».

Самарин сидел за письменным столом, откинувшись к спинке канцелярского кресла с деревянными подлокотниками, по привычке закинув ногу на ногу и охватив колено тугим замком крупных пальцев. Илью раздражало и нудное капание воды из крана, и эта самаринская привычка сидеть, и то, как начальник цеха выговаривал ему:

— Черт вас знает, Клинков, по-моему, вы еще сравнительно молоды, а подход у вас к работе, вы уж меня извините, типичный девятнадцатый век.

— Девятнадцатый — это слишком далеко, — пытаюсь быть спокойным, отвечал Илья. — Тогда не было таких прокатных станов.

— Вот именно, — невозмутимо подтвердил Самарин. — Тогда не было таких станов. Неужто вы всерьез думаете, что нужно самому лезть во все дырки?

— Делать свое дело — не значит лезть во все дырки.

Самарин снисходительно улыбнулся, качнул ногой, еще крепче сжал тугие пальцы, и голос его стал мягче.

— Знаете, Илья, — сказал он с дружеской участливостью, — вы никогда не слышали, как умный промышленник подбирает директора завода?.. Ладно, посидите две минуты спокойно, я вам расскажу. Берут на завод директора, он работает месяц. Заметьте, месяц! А потом гонят его в отпуск. Тоже на месяц. И если в этот срок, когда директор в отпуску, завод работает как и прежде, директора оставляют. Считается, что он хороший малый. А если завод снижает темпы, его гонят в три шеи. Железный подход, не правда ли?

Припухлое, гладко выбритое лицо Самарина с живыми цепкими глазами дружески открыто, в нем не было и тени надменности, высокомерия, какие возникают порой у людей, когда они пытаются втолковать что-либо важное собеседнику. Нет, перед Иль-

ей сидел спокойный, душевно простой человек, и все же Илье вдруг захотелось зло рассмеяться.

— Все было бы хорошо, — сказал он, с трудом сдерживая себя. — Все было даже очень хорошо, если бы этот анекдот я не слышал еще на третьем курсе, в институте.

Самарин нимало не смутился, только скинул с ноги ногу, разжал пальцы и навалился грудью на стол.

— Отлично, Илья! Но все дело, очевидно, в том, как слышать. А теперь послушайте не анекдот. Несколько слов из опыта... Я железно знаю одно: у производства есть свои скрытые законы. И один из них гласит: коллектив сильнее руководителя. Начальник — как мастер у хорошей машины. Важно сделать наладку, а дальше она пойдет сама. С этим-то, черт возьми, вы согласны?

— Отчасти.

— С какой же частью не согласны?

— Опять же насчет «дырок». Чтобы сделать эту самую наладку, и надо лезть во все дырки... А потом, странная штука получается, Игнат Лукич, я ничего не могу понять в вашем воспитательном процессе. Чего вы, собственно, от меня хотите? Чем вы недовольны?

— Милый Илья, я-то как раз всем доволен, всем! А вот вы? Вы же всех людей издергали и себя. Посмотрите в зеркало.

В это-то самое время Илья и услышал за спиной приглушенный смех и шорох. Он быстро оглянулся и увидел в углу, за небольшим столом, который отделен был от него дымчатым лучом солнца, бьющего из окна, Наташу. Черты лица ее были расплывчаты, будто просматривались через запотевшее стекло. Она, очевидно, давно сидела здесь и слышала весь разговор. В том, что Илья не заметил ее сразу и не чувствовал ее присутствия, была какая-то обидная нелепость. В первое мгновение он растерялся. Ему не понравилось, как засмеялась Наташа, будто она вела молчаливую перекилку с Самариным о чем-то, известном только им обоим, и это известное касалось прежде всего Ильи. Ему не понравилось и то, что она

вообще сидит именно здесь, в кабинете Самарина, и только что услышанное от начальника и этот неожиданный смех показались ему унижительными. Он встал, резко двинув стулом, и неожиданно для самого себя грубо сказал Наташе:

— А ты тут при чем? Не понимаю.

— Просто слушаю.

Голос ее долетел приглушенно, словно говорила она из-за перегородки.

— Здесь не студия телевидения и не спектакль по заявкам, — раздраженно бросил Илья.

— Может быть, ты не будешь говорить так грубо? — на этот раз слова ее будто вырвались на простор и стали звонкими. Илья и сам понимал, что нагрубил, и потому взорвался.

— К черту! — крикнул он. — Не завод, а бог знает что. То битых полчаса меня обучают какой-то новой системе руководства, то начинают учить галантности! А в это время в цехе стоят машины. Здесь цех холодного проката или заведение для воспитания мальчиков?

Самарин вытаращил на него глаза, лицо его вытянулось, и он расхохотался. Илья непонимающе смотрел на него.

— Да будет вам... — выдавил сквозь смех Самарин. Но это еще больше подстегнуло Илью. Он выскочил из комнаты, хлопнув стеклянной дверью, остановился в коридоре и поспешно стал шарить по карманам, ища папиросы. Услышал, как Самарин, все еще продолжая смеяться, сказал:

— Псих. Хотя сейчас же звони в завком и заказывай путевку в Кисловодск.

Илья ждал, что сейчас и Наташа засмеется. Но она не засмеялась. Он медленно пошел к цеху и думал, как все это получилось глупо, глупее не придумаешь. Идиот! Вот уж идиот! А что подумает она?..

Сейчас он шел парком. Мимо тянулись вереницы гуляющих, и они толкали Илью, а он все вспоминал и вспоминал подробности нелепой сцены. И каждая подробность: как Наташа вскинула голову, как посмотрела на него, чуть прищурив глаза, как отодвину-

ла от себя лист бумаги, и каждое ее незначительное движение теперь казалось полным смысла и значения, и, вспоминая их, Илья мучительно остро видел все как бы заново.

Он поднялся на холм, где была площадь. Тут у чугунной оградки собралось много людей, и все они стояли молча, смотрели на реку, слушали приглушенный вечерний шум города. Илья вместе с ними стоял, смотрел, слушал. Он начинал размышлять о множестве самых разных вещей, не имеющих меж собой никакой связи. И самое удивительное, что думал он о них одновременно: то мелькала у него мысль о войне, то о Самарине, трансформаторной стали, то о том, в какой цвет лучше красить лодки. И тут его охватило такое чувство, словно он хотел приподняться над всем, достичь какой-то наивысшей точки созерцания, чтобы оттуда охватить единым взглядом мир, увидеть его целиком и тогда понять всю взаимосвязь в нем.

Он и прежде, в юности, ощущал это, хотя не мог представить, как может обыкновенная человеческая мысль проникнуть сразу во все тайны и, стремительно собрав их воедино, создать цельную и ясную картину. Прежде, когда к нему приходило такое, он думал, что, наверное, это умеют делать только философы. Илья начинал читать их книги, удивлялся отдельным мыслям, покорялся им. Но чем больше читал, тем больше чувствовал: в нем живет и свой собственный мир и свое собственное представление о нем, порой не схожее с тем, что преподносили ему книги. «Просто я слишком мелко мыслю, слишком частно и не могу так широко охватить, как они». И каждый раз, когда Илья пытался собрать в единую цепь все, чему учили его в школе, в институте, чему научили книги, то неизбежно сворачивал с пути, тотчас начиная сравнивать увиденное в жизни с заученным.

А потом он понял, что думал больше всего о себе, о своей жизни. И тут обнаружил, что, прожив на свете не так уж много — тридцать пять лет, уже множество раз менял свое отношение к тем или иным явлениям. Сначала он огорчался: «Непостоянный я че-

ловек... Стержня во мне нет крепкого». Но, приглядевшись, увидел, что так живут многие из знакомых и близких ему. «Люди меняются, — думал он, — и то, что казалось им прежде истиной, потом начинает казаться нелепым и смешным. Что тут особенного?»

И сейчас, стоя у чугунной оградки на холме, он думал обо всем этом, и странно: все эти мысли успокаивали, от них становилось уютно, словно он возвращался в знакомый, обжитой дом. Иногда ему вспоминались Вика и Клава, тогда теплая ласка отдавалась на сердце и тут же исчезала. Все это, хоть и было близким, но в то же время оставалось далеким, не имеющим никакого отношения к тому, что теперь происходило с ним. Успокоенный, он пошел к себе в номер, засыпая, думал о Наташе, а утром все началось сызнова...

Шли дни, и каждый из них хоть и повторял в какой-то степени минувший, но был по-своему напряженным. Илья, вконец измучившись, решил однажды, что все это ерунда, все ему пригрезилось, он не мальчишка, да и что может быть общего у него с этой женщиной? В этот вечер он не пошел парком, а сразу поднялся к себе в номер, открыл окно. Дул ветер, дождевой, влажный, хотя небо было чистое.

Он сидел в номере, курил, чувствовал навалившуюся усталость и вяло вспоминал минувший день. Наташа спешила по пролету, и за ней рабочий нес узкие полоски стали — пробы для лаборатории. Она шла и улыбалась сама себе. Он увидел ее и подумал: «Чему она улыбается?» Очень захотелось подойти и спросить... Наташа стояла у проходной, а мимо тек плотный людской поток. Илья подумал: «Кого она ждет?» И быстро прошел стороной, стараясь, чтоб она не заметила его. Он не мог избавиться от этих воспоминаний, они были навязчивы.

Илья рассердился. «Вот пойду сейчас к ней!» Но сразу испугался этой мысли: «Да что же это я?» А испугавшись, еще больше рассердился: «Труса празднуешь?» И он, боясь передумать, стал торопли-

во повязывать галстук, надевать пиджак, долго не мог попасть в рукав, а когда, наконец, оделся, решимость еще больше укрепилась в нем: «Надо к ней».

Стараясь быть непринужденным, сам внутренне трепеща от смутного страха и стыда, он вышел в коридор. Борясь с самим собой, подошел к ее номеру и тут ослабел, хотел повернуть назад, но с непонятной решимостью преодолел замешательство, постучал в дверь. Он ждал, что никто не отзовется, но дверь открылась быстро, и он увидел в полутьме Наташу. За ее спиной на столе горела лампа под зеленым абажуром, и лицо Наташи было тусклым и расплывчатым. Илья успел лишь заметить, что она одета в домашний халат, на него пахло теплом.

— Ты, Илья? — спросила просто Наташа, будто заранее знала, что именно он должен постучать.

— Я хотел... — Она ждала, стоя у порога, что он скажет. Илья чувствовал на себе ее любопытный взгляд и все не мог придумать, что же сказать.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, — Илья поморщился, — просто я подумал, не пойдешь ли побродить со мной... Надоело, понимаешь, одному торчать в номере.

— Хорошо, — ответила Наташа. — Только — знаешь, Илья, ты подожди меня там, у коридорной... Я быстренько оденусь, — и затворила дверь.

В конце коридора был небольшой холл, там под огромным фикусом — кресло, покрытое серым чехлом, и столик с газетами. Илья сел в кресло и почувствовал облегчение. Все очень просто. Разве он и раньше не мог позвать ее побродить по городу? Они работают вместе, и в этом нет ничего особенного. И все же...

Наташа вышла, звякнула ключами. Он слышал, как она идет по коридору, мягко ступая по ковровой дорожке, и прежний страх и стыд охватили его. А когда она вошла в холл и он увидел ее, освещенную электрическими лампами, лицо с едва заметной насмешливой складкой у рта, свежеподкрашенные губы, тонкой шерсти голубоватый свитер, и всю ее — свободную в движениях, непринужденную, то в нем воз-

никло такое чувство, будто внезапно, без стука, открыли дверь в комнату, где он был один. Илья не сумел встать ей навстречу, краснея, сидел и смотрел на нее, и ему самому было нехорошо, неприятно, что он так смотрит.

— Ну, я готова, пошли, — сказала Наташа.

Он поднялся и, как всегда, чуть прихрамывая, подошел к ней, буркнул:

— Идем...

Даже в низине, в парке, чувствовалось, как задует мягкий ветер, пахнувший дождем. Может быть, где-то далеко прошли грозы и сюда донесло их влажное дыхание. Шли от реки девчонки в спортивных шароварах, мятых, мокрых, несли охапки полураспустившейся черемухи, дразнили ею прохожих. Наташа попросила:

— Девочки, подарите веточку.

— А вы сами — на лодку да на острова, — ответила одна. — Вон у вас какой кавалер, — и многозначительно рассмеялась.

Девчонки взвизгнули, прибавили шагу, гордые, что на них оборачиваются.

— Ну что, кавалер, — сказала Наташа, — пригласил побродить, а сам молчишь.

— Наверное, из меня плохой кавалер, — принужденно улыбнувшись, ответил Илья.

Она с любопытством посмотрела на него сбоку, точь-в-точь так же, как смотрела на мосту, после вечера у Самарина. Он уловил этот взгляд и сразу почувствовал беспомощность, и в то же время он так часто вспоминал, как именно посмотрела Наташа в ту ночь, что теперь знакомое, долго жившее в нем, вдруг став реальным, сразу сделало Наташу близкой, будто она доверительно сказала ему что-то, только им обоим известное. Илья подумал, что хорошо бы пригласить ее в летний павильон, который блестел желтыми окнами справа от постамента, где покоились петровские пушки, и выпить бутылку вина, но представил табачный дым, красные потные лица, окурки в тарелках и решил: «К черту все это!»

— Может быть, действительно ты возьмешь лодку

и повезешь меня на острова? — сказала Наташа и усмехнулась. Он знал эту усмешку, когда едва приметная складка у рта становилась более отчетливой, а глаза чуть щурились, но смотрели прямо, откровенно, и он обычно не выдерживал этого взгляда.

— А то, может быть, пойдем в цех к пятиклетьевому?.. Там ты очень здорово говоришь. Ей-богу, я иногда удивляюсь, как у тебя вдруг прорезается голос. Ты у кого-то специально учился кричать?

— Нет. Самостоятельная подготовка. Работаю над собой. — Войдя в эту словесную игру, он взял Наташу под руку. — А между прочим, кроме всяких шуток, я пацаном мечтал пойти в театральный. А когда охромел, мечты развеялись. Стал металлургом.

— И ты по призванию и велению сердца пошел на металлургический.

— Нет. Просто там больше была стипендия.

— Ты это всем говоришь или только мне решился?

— Самарину бы, пожалуй, я этого не сказал. Вот он-то дал промашку. Ему обязательно надо было идти в театральный. Но ему захотелось стать потомственным металлургом.

— Зря на него злишься. Самарин не так уж плох.

— Я никогда не говорил, что он плох. И потом... честное слово, мне сейчас не очень хочется говорить о нем... Знаешь, пожалуй, я сейчас бы взял лодку.

— Ого!.. Это мне уже нравится. Ну что же, идем, — Наташа решительно потрянула головой, как это делают девчонки, прежде чем прыгнуть откуда-то с высоты, и ее длинные мягкие волосы задели щеку Ильи. Стало весело, отчаянно, и он, крепче подхватив ее под руку, зашагал быстрее.

Они вышли к реке. На песчаном берегу у причалов горел костер, пахло варом и масляной краской. У перевернутых вверх днищем лодок возилось трое людей, стучали деревянными молотками. Тени от них протянулись по песку. Над водой темнела будка лодочной станции. Свет в ней был погашен, окошко закрыто. Илья постучал в деревянный щиток, никто

не откликнулся. Он непонимающе посмотрел на реку, где раздавался всплеск весел, смех.

— Ну что, кавалер, опоздали? — огорченно спросила Наташа.

— Не может быть. Эй-эй! — крикнул Илья и сердито стукнул по будке.

— Чего орешь?

В полосу света вошел сутулый, рыжебородый дядька в ватнике, дыхнул на Илью винным перегаром, зло посмотрел слезящимися глазами.

— Баиньки надо, а ты орешь... Одиннадцать, а закрываемся в десять. Тут сержант из милиции ходит. Неприятность будет.

— Папаша, лодочка нужна, а не неприятность, — ответил Илья.

— Сказано, — неприступно сказал рыжебородый. — А то вот пятнадцать суточек и извини-подвинься, — и он помахал перед носом Ильи милицейским свистком.

— Идем, Илья, — брезгливо сказала Наташа.

В это время у костра распрямылся человек, подняв молоток.

— Эй ты, старый зуб! — крикнул он. — Чего людей пугаешь?

Человек стоял спиной к костру, и лица его не было видно.

— А ты молчи знай, — огрызнулся рыжебородый.

— Ты, парень, дай ему в лапу на четвертинку, и порядок будет. Его весь город знает. На весне, гад, спекулирует, — и человек склонился к перевернутой лодке, застучал молотком.

Илья достал деньги, протянул рыжебородому. Тот взял их, проверил на свету и буркнул вяло, словно потеряв ко всему интерес:

— Пошли, что ли...

Он зашагал по мосткам причала, склонился у привязи, загромыхал цепью, ворча под нос:

— Оруть тут всякие... И чего оруть?.. Берись за цепочку, молодой человек, вот так. А ты, барышня, скачи сюда... Ну, счастливо вам вечеряться...

Потоптался на месте, посмотрел, как Илья развернул лодку, и, ссутулившись, пошел к будке.

— Что-то собачье в нем, — сказала Наташа.

Она сидела на корме, и при свете луны Илья видел ее всю. Он выгреб на середину, лодка была легка, послушна.

От воды тянуло прохладой. Илья подумал: может, предложить Наташе пиджак? Но она сидела, склонив голову, опустив на колено руку, о чем-то раздумывая, и ему не захотелось тревожить ее.

— Илья, ты долго был на войне? — спросила она.

Он опустил весла. Лодка, набрав скорость, еще шла своим ходом, слегка покачиваясь. И качались фонари за спиной у Наташи на горбатившемся мосту. Илья достал папиросу, закурил.

— Не знаю... Иногда мне кажется, что это было целую вечность, а иногда я думаю, что это мелькнуло и исчезло. Дело в том, что если смотреть на календарь, то я был там всего полтора года... Но... Об этом не очень-то хочется вспоминать..

— Вот как? А мне казалось, что все, кто был на войне, любят о ней говорить.

— У каждого свои воспоминания, — пожал плечами Илья.

— И у тебя есть свои?..

— Прошло очень много времени, Наташа, очень много. Одним хочется это вспоминать, другим нет.

Неполная луна, стоявшая над лесом, туманила воду, отражалась в ней, и неясные, блеклые тени скользили по лицу Наташи. Но он отчетливо видел ее глаза, очень открытые. В них не было прежней усмешки, а появилось нечто другое. Он вспомнил, у кого был такой взгляд. Так смотрела, очень давно, его младшая сестра, когда впервые увидела снег: чуть недоумевая, чуть боязливо и в то же время с откровенным любопытством. Сравнение это вызвало у Ильи улыбку.

— Ты знаешь, — сказал он мягко, — все отлично понимают, что война — дрянь. Но у каждого осталось свое. Может, человек прежде считал себя тру-

соватым, а война научила его смелости, прямоте. Может, раньше он был одинок и замкнут, а на войне оценил товарищество. Понимаешь, о чем я?..

— Да, понимаю.

— У каждого свое. Поэтому и любят иногда люди вспоминать это «свое» именно там, где оно началось.

— И у тебя было свое?

— У меня было много разного... О себе никогда не сумеешь сказать настоящую правду. Обязательно ошибешься. Только я твердо знаю, почему не люблю смаковать военные воспоминания. Война часто превращает человека в скотину. Пусть он отлично знает, что ему надо воевать, что иначе он не может. И все равно война сильнее его. Она заставляет пить водку на трупах, жить в грязи и дерьме и на свою жизнь смотреть так, что она в любую минуту тоже может превратиться в это же... Я не знаю, правильно ли сумел тебе объяснить, но думаю я о ней так.

— Странно, — раздумчиво произнесла Наташа, — я уже это слышала.

— От кого? — спросил Илья, докуривая папиросу.

— От Самарина.

Илья вздрогнул. Вспомнил в одно мгновение его припухлое лицо с курчавыми седыми висками.

— Нет, — сказал он резко, ударом пригасил папиросу о борт лодки, бросил окуроч в воду. — Нет... Он мог говорить почти то же, но не так.

— Почему же?

— Потому... Я слышал, как он говорил. Это почти то же, но только почти. Он говорил про грязь, говорил про трупы. Но все дело в том, как говорил. Ему на войне было лишь неуютно.

— Как ты сказал?

— Неуютно.

Илья увидел, как она улыбку, мимолетно, словно пытаясь спрятать эту улыбку. И, пожав плечами, сказал:

— Вот в этом все дело.

Лодку слегка покачивало, сносило течением вниз, к мосту. Мимо проплыл островок, поросший кустар-

ником. Оттуда пахло молодой зеленью. Поблескивали белые листья.

— А поседел ты на войне? — спросила Наташа.

— Нет, не на войне, это было после, — ответил он и снова потянулся за папиросой.

— Ты много куришь, Илья, — заметила Наташа.

Он уловил в ее голосе сочувствие, подержал папиросу в пальцах, хотел выбросить за борт, но торопливо прикурил.

— Это было, когда умирала мать, — сказал он. — Она умирала от белокровия, и ничего нельзя было сделать. Эту болезнь еще не научились лечить. Врачи сказали: процесс необратим... У меня была очень хорошая мать, Наташа. Она сорвала здоровье на оборонных работах. Всю жизнь она работала и никогда не жаловалась... Я видел, как умирали люди, но когда умирала мать... В общем это случилось в то время...

Наташа по привычке зябко поежилась, поудобней села на корме. Илья спросил:

— Дать тебе пиджак?

— Спасибо, мне не холодно...

Лодку совсем снесло к мосту. Впереди вздымалась густо-серая громада опоры. А вверху, покачивая лучами фар, проносились машины. Было слышно скользящее шипение шин об асфальт. Илья смотрел на Наташу. За ее спиной под мостом было темно и жутко, и ему захотелось ворваться в эту темноту, стремительно проскочить ее. Тень от моста надвигалась, вот она уже совсем близко за кормой, еще немного — и закроет Наташино лицо. Он видел, как она склонила чуть набок голову, потом слегка тряхнула волосами, сказала:

— Да, это не легко... когда мать...

Тень уже скользила по ее волосам. Илья, испугавшись, что сейчас эта тень упадет ей на лицо, схватился за весла. Сильным рывком выгнал лодку вперед.

Брызги упали Наташе на лицо, она зажмурилась, засмеялась. А он больше не мог удержаться и



продолжал азартно грести. Что-то случилось с ним в это мгновение. Он чувствовал: напряглись все мышцы, легко и послушно взлетают весла. Лодка быстро набрала скорость. Мост ушел в глубину.

Наташа схватилась обеими руками за борта.

— Тише! Перевернешь!

Но он уже не слушал ее. Мелькнули темные кусты острова. Под лодкой зашипело, заскрежетало, и она ткнулась носом в берег. Илья чуть не слетел со скамьи.

— Сумасшедший, — сказала, смеясь, Наташа, — вот уж сумасшедший!

Разгоряченный этой гонкой, он протянул к ней руки, взял ее за плечи.

Она все еще улыбалась, и он совсем близко видел ее вздрагивающие губы.

— Отпусти, — сказала она.

Но он привлек ее к себе, отчетливо почувствовал запах молодой зелени, водяных брызг и поцеловал в сухие, горячие губы. Наташа оттолкнула его. Илья увидел ее удивленные, испуганные глаза.

— Зачем ты? — сказала она тихо. — Ну зачем?

И сразу отчуждение, неловкость легли меж ними.

— Вези меня к причалу, — сказала она.

У деревянных мостков никого не было. Илья выскочил из лодки, затянул за скобу цепь, помог сойти Наташе. Он держал ее прохладную, чуть влажную руку и сказал:

— Ты извини...

Она ничего не ответила, прошла вперед по мосткам. На песке дотлевал бурыми углями угасший костер, и на борту перевернутой лодки, от которой пахло невысохшей масляной краской, робко трепетали красноватые блики. У будки, зарывшись в полушубок, спал рыжебородый лодочник. Илья положил рядом с ним весла и, прихрамывая, заспешил за Наташей. Они прошли через парк, поднялись на площадь. Илья все искал, что бы сейчас сказать, и ничего не мог придумать. Он отворил тяжелую гостиничную дверь, хотел пропустить Наташу вперед, но тут она остановилась и прямо посмотрела на него. Он еще ничего не успел сообразить, только вздрогнул от ее взгляда.

— Странный ты человек, Илья! — Ему почудилось, что слова ее прозвучали с вызовом.

— Все люди странные.

— Нет, ты по-особому странный, — сказала она и снова прошла вперед.

Они поднялись на четвертый этаж. У своего номера Наташа деловито достала ключ и, неожиданно обернувшись, приподняла руку, сказала:

— Спокойной ночи, Илья!..

За окном не унимался мягкий ветер, шевелил на столе газеты, нес с собой запахи дождя. Илья долго не мог заснуть, вспоминал, как она подняла руку, прощаясь. Было в этом движении что-то спокойное, примиряющее. Он и заснул с этим чувством. И сни-

лась ему младшая сестренка, когда она была совсем маленькая. Он вывел ее утром во двор после ночного снегопада... Сестра давно уже была замужем, жила в Одессе, была толста, работала бухгалтером, но снилась она Илье все той же удивленной девочкой, которая смотрела на снег и не могла сообразить, что же произошло во дворе за одну ночь.

8

Над трансформаторной сталью работали все: в электросталеплавильном, в цехе горячего проката и здесь, в холодном. Комплексная исследовательская группа собиралась почти каждый день у Самарина в «умывальнике». Спорили иногда до того, что, казалось, расходились врагами, а утром все начиналось сызнова. Испытывали вариант за вариантом. Сталь крошилась, рвалась под мощными валками стана. Разослали слябы в Новосибирск, Магнитку, в Среднюю Азию, на другие заводы, где были листовые прокатные станы. Может быть, что-нибудь выйдет там!

Из Москвы шли телеграммы, приезжали представители. Сталь была нужна везде: на гидро- и атомных электростанциях, для трансформаторов, генераторов, для тончайших приборов. Раньше эту сталь везли из-за рубежа. Но страна строилась, строилась с невиданным размахом, и нужен был свой холоднокатаный лист. А его еще нигде не катали на таких станах, какой был поставлен в новом цехе. И комплексная группа искала технологию. Уменьшали количество углерода в стали, чтоб была она вязкой, добавляли кремния...

Испытывали уже шестой вариант, когда пришла телеграмма из Средней Азии, — там удалось прокатать сляб. Срочно созвали оперативку. Было ясно: надо кому-то вылетать на завод, получить данные. Самарин думал о Клинкове. Он сделает все, что нужно, но... Каждый человек был дорог. А без Ильи сейчас в цехе как без рук.

И вдруг неожиданно поднялся Росляков. Почему-то конфузясь, поправил очки, сказал:

— Пожалуй... я бы смог.

Самарин обрадовался.

— Ну, Иван Тимофеевич, спасибо!

Анастасия Семеновна, узнав о командировке мужа, с грустью вздохнула:

— Ну что ж, Ваня... -

И никто не знал, почему это Иван Тимофеевич, обычно не любивший покидать дом, согласился лететь в Среднюю Азию. А у него, кроме трансформаторной стали, были на то еще две причины: в тех местах в войну умерла первая его жена — Зина, и, во-вторых, в том городе жил старый студенческий товарищ, ныне большой специалист по прокатке, — с ним стоило бы посоветоваться о многих заводских делах.

Иван Тимофеевич незамедлительно вылетел на самолете.

День, когда он прилетел на место, был воскресный, и потому Иван Тимофеевич сразу собрался на кладбище. Он отыскал у себя в портфеле старую пожелтевшую бумажку, где сообщалось, в каком месте похоронена Зина, купил у выхода из гостиницы большой букет темных роз и взял такси. Поглядывая на мелькавшие мимо дома, он пытался думать о Зине. Они прожили год перед самой войной. Из того года Ивану Тимофеевичу запомнилось больше всего, как они ждали друг друга в при заводском сквере после работы, а встретившись, целовались на глазах у прохожих. Им было наплевать на этих прохожих, они даже подсмеивались над ними. Ведь теперь они имеют право целоваться где угодно и никто им не может сказать, что это плохо.

И еще он помнит, как удивлялся, что Зина, такая тихая, худенькая, с большими светлыми глазами, стала властно командовать в их доме. Даже старший брат побаивался ее и, прежде чем войти в комнату, долго и тщательно скреб ботинки о половики. Ивану Тимофеевичу очень нравилось, как она командует, и они совсем не ссорились. Когда он уезжал на войну, она собирала его, словно в командировку, и все говорила, пытаясь быть строгой:

— Ты смотри там у меня... Смотри...

Потом вдруг прижалась к нему и безутешно заплакала, а Иван Тимофеевич целовал и целовал ее светлые волосы...

Еще на войне он узнал, что Зина эвакуировалась. Сначала от нее приходили длинные, подробные письма. Потом она замолчала. После войны Иван Тимофеевич отыскал Зинину мать, и она дала ему письмо, написанное незнакомой рукой. В нем сообщалось, что Зина умерла и похоронена в таком-то месте. Подпись внизу стояла неразборчивая. Это письмо Иван Тимофеевич хранил много лет, оно пожелтело, по краям истерлось и теперь лежало в его боковом кармане.

Он ехал на кладбище и думал, что жизнь его с Зиной была очень короткой, и, наверное, поэтому так мало он помнит из нее. Ему было немного грустно, и в то же время где-то подспудно таящаяся мысль, что вот он, Иван Тимофеевич, хорошо делает, что через столько лет едет на могилу человека, который когда-то был его другом, настраивала его на высокий лад.

Такси остановилось у кладбищенских ворот, сложенных из старого потрескавшегося камня. Иван Тимофеевич вошел в ворота и увидел среди редких кустов акаций и кизила кресты, памятники, унылые восточные надгробья. В первое мгновение его охватил мальчишеский страх, он облизал сухие губы и сделал несколько робких шагов. Но это длилось недолго, страх прошел, и его заслонило любопытство.

Иван Тимофеевич шел мимо могил и, поправляя очки, читал надписи. Пройдя по узкой дорожке, он остановился у акации, достал из кармана пожелтевшую бумажку и прочел: «24-й квартал». Странно, что это называется кварталами...

Он отыскал этот двадцать четвертый квартал и, щурясь, стал вглядываться в надписи. Ему представлялся заброшенный, осевший холмик земли, и он искал его и не находил. Внезапно Иван Тимофеевич

отчетливо увидел на сером камне фамилию «Рослякова». Он споткнулся, едва удержался на ногах и почувствовал: кончики пальцев, сжимавшие букет, дрожат.

Иван Тимофеевич подошел к могиле. «Зинаида Семеновна Рослякова, 1921—1943 гг», — прочитал он. Тихо, словно боясь кого-то разбудить, положил к подножию камня розы и выпрямился. Он пытался себе представить, что под этим камнем лежит Зина, и не мог. Иван Тимофеевич вздохнул и, сам не зная почему, начал обрывать побуревшую траву вокруг могилы. Так он обошел ее кругом и тогда лишь заметил, что на камне есть еще одна надпись, с обратной стороны. «Светлячок! — было выбито там. — Мы никогда тебя не забудем. Мы клянемся. Миша, Володя».

— Светлячок, — произнес вслух Иван Тимофеевич. Он никогда не называл так Зину, и никто из знакомых и близких так ее не называл. Кто же был у нее здесь? Кто поставил этот камень и выбил надпись? Что это были за люди и чем они обязаны ей?..

Он вспомнил, что в письме не сказано, как умерла Зина, то ли от болезни, то ли... Да мало ли что могло тогда быть!

«Миша, Володя», — прочел он еще раз, и ему стало обидно, что он не знает и, наверное, никогда не узнает той Зининой жизни, и такая боль подкатила к сердцу, что Иван Тимофеевич неожиданно всхлипнул...

Он еще постоял у могилы и, ссутулившись, пошел прочь. На душе стало печально, покойно...

Вышел из кладбищенских ворот, увидел такси, которое дожидалось его. И только когда сел и откинулся на мягкую спинку сиденья, подумал: «А что это со мной было?»

Несколько дней Иван Тимофеевич провозился на заводе у прокатчиков. Совещание шло за совещанием, и даже по вечерам он приглашал к себе в номер инженеров. Там же, на заводе, он узнал, что его сту-

денческий товарищ Сашка Рындин, как он по-прежнему его называл, отдыхает в санатории в горах, что это недалеко от города, километров шестьдесят, и туда можно добраться на автобусе.

Он помнил Сашку с бурной шевелюрой, в суконной, сильно потертой толстовке. Ему всегда было некогда. Отец Сашки рано умер, оставил больную мать и троих детей. Сашка брался за любую работу: грузил на станции уголь, перебирал картошку на водочном заводе, ходил пилить дрова, работал в институтской лаборатории и отчаянно «грыз науку». Он любил изредка выпить в студенческой компании и тогда становился шумным, озорным, затевал споры, драки и, даже когда ему изрядно попадало за это, на следующий день неизменно говорил:

— А здорово кутнули! Преотлично! Чудесная, черт возьми, встряска!

И опять шел на станцию грузить уголь.

После войны, когда Иван Тимофеевич узнал, что Сашка стал большим специалистом, выпустил несколько книг по металлургии, то не удивился. Была у его друга дьявольская работоспособность, немало поражавшая товарищей. Этот парень мог ночами просиживать над какой-нибудь книженцией, которую все считали ужасно нудной.

Теперь Иван Тимофеевич ехал в горы и представлял себе Сашку важным, строгим человеком. Правда, дальше этих определений Иван Тимофеевич не шел и говорил себе:

— Да бог с ним... Посмотрим. Я ведь к нему по делам...

И все пытался вспомнить, какое же отчество у Рындина. Привык называть его просто Сашкой, а теперь неудобно, нехорошо. Но отчество он так и не вспомнил и даже рассердился на себя за это: «Вот чурбан так чурбан!»

В санатории он попросил отыскать Рындина, назвал свою фамилию и стал поджидать на скамье у главного корпуса. Не прошло и десяти минут, как кто-то могуче охватил его сзади, закричал в самое ухо:

— Ага, попался!

Иван Тимофеевич с трудом освободился от объятий и увидел толстого румянощекого человека с взлохмаченными темными, с проседью волосами. Он весело шурился, лез обниматься.

— Ну, дай я тебя, Ванька, поцелую... Вот черт, приехал, а! Вот черт!

Он трижды поцеловал Ивана Тимофеевича, обдав его запахом шипра и дорогого табака. Иван Тимофеевич законфузился, растерялся, что-то принялся бормотать.

— Молодец! — прогудел Рындин и хлопнул Ивана Тимофеевича по плечу так, что тот чуть не упал на скамейку. — Ох, и молодец!

Рындин подхватил вконец растерявшегося Ивана Тимофеевича и потащил по аллее к выходу.

А через несколько минут они сидели на ковре, повосточному поджав ноги. В чайхане в этот полуденный час было пусто. Она стояла у самого обрыва, и внизу, урча и взбивая белую пену около гладких, круглых валунов, бежала горная речка. Вода в ней была прозрачная, от нее тянуло, как из погребя, ледящей сыростью.

Было видно, как по тропке вверх медленно брел белый ишак, на нем сидел человек с длинной палкой, и хоть Иван Тимофеевич не мог ничего слышать на таком расстоянии, но ему показалось, что человек поет длинно и тягуче и его песня поднимается высоко в горы, вон к той бурой вершине, где в хмурых складках лежал серый снег. Казалось, что до этого снега совсем рукой подать, каких-нибудь полчаса ходьбы, так хорошо он был виден в чистом воздухе, и было странно видеть этот снег, когда вокруг блестела на солнце яркая, почти весенняя зелень.

От всего этого у Ивана Тимофеевича закружилась голова. «Эх, красотища какая, а воздух-то, воздух! — думал он. — Такой хрусткий, хоть бери да откусывай. Вот где пожить бы недельки две — на-ново бы родился». И он с горечью вспомнил, что и в прошлом году не брал отпуска, хотя в завкоме ему предлагали путевку по Дунаю. Настя просила:

«Поедем, Ваня, вместе. Ведь интересно...» Но он отмахивался: «Некогда, работа». — «У всех работа, — сердилась Настя. — Надо же когда-то и отдыхать».

Она уехала одна, вернулась загорелая, веселая. Он стал ее расспрашивать: как там было, что повидала. А Настя, как девчонка, показала ему язык. «А вот и не расскажу ничего. Дурак, что не поехал».

Он тотчас забыл об этом разговоре, а вот сейчас вспомнил, и запоздалая обида шевельнулась в нем. Чтобы подавить ее, он посерьезнел, вынул записную книжку, карандаш, стал расспрашивать Рындина о трансформаторной стали. Как только Иван Тимофеевич заговорил о стали, стал серьезным и Рындин.

— Знаю вашу работу, знаю... Смелости там у вас, что ли, не хватает? Снижайте углерод до минимума. А кремния не более трех процентов... Главное — черный отжиг удлините. Он вам еще больше понизит содержание углерода в стали...

Иван Тимофеевич слушал, по привычке постукивая тупым концом карандаша о зубы. Рындин говорил широко, и Иван Тимофеевич, подчиняясь его мыслям, удивлялся, что этот человек теперь был совсем другим: он подтянулся и не казался таким полным, взлохмаченным, румянощеким.

«Здорово, — думал он. — Просто и здорово... А мы то...»

— Да черт с ним, с прокатом, — вдруг опомнившись, засмеялся Рындин, — давай-ка лучше поедим... Да ты, Ваня, не хмурься, я сейчас одну работенку закончил, как раз о том, что спрашиваешь. Пошлю тебе копию...

Принесли шашлык. Сладко запахло подгорелым мясом. Иван Тимофеевич вздохнул:

— Хорошо тут у вас!

— В горах-то? — Рындин засмеялся. — Преотлично даже. Я сюда с удовольствием езжу... Вон, погляди, что тебе покажу... Вон туда смотри, по ту сторону реки. Видишь, березы?..

Иван Тимофеевич посмотрел, куда показывал Рындин, и вправду увидел несколько молоденьких березок. Они сбежались к самому берегу горной реч-

ки и стояли, белостволие, праздничные, едва покачивая свесившимися ветвями.

— Люблю я это место, — сказал Рындин. — И откуда тут березки? Насадил ли кто, или сами выросли? Верно, здорово?

— Верно, — ответил Иван Тимофеевич.

— А теперь вон туда смотри... На гору... Видишь, там, где снег, домик на горе притулился?

Раньше, когда Иван Тимофеевич смотрел на бурую вершину, то не заметил никакого домика, а теперь сразу же разглядел белую хатку, прилипшую к самому отвесу.

— Синоптики живут, — объяснил Рындин. — Лазил я к ним по ишачьей тропке, чуть шею не свернул... Везде, понимаешь, живут люди. И представь: свои радости, свои трагедии, свои драмы... Была тут история... — Он вздохнул, отвернулся и не стал дальше рассказывать, а смотрел вниз, на пенящуюся речку.

Ивану Тимофеевичу захотелось рассказать этому человеку все, что было с ним на кладбище и что не давало ему покоя все дни, пока ходил он на завод, и томило, когда оставался один.

— Ты Зину мою помнишь? — спросил он.

— Зину?.. А, ну как же! — восторженно воскликнул Рындин. — Я же на твоей свадьбе гулял в общегитии... Изрядно кутнули! Преотличная была встряска!

— Умерла Зина, — глухо сказал Иван Тимофеевич.

— Знаю, — просто ответил Рындин.

Тогда Иван Тимофеевич торопливо стал рассказывать, как он побывал на кладбище, как увидел странную надпись на надгробном камне.

— Да, — сказал Рындин, когда Иван Тимофеевич закончил. — А я ведь тут жил в войну и не знал, что и она... А жаль, вот уж жаль!.. — И ушел в себя, задумался. — Говорят, все там будем, — сказал тихо, попытался улыбнуться, но Иван Тимофеевич заметил, как темные его глаза повлажнели. — А уходить туда не хочется, уж очень много дорогого оставляем мы здесь... И людей, и работу, вот и эти горы.

Все, все... Понимаешь, Ваня, стареть я, что ли, стал, только все чаще думаю о человеческой жизни. Какая она?.. Иногда мне кажется, что это непознанная бесконечность. В ней сто тысяч неожиданностей. Как часто бывает: живет с тобой рядом человек, самый обычный человек, и вдруг повернется такой яркой стороной, что только диву даешься... Ты не думал об этом, Ваня?

— Может быть... Не знаю.

— О людях всегда надо думать. И о мертвых надо думать. Они ведь где-то рядом с нами. Люди уходят из жизни и что-то оставляют. А мы берем это и несем дальше... Бесконечная спираль...

То ли оттого, что Иван Тимофеевич уж очень пристально смотрел на него, то ли по иной причине Рындин вдруг засуетился:

— Эх, шашлык стынет, черт возьми! Живым — живое, Ваня.

И он опять стал шумным, болтливым; смеялся, рассказывал санаторные анекдоты, хлопал Ивана Тимофеевича по плечу, просил писать, звал в гости в город.

Иван Тимофеевич взглянул на часы и сказал, что ему пора ехать. Он проводил Рындина до санатория, они обнялись, расцеловались.

— Ты обязательно пиши, слышишь, пиши! Я рад буду, — пожимая ему руку, говорил Рындин.

Иван Тимофеевич заспешил к автобусу, а у выхода из санатория оглянулся, чтобы еще раз увидеть Рындина, но того уже не было на старом месте. Иван Тимофеевич посмотрел на каменные ворота и только теперь прочитал на них вывеску «Туберкулезный санаторий № 3»...

Автобус бежал по горной тряской дороге, мимо мелькали кусты виноградников, разлапистые деревья, белые домики, но Иван Тимофеевич ничего не замечал. Он думал, и мысли путались, набегали одна на другую. Он думал о Рындине то со страхом, то с удивлением и не мог собрать воедино того, что увидел и узнал. Этот толстый шумный человек, бывший

его студенческий товарищ, который разработал новый стан, и в учебниках он так и называется «стан Рындина», казался ему странным и непонятным. И тут у него мелькнула мысль: а как Саша подумал о нем?.. Ему вспомнилось, как однажды на заводе лаборантка сказала за его спиной: «Вобла в очках!» Потом он узнал, что так зовут его за глаза многие молодые инженеры. Ему было очень обидно, он попытался рассказать об этом Насте. Та услышала и рассмеялась:

«А здорово придумали!»

Настя... Его жена Настя. Веселая, расторопная женщина. «Я сделаю тебе нашлепку на зубы. Знаешь, как у боксеров». Она не любила эту его привычку стучать карандашом по зубам. Но что он мог поделать?.. Они изредка встречались на заводе, потом он приходил домой, усталый, все еще размышляя о делах, иногда они вместе ходили в кино, иногда принимали гостей. Настя... А как у него было с Зиной?.. Он попытался вспомнить себя в те годы, когда ухаживал за худенькой светловолосой девушкой, и после, когда целовался с ней в при заводском сквере, лихо поглядывая на прохожих; попытался вспомнить и не мог. Перед ним всплыл серый камень на могиле: «Миша, Володя». Кто же эти люди? Кто?.. И опять ему стало до боли обидно.

На следующее утро Иван Тимофеевич возвращался на самолете домой. Это был большой турбовинтовой самолет, и летело в нем много самых разных людей. Было видно, как за окнами внизу рвались сизые облака и сквозь них лоскутами проглядывали яркие пятна освещенной солнцем земли.

Иван Тимофеевич сидел в уютном кресле, вытянув ноги. О вчерашнем он старался не думать. Он вглядывался в людей, что летели вместе с ним в самолете. И ему нравилось, как ловко ходила по проходу стюардесса и как мягким движением подавала пассажирам воду в пузатых стаканах. Иван Тимофеевич уже дважды просил у нее воды, и когда она улыбалась, то в ответ улыбался тоже. Ему нравились и те парни, что сидели рядом в креслах и играли в шах-

маты, и старик с пушистой белой бородкой, читавший журнал.

Он думал о том, что недурно съездил в командировку, управился с делами на заводе, побывал на могиле первой жены, увидел старого товарища, и умиленно шептал про себя: «Хорошо!» Это «хорошо» относилось ко всему: и что осталась позади щемящая грусть, и что он летит в такой большой, удобной машине, и что в портфеле его лежат очень нужные заводу документы, и что скоро будет дома и начнется привычная для него жизнь, по которой он уже успел соскучиться. Иногда у него мелькала мысль о том, что случилось с ним в командировке что-то особенное, и ему было приятно нет-нет да возвращаться к ней. С этой мыслью он и прилетел домой. Рассердился, что без него в отделе запустили дела.

— Никуда нельзя отлучиться, — сердито жаловался жене. — Ну и народ! Вся документация вверх тормашками.

Самарин, да и все, кто входил в комплексную исследовательскую группу, очень обрадовались материалам, которые он привез. Самарин даже охватил его ручищами и троекратно расцеловал.

— Вот уж молодец!

А Росляков вдруг подумал, что Самарин очень похож на Рындина, и вздрогнул от этой мысли. «Да где уж там», — попробовал он отогнать ее, но чем больше смотрел на Самарина, тем упорнее ему вспоминался Рындин.

Постепенно все пошло по-старому. Росляков подписывал бумаги, бранил молодых инженеров и лаборантов. («Им только дай потачку — на шею сядут».) Долго и обстоятельно выступал на совещаниях. Лишь изредка дома вспоминал могилу Зины, и тогда снова непонятно и тоскливо сжималось сердце. В такие минуты он подходил к Насте, неумело обнимал ее, целовал, говорил ласковое. Настя удивлялась, смеялась:

— Ты становишься нежным. Это что, возрастное?

Наташа сама не знала, что с ней творится. После того вечера на реке она встречала Илью почти каждый день, иногда они вместе ехали домой, болтали о разных разностях, но о том, что тогда случилось, не вспоминали. Он очень похудел в эти дни, совсем замотался в цехе. И чем больше встречала его Наташа, тем больше хотела видеть: «Да зачем это все?» — растерянно думала она.

А в субботу она проснулась рано утром, увидела в окно небо, очень светлое и очень чистое, и почувствовала себя счастливой. Долго лежала не шевелясь, боясь вспугнуть это чувство. «А ведь у меня сегодня праздник», — подумала она. Почему обязательно если праздник, значит что-то торжественное? Ведь бывает очень хорошо — и тогда тоже праздник.

И весь день ей было все нипочем. Она бегала по цеху, отбирала пробы или сидела в лаборатории и все время напевала, улыбалась. На нее оглядывались, бросали вдогонку шутки, и она охотно отвечала на них.

У входа в цех она чуть не налетела на Самарина. Он стоял, широко расставив ноги, заложив руку за спину, и смотрел на строй молоденьких тополей. Крупные черты его лица на солнце были резкими, и под глазами отчетливей выступили нездоровые полукружья, но вместе с тем на лице затаилось странное, почти мальчишеское удивление. Он не заметил Наташи, хотя она едва не задела его плечом, и ей пришлось окликнуть его.

— Замечтались?

— И еще как... Вон, — кивнул он на тополя, — принялись. Все до одного.

— Ждете, что прилетят соловьи?

— Непременно прилетят. Через два-три годика, — Самарин прищурился и тотчас вскинул брови, словно только сейчас увидел Наташу. — А ну-ка, ну-ка, дайте-ка я на вас посмотрю... Вот сегодня вам надо было надеть ту юбку колоколом.

— На ней стоит огромная заплата.

— Это неважно. Сегодня бы вам все простили. Когда у женщины такое лицо, ей прощают все... Что же случилось?

— Ничего. Просто у меня хорошее настроение.

— И у меня хорошее настроение, хотя дела в цехе — дрянь. Сегодня я бы даже пригласил вас куда-нибудь. Например, в ресторан... Но вы ведь не пойдете?

Наташа засмеялась.

— Угадали.

Самарин погрозил пальцем и взял ее под руку.

— Ладно. Я не обижаюсь... С меня достаточно и того, что провожу вас до лаборатории.

Ей всегда было интересно поболтать с ним. Сейчас, когда они пошли рядом, Наташе захотелось рассказать, как она проснулась утром и почувствовала, что сегодня праздник. Она знала, что он поймет ее, но ничего не сказала. Это же ее, совсем ее, и об этом не рассказывают. Она испугалась, что может проболтаться, и высвободила руку, попросила:

— Лучше я одна. Хорошо? Мне надо очень, очень быстро.

— Жаль, — вздохнул Самарин и улыбнулся. — Когда прилетят соловьи к нашему цеху, я подарю вам их первую песню.

— Только одну?

— Нельзя быть жадной. Надо оставить песни и рабочему классу... Ну, счастливо вам, Наташа!

И он широко зашагал к цеху, вскинув вверх голову. Она посмотрела ему вслед и подумала: «А он добрый. Странно, что Илья не понимает». Но тут же взглянула на часы и заторопилась: скоро конец смены, а еще надо забежать в лабораторию и не опоздать к проходной. Она знала, что обязательно встретит Илью у проходной. И встретила.

Он спросил:

— Поедем вместе?

— Ну, конечно.

А в трамвае вдруг сказала:

— Знаешь, давай сегодня пойдем куда-нибудь!

— В театр или в Дом культуры?

Она засмеялась:

— Нет. В ресторан...

Он не удивился и согласно кивнул:

— В ресторан так в ресторан...

У нее было платье, которое она очень любила. Шила его Наташа перед самым отъездом из Москвы, у старой портнихи, которую все ее подружки возносили до небес.

Портниха была полной женщиной, с усиками на добром лице, держалась предельно вежливо, говорила вкрадчиво:

— Мадам, вы сами понимаете, что на своем веку я видела слишком много женщин. Но когда я вижу такую фигуру, как у вас, мне хочется сделать что-нибудь особенное... Нет, нет, вы мне ничего не говорите. У старой портнихи тоже может быть свое произведение искусства.

Наташа смеялась.

— Вы со мной не согласны? — спрашивала портниха. — Тогда я вам скажу старую мудрость: самое хорошее платье — это когда оно не кричит в глаза. Если я шью платье даме, у которой, как говорит мой муж, талия имеет форму двух ведер, я ей предлагаю панбархат или что-нибудь с блестками. Пусть лучше все смотрят на панбархат... Теперь вы понимаете меня, мадам? У вас будет совсем другое платье, и вы мне еще тысячу раз скажете спасибо.

Платье было из тонкой прохладной ткани, цвета неяркого неба, и по этому ровному фону были разбросаны кроткие стволы березок. Оно было удивительно просто: несколько свободных линий, словно сделанных легким движением карандаша. Наташа привезла это платье с собой, но так ни разу и не ходила в нем. Иногда вечерами, оставаясь одна, доставала его из шкафа, надевала и подолгу стояла у зеркала. Ей нравилось, как платье открывает шею, полуобнажает руки. К нему очень шли клипсы из лунного камня. Постояв у зеркала, Наташа снимала платье, бережно вешала его на плечики. Ей становилось грустно. Иногда мелькала озорная мысль: «А вот возьму и пойду в нем завтра на завод», — но

тут же одергивала себя: «Не дури», — и, погладив рукой прохладную ткань, закрывала шкаф.

Сейчас Наташа надела это платье. Вышло все это почти машинально. Входя к себе в номер, она и не думала о нем. Просто ей хотелось быть не такой, как обычно. Она долго причесывалась у зеркала, прилаживала клипсы. Знала, что Илья давно уже сидит в холле под фикусом и нетерпеливо ждет. Ей не хотелось заставлять его ждать, не хотелось, чтоб он хмурился, но она ничего не могла поделать с собой. То ей начинало казаться, что она слишком растрепана, и вытаскивала шпильки, начинала заново укладывать волосы, то вдруг решала, что надо сменить туфли. Черные лодочки слишком неудобны и вовсе не идут к этому платью, тут нужны светлые «на гвоздиках». И Наташа торопливо искала в чемодане новые туфли.

Когда, наконец, оделась, причесалась и оглядела себя в зеркале, то засмеялась: «А ты красивая девочка!» — и тут же показала себе язык. «Все-таки ужасная дура! Ну и наплевать». Ей очень хорошо сейчас и весело. Когда-то ведь должно быть и ей хорошо... У всех людей есть свои праздники, свои маленькие праздники, и каждый имеет на них право. И очень хорошо, что на эти праздники не приглашают гостей. Ты сам у себя гость. Они пойдут сейчас с Ильей в ресторан, выпьют вина, будут слушать музыку и танцевать... Нет, она совсем забыла, что он не сможет танцевать... Жаль! Эта его нога... Ну что же, они обойдутся без танцев. Но даже Илья не будет знать, что она сегодня сама у себя в гостях. Никто не будет знать. А теперь... Наташа еще раз взглянула на себя в зеркало, по-своему усмехнулась и гордо пошла к двери...

Наташа угадала: Илья сидел в кресле, покрытом серым чехлом, курил и жадно смотрел вдоль коридора. Она шла ему навстречу не торопясь, строгая, хотя ей все время хотелось засмеяться. Она увидела, как он поспешно смял в пальцах папиросу и шарил этими пальцами по столу, видимо ища пепельницу. Но пепельница была на ручке кресла; он сам, на-

верное, и поставил ее туда. Наташа подошла к нему, остановилась, словно спрашивая: «Ну как?»

— Здорово! — сказал Илья.

— Что здорово? — хитря, спросила Наташа.

— Все очень здорово! — сказал Илья, не спуская с нее глаз. — Я очень скверно разбираюсь в мифологии, но, наверное, Афродита была такой.

— Может быть, она была и получше, но у нее не было такого платья.

— Все равно она не была лучше. Честное слово, не была!

— Ладно, — сказала Наташа. — Между прочим, пепельница на кресле. Клади туда свою папиросу и — в путь!

Илья шутливо склонил голову, сделал широкий жест в сторону лестницы:

— Прошу.

Наташа все так же, гордо приподняв голову, прошла вперед, но, дойдя до лестницы, не выдержала, рассмеялась и побежала вниз, дробно стуча каблучками...

По случаю субботы ресторан был набит битком. В нем стоял беспокойный гул голосов, вился дым от папирос, и небольшой джаз из пяти человек на полукруглой эстраде старательно и лихо гремел фокстротом. Переступив порог этого наполненного людьми, ярко освещенного зала, Наташа задержалась, ожидая, пока Илья отыщет место. Она увидела, как он метнулся к низенькому полному официанту, который с надменной усмешкой стоял у колонны и полусонно оглядывал давно знакомые столики. Илья попросил:

— Найдите нам местечко.

Официант даже не обернулся, лишь краем глаза бегло взглянул в его сторону.

— Ничего не могу поделать, молодой человек. Сами видите...

«Не может быть, — подумала Наташа, — чтоб из-за такого пустяка сорвался праздник... Не может быть...» Она увидела, как растерянно улыбнулся ей Илья. «Так не бывает», — сердито решила Наташа

и в это время заметила, что в самом углу освобождается столик на двоих. Седой, стриженный ежиком полковник тяжело поднимался со стула, положив на скатерть деньги, что-то шепнул официантке и заспешил за полной белокурой женщиной в красном платье, которая медленно и величаво двигалась по проходу. Наташа обрадованно махнула Илье.

— По шучьему велению, — сказала она, садясь.

— Ты сегодня очень везучая, — улыбнулся Илья.

— Сегодня я должна быть везучая, — Наташа посмотрела, как исчезал в дверях седой полковник со своей красной дамой. — Молодость всегда приходит на смену старости.

Илья не понял, спросил:

— Ты о чем?

Но ей не хотелось объяснять.

— Все-таки нам крупно повезло. Здесь всего несколько таких столиков, и один достался нам. Это здорово.. Теперь возьми у соседей карточку, и мы придумаем себе хитрый ужин.

Илья взял карточку, повертел ее в руках. .

— Ты знаешь, я терпеть не могу кабаков и ресторанов. Мне всегда кажется, что все это должно быть сделано иначе: тихая музыка, мягкий свет и очень, очень добрые и вежливые люди. А у нас всегда грохот и шум, и официанты ведут себя, словно от них зависит судьба человечества. Вон посмотри на того бутуза, что стоит у колонны. Ведь колонна рядом с ним кажется хрупкой жердью..

Наташа рассмеялась, погрозила ему пальцем:

— Сегодня я не разрешу тебе быть злым.

— А я и не буду злой. Я сказал это с самого начала, чтобы потом не злиться.. Ну, давай придумывать ужин.

— Сейчас будем придумывать. Только ты сначала представь все так, как хочешь: тихая музыка, добрые люди... Ведь все это можно представить себе. Не правда ли?

Он молча кивнул.

— Ну и отлично, — сказала Наташа. — А что будем пить и есть, придумывай ты.

— Я, наверное, буду пить водку, а ты...

— Если ты будешь пить коньяк, то и я выпью с тобой немного.

— Ну что же, будем пизжонить до конца. Будем пить коньяк и будем есть цыплят табака. Я слышал от пизжонистых мальчиков, что это очень модная штука.

— Не такая уж модная, как дорогая, но, правда, и вкусная... Хорошо. Заметано... А теперь можешь помахать той девушке. Она нас обслуживает.

— А прилично махать рукой?

— Если ты будешь вести себя здесь очень прилично, то все равно этого никто не заметит.

— Заметано. — в тон ей ответил Илья и помахал официантке. Она подошла, прибрала на столе, записала заказ. Пока Илья говорил, что им нужно принести, Наташа наблюдала за ним. В его движениях, во всей его фигуре появилась легкость и исчезла та странная напряженность, которую она все время прежде ощущала в нем. Даже удивительно, что она видела в нем хмурого, раздражительного человека, которого немного побаивалась.

Раньше она никогда не боялась людей. Ей нравилось вступать с ними в душевное единоборство. Был случай, когда пьяный замахнулся на улице булыжником на женщину. Наташа подбежала к нему и со всей силой отвесила пощечину. Пьяный растерялся, опустил булыжник и заплакал. Прохожие корили Наташу. «Разве так можно! Он ведь мог вас прибить. Затмение нашло на человека». — «На вас нашло затмение, — отвечала Наташа. — Ничего он не мог мне сделать. Дурак он, и все...»

Перед Ильей же с самого начала она испытывала затаенную робость. Она не знала, откуда пришло это к ней. Может быть, потому, что с ним ей тяжело было спорить? Он всегда неожиданно находил такое, против чего она не могла возразить. Сейчас он стал для нее понятней и проще. Наташа чувствовала: в ней что-то подчинялось ему. Она смотрела на его лицо, на его пепельные волосы, и черты его лица не казались ей столь резкими, как раньше, и в ней, как

уж не раз, возникло желание дотронуться до его волос; она так и не могла определить на вид, мягкие они у него или жесткие.

Официантка отошла, а Наташа все еще смотрела на Илью. Он заметил ее взгляд, спросил:

— Что ты так смотришь?.. На мне что-нибудь не в порядке?

Наташа засмеялась:

— Нет, нет... Я просто задумалась.

— Может, мы подумаем вместе?

— Можно и вместе. Скажи, ты веришь, что люди меняются?

— Я не верю, что они не меняются.

— Вот об этом я... Думаю, что у человека бывает две души.

— Это называется двоедушием.

— Не лови меня на слове... Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

— Понимаю... Я и сам об этом часто думал. Но думать об этом часто нельзя, а то придешь к выводу, что у человека вообще нет никакого характера. Просто в его душе набросано, как камни в решете, все плохое и хорошее. А дальше все зависит от обстановки. То одно пробивается наружу, то другое.

— Ты анархист, — засмеялась Наташа. — В структуре стали и то есть свой порядок.

— А в человеческих душах это бывает редко, — улыбнулся Илья. — Но что поделаешь, я ведь не психолог, а прокатчик. А как прокатчик, я тебе могу сказать точно, что все зависит от углерода. Больше углерода в железе — крепче сталь, меньше...

— Значит, ты за порядок?

— И еще за какой!.. А то, что я сказал тебе о решете, то для того, чтобы ты поняла: не следует слишком размышлять об этом. Тут все очень просто, как на пятиклетьевом стане... Можешь улыбаться сколько угодно. Но на стане все зависит от степени обжатия. Может, это и не совсем подходящее сравнение для человека. Но и у него, уверяю тебя, все зависит от этой самой степени и через какие валки пропустила его жизнь.

— А вообще-то это здорово получается, когда инженер становится философом.

— В том-то и дело, что ничего не получается... Но вот нам уже несут коньяк и еще что-то. Сейчас мы с тобой выпьем, а уж после легко разберемся в человеческих душах.

Официантка поставила на стол графинчик, бутылку минеральной и салат из свежих огурцов.

— Я не ошиблась? — спросила она, пододвигая Наташе салат.

— По-моему, вы точно угадали.

— Он только что появился на кухне, — гордясь своей смекалкой, сказала официантка.

— Вы чудесная девушка, — сказал Илья.

Официантка наигранно ответила:

— У вас не хуже... Приятного аппетита, — и отошла, довольная собой.

— Оказывается, ты и это умеешь, — заметила Наташа.

— Обожди, скоро я научусь говорить комплименты даже тому фундаментальному бутузу, что стоит у колонны. Ну, а теперь говори: за что мы будем пить?

Наташа приподняла свою рюмку, ответила:

— За мой маленький праздник.

— У тебя праздник?

— Он совсем мой... Но мы за него выпьем. Идет?

— Идет!

Она посмотрела, как Илья выпил, сморщился и торопливо потянулся к воде. «Он совсем не умеет пить, — подумала Наташа.. — Те, кто был на войне, обычно умеют пить. Может, ему это не нравится и он храбрится ради меня?..» Мысль эта была ей приятна.

Она выпила свой коньяк. В это время погасли боковые люстры, и в центре зала, там, где был проход между колоннами, высветился круг. На эстраде натруженно вздохнул оркестр, качнулся воздух, наполненный запахами пряных соусов и табачного дыма, и поплыли, закачались волны танго. В круг вышел высокий парень в клетчатом пиджаке и с ним

девушка, а потом военный, тоже с девушкой. И вот уже несколько пар двинулось в медленном танце.

Наташа видела их, словно сквозь легкий туман. Ей захотелось встать, затесаться среди этих пар. Она так давно не танцевала! Но тут же она вспомнила про Илью, вздохнула и отвернулась. На руку ее легли его пальцы. Она тотчас почувствовала, что он все угадал, и застыдилась этой своей мелькнувшей мысли.

— Потанцуем? — мягко сказал Илья.

Она удивленно вскинула голову, увидела в полутьме. Он улыбается.

— Я же вижу, что тебе хочется, — слегка кивнув головой, сказал он. — Ты не думай, я научился... Честное слово, еще в институте. Вот увидишь...

«Это уж совсем чудо», — обрадовалась она. Илья громыхнул стулом, взял ее за локоть, вывел в круг. Она видела совсем близко его гладко выбритый подбородок, шершавую щеку. Он танцевал свободно, хромота его теперь была совсем незаметна. Плыли мимо чужие лица, в туманную даль уходили столики, надрывно плакал саксофон на эстраде.

И Наташа неожиданно подумала, что вот сейчас танцует с Ильей и ей хорошо, легко, весело, а где-то у этого человека есть другая жизнь, есть другая женщина... Мысль мелькнула черной слепящей полосой и тут же исчезла. «А я? — подумала Наташа. — Разве у меня не может быть того же, что и у всех? Как же я? Мне наплевать на все! Так хочу... Ну и пусть... Так хочу...» Она видела рядом его подбородок, и ей хотелось прижаться к нему щекой. Но прежней легкости уже не было. Исчезла туманная даль, все стало бросаться в глаза: покрасневшие от вина лица, остатки еды на столиках, недопитая водка в графинах, клейкий пластырь на щеке официанта, что стоял у колонны с надменным лицом.

Ей стало неуютно, зябко... «Ну, зачем все это? — мелькнуло у нее. — Зачем?.. Этот ресторан... Музыка... Все выдумки». Но тут иной голос прокричал в ней: «Ты сама так хотела. Перестань! Слышишь, перестань!..» Всхлипнул саксофон, и надрывный звук

его метнулся меж колонн, отскочил от них и повис под потолком... Вспыхнул свет. Зашаркали рядом шаги, заскрипели отодвигаемые стулья. Наташа остановилась, чувствуя, что кружится голова.

— Тебе нехорошо? — спросил Илья.

— Ничего... Это так... Голова что-то...

Он бережно взял ее под руку, повел к столику, и тут Наташа отчетливо почувствовала на себе чей-то взгляд. Ощущение было настолько явственно, что она невольно остановилась и увидела: смотрит, нахмурившись, поверх ее головы и Илья. Наташа оглянулась. За табачным дымом в противоположном углу улыбалось, подмигивало, кивало чье-то знакомое лицо. И рядом с ним тоже улыбались, махали руками. Человек в углу приподнялся, склонил в полупоклоне тяжелую голову, свет скользнул по его щеке... «Самарин», — узнала Наташа и сразу же разглядела остальных: молодые ребята из цеха, инженеры и тот самый, с усиками, Симаков.

— Идем, — сказал Илья.

Уже садясь на свое место, Наташа еще раз оглянулась и увидела: Самарин выбирается из своего угла к проходу.

— Налей мне немного коньяку, — попросила Наташа.

— Может быть, не надо? — осторожно спросил Илья. — Если голова...

— Нет, мне хочется немного выпить.

Илья налил и себе, хмуро посматривая в сторону прохода, и неожиданно улыбнулся.

— Тогда давай быстрее выпьем. Пока начальник не подошел.

— Он идет сюда?

— Спешит, черт бы его побрал!

Она выпила, подумала: «Почему он так о Самарине?..» Она не понимала той неприязни, которую испытывал Илья к этому человеку. Ей всегда нравилось разговаривать с Самариным, он был добрый и умный, в нем было что-то мягкое, отцовское... Но сейчас ей не хотелось возражать Илье. «Может быть, он его знает лучше?» Она услышала за спиной тяжелые

шаги Самарина, услышала, как он отодвинул соседний стул, но не оглянулась.

— Добрый вечер, — пророкотал над ее ухом густой бархатный голос.

— Добрый, — ответил Илья и перевернул рюмку кверху дном.

Лишь тогда Наташа взглянула на Самарина. Он был в черном новом костюме, с галстуком-бабочкой, как на новоселье, и приветливо улыбался. Постучал по столу, как стучатся в дверь.

— Можно к вам на минуточку?

— Если на минуточку, то можно, — ответила Наташа, стараясь быть непринужденной.

— Ого, как строго! — Самарин пододвинул к себе пустующий стул.

— А я к вам с предложением: объединимся в один колхоз... Есть такая песенка: «Нью-Йорк, Калуга, Лос-Анжелос объединились в один колхоз».

— Дурацкая песенка, — буркнул Илья.

— Наверно. Как все такие песенки, — согласился Самарин. — А вы, Илья, отлично танцуете, и вы, Наташа. Если бы здесь выдавали призы, вам бы стоило дать первый... Ну, принимаете предложение?

— Нет, — ответил Илья.

— Железно?.. Жаль, — искренне огорчился Самарин. — В кои-то веки я выбрался посидеть в здешнем ресторане, по-холостяцки.

— И вам нравится спаивать этих мальчиков? — спросил Илья.

Самарин посмотрел на него погрузневшими глазами, покачал головой, сказал тихо:

— Мне не очень нравится, как вы сейчас говорите, Илья. Удивительно, как вы любите громкие слова...

— Развѣ я сказал неправду?

— Милый мой, правду тоже надо уметь говорить... — ответил Самарин. — Вы уж извините, ребята, что помешал. Мне этого не хотелось. Счастливого вам, — и опять, склонив в полупоклоне тяжелую голову, он повернулся, пошел к проходу. Наташа видела его широкую спину в свободном, мягком пид-

‘
жаке, и ей стало скверно и стыдно. Вспомнилось, как днем Самарин сказал: «Я подарю вам первую песню...»

— Зачем ты так с ним? — тихо сказала она Илье.

— Сам не знаю, — растерянно ответил Илья. Было видно, что и ему стало нехорошо, неловко. — Наверное, мы все плохо воспитаны... А, черт! Иногда брякнешь, а потом сам же и терзаешься.

— Дело не в этом, — ответила Наташа, — просто иногда ты бываешь слишком колючий.

— Да, я знаю, — ответил он, помрачнев. Что-то детское, беспомощное появилось в выражении его лица, и Наташе стало его жаль.

— Давай больше не будем об этом, — сказала она. — Хорошо?.. Что случилось, то случилось, — и попыталась улыбнуться.

Илья поднял голову и, неожиданно резко отодвинув от себя перевернутую рюмку, сказал:

— А знаешь, пошли отсюда.

— Хорошо, — тотчас согласилась Наташа.

Но ей не хотелось уходить, не развеяв легшую меж ними тень, и она сказала:

— А что мы будем делать с нашими пижонскими дыплятами?

— Мы подарим их официантке.

— Это будет царский подарок.

— Вот и отлично. Она довольно милая девушка.

— Заметано.

‘
Небо низко нависло над площадью, было густым, беззвездным. Впервые за весь май стоял душный вечер. Лишь из низины от парка тянуло прохладой. Илья взял Наташу под руку, и они подошли к чугунной оградке, за которой начинался резкий спуск. Там был темный провал, как в пропасть. «Вот бы прыгнуть туда», — подумала Наташа, и ей представилось, что внизу такая огромная даль, что если она прыгнет, то будет лететь в бесконечности, туманной и непроницаемой. Она так зримо представила это,

что даже поежилась. Тут же почувствовала, что Илья отпустил ее, накинул ей на плечи пиджак.

— Тебе холодно?

— Что ты! Это я просто так.

Но было приятно, что Илья накинул пиджак, она чувствовала его гладкую шелковистую подкладку.

— О чем ты думаешь? — спросила тихо.

— Как ни странно, о Самарине, — ответил он. — Сам не знаю почему, но все еще думаю о нем... Жаль, что я не видел его семью. Но его жена, наверное, полная седеющая дама. Она любит поговорить о музыке и похвастаться, что печет отличные торты. О, я знаю такие семьи, где все сверху чинно, добропорядочно, а на самом деле...

— Я тебя очень прошу, не надо об этом, — сказала Наташа, повернулась к нему, увидела его склоненное лицо, и ей снова захотелось дотронуться до его волос. Более не сдерживая себя, подняла руку.

— А они у тебя совсем мягкие, — удивленно протянула она, сразу испытав прилив нежданной нежности. — Совсем-совсем...

Пиджак сполз с ее плеч, упал куда-то вниз. Горячая его рука скользнула по ее обнаженной шее. И как в тот раз на лодке, Илья поцеловал ее. Еще что-то сопротивлялось в ней, она попыталась и на этот раз оттолкнуть его. «Что же я делаю?» — где-то смутно мелькнуло в сознании. А он все целовал ее, зашептал тяжело:

— Идем же отсюда...

И Наташа поняла, что уж ничего не сможет сделать с собой, да и нужно ли?..

10

Он или задремал, или забылся на время. А когда открыл глаза, то увидел, что в номере еще темно, но за окном чуть заметно побелело, и в этой сумеречной неопределенности кто-то глухо ворочался, тяжело вздыхал. Бледные всполохи изредка высвечивали крыши приземистых домов. И первое мгновение Илье показалось — он летит в самолете, и это за иллюми-

наторами мелькают то белые, то синие облака. Но тут же он вспомнил вечер, Наташу и увидел, что лежит на диване, и ощущение полета не исчезло, а еще более усилилось. Тело казалось невесомым, и, боясь нарушить эту необычную в себе легкость, он осторожно повернул голову, увидел бледное пятно подушки на кровати. Там спала Наташа. Он помнил, как она заснула, что-то еще пытаясь говорить, борясь сама с собой, и он, улыбаясь, бездумно смотрел на нее, боясь шевельнуться. Сейчас он не различал ее лица, лишь чувствовал ровное дыхание, чувствовал, как едва приметно вздрагивает на ее лице прядь волос. Ему захотелось убрать эти волосы со щеки, чтобы ненароком они не разбудили ее. Илья встал с дивана, подошел к кровати и, склонившись, увидел Наташу. Она спала, до подбородка натянув одеяло, лицо ее побледнело в сумерках, казалось совсем детским, чуточку капризным. Никакой пряди волос не было на ее щеке, волосы разбросаны по наволочке, будто их перепутал порыв ветра. Илья вдруг испытал такой прилив кроткой нежности, что не удержался и, едва касаясь рукой, погладил Наташу по голове. Тут же испугался, что может разбудить ее, попятился к двери и вышел из номера.

В коридоре горела одна тусклая лампочка. Илья почти бегом проскочил мимо длинного ряда дверей, мимо дремавшей в кресле под большим фикусом коридорной, спустился по лестнице, вышел на улицу. Легкий ветер вольно гулял по площади. Сразу за чугунной оградой, где обрывался холм, видны были вершины деревьев, усыпанные молодыми листьями. Илья зашагал к спуску и заметил, что на том берегу, над лесом, в побелевшем небе идет борение густых темно-синих облаков. Слева же, где открывался широкий простор речной поймы, вырвался луч, упал на облака, и они закровянились, еще больше набухли, и меж ними мелькнула молния. Деревья внизу, в парке, на какой-то миг стали белыми и опять почернели, словно обуглились. «Гроза, — подумал Илья. — Первая». Подумал мельком и сразу забыл. Он ощутил потребность куда-то идти, что-то делать,

Торопливо спустился по гранитной лестнице. Двое дворников пылили на мостовой, нехотя переговаривались, лениво взглянули на Илью. Он, прихрамывая, свернул в парк. На старинных петровских пушках, покрытых росой, расхаживали голуби. В аллеях было тихо, сумеречно, чернела влажная кора столетних лип. От этой тишины, неясных шорохов, горьковатого запаха влажной зелени стало еще тревожней. Он не сознавал, откуда возникла тревога, но она была во всем: в небе, деревьях, в травяном шелесте. Илья жадно закурил, присел на мокрую скамейку. Сильный солнечный луч пробился меж черных стволов, обжег их, вырвался на поляну, где стояли ровной стеной молодые тополя, и они, просвеченные этим лучом, вспыхнули свежей ярко-зеленой листвой. Сразу же совсем рядом засвистел, защелкал соловей, ему отозвался другой, третий... А солнечный луч все ширился, рос, и навстречу ему полыхали белые зарницы, они метались над вершинами деревьев, которые теперь замерли недвижно. Здесь словно проходил светораздел утра и ночи и шла непонятная Илье борьба.

Он ни о чем не думал, лишь чувствовал себя частицей огромного мира утренней зари. Это ощущение было так сильно и в то же время так ошеломляюще просто, что Илья не мог шевельнуться, он весь обратился в слух и зрение. И вновь, как давеча, когда он проснулся, в нем появилось чувство полета и невесомости.

Так он сидел, наверное, долго, потому что вдруг увидел: солнце поднялось за деревьями, и лучи его весело разбежались по траве, песчаной дорожке аллеи, заиграли на листьях тополей. Не вспыхивали больше зарницы, лишь раз прокатился тяжелым ударом далекий гром.

Что-то новое народилось в Илье, очень светлое и очень звонкое, и первое, что подумал он: «Наташа». Когда снова поднялся на площадь, оглянулся и увидел: над рекой висят темные тучи, и вода в реке под ними матово-синяя. Тучи шли к парку, несли с собой дождь.

Илья поднялся на четвертый этаж. Здесь по-прежнему в коридоре тускло горела лампочка, по-прежнему дремала в кресле дежурная. Дверь номера была приоткрыта. Илья бесшумно толкнул ее, вошел. Комната теперь освещалась косым лучом солнца. Наташа спала. Лицо ее вовсе не было бледно, а розовело, и на подбородке остался крохотный след губной помады... Илья ступил к кровати и тут же увидел, что Наташа смотрит на него, не поднимая головы от подушки, лишь чуть повернувшись к нему. Он внутренне вздрогнул от этого взгляда, открытого и удивительно светлого, ставшего теперь до боли знакомым.

— Ты уходил? — тихо спросила Наташа.

— С добрым утром, — сказал он, не слыша вопроса, и присел на край кровати.

— Ты уходил? — опять спросила она, приподняв голову. — А знаешь, я видела черемуху, целую охапку, какую несли тогда девчонки... А ты давно вошел?

— Только что.

— Значит, это мне снилось, когда ты был здесь.

Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Но Наташа отстранилась.

— Обожди... Я хочу встать. — Она протянула руку, чуть боязливо, как девочка, дотронулась до его волос, счастливо улыбнулась. Илья, не сдержав себя, стал целовать ее в губы, глаза, волосы.

— Ну, не надо... не надо, — попросила она, — я хочу встать...

В ее просьбе было столько беспомощной ласки, что Илья невольно отпустил ее.

— Ведь сегодня нам не надо на завод?

— Нет.

— Я сейчас встану... Хорошо?.. Ты только отойди к окну... У нас целый день. Так хорошо, что просто страшно... Ладно?

Он покорно отошел к окну, вспомнил, как этой ночью называл ее «ласточкой», «птичкой» и еще бог знает как ласково. Раньше, когда он слышал, что кто-нибудь называл так женщин, то ему становилось

смешно и слова казались фальшивыми. А теперь ему хотелось называть ее этими словами. Стоя у окна, слышал, как шуршит ее платье, то самое платье из легкой прохладной ткани с кроткими стволами березок. За окном над городом, рекой, парком трепетало, взволнованно мешало яркие внешние краски солнце. Илья стоял у окна, обостренно улавливая каждое движение Наташи, каждый, даже едва различимый шорох и впервые в жизни чувствовал такой прилив беспредельного счастья, что все вокруг казалось призрачным, неуловимым. И нельзя было пошевелиться, ничего нельзя было делать в эту минуту.

— Мы будем целый день вместе, — шепотом сказала за спиной Наташа.

Он хотел ей ответить: «Да, да, вместе», — но не смог.

Городские улицы были особенно шумны и многолюдны. Илья так и не видел грозы. Она прошла быстрая, с коротким сильным дождем, освежив воздух.

Они долго бродили по городу. Это Наташе захотелось толкаться сейчас среди прохожих, перебегать перекрестки у тупых морд автомобилей. Илья не мог привыкнуть после Москвы к запутанным, раскиданным по холмам улицам, то тихим и зеленым, с ветхими домами, ржавыми крышами, почерневшими заборами, двориками, над которыми так и витал стародавний уездный дух, то просторным и чистым, с новыми зданиями, окрашенными в желтоватый или розовый цвет. Теперь же этот город казался ему очень близким и давно знакомым, будто он прожил здесь целую жизнь... У кинотеатра, где стояли фанерные рекламы с загадочными лицами актеров, толпились мальчишки, прыгали, смеялись, толкали друг друга. Хлопали двери магазинов, то и дело входили и выходили из них люди, длинные очереди выстроились у газетного киоска. О чем-то говорили дикторы по радио, и голоса их смешивались с шумом улиц.

В этом суетливом движении воскресного дня было что-то очень близкое сейчас Илье. Все вокруг было удивительно легким, звонким, и Наташа — ее голос, смех, дробный стук каблучков — была также частью этого радостно-возбужденного мира.

— Ты знаешь, — сказала она, — когда мне хорошо, то всегда хочется надеть каких-нибудь глупостей... Давай придумаем что-нибудь, а?

— Я сейчас не сумею придумать... Я сейчас вообще ничего не умею, — ответил он.

— Давай пойдем на завод. Я залезу на трубу и оттуда крикну что-нибудь про тебя... Идет?

— Нет, — сказал он, — на трубу я тебя не пущу. Хочешь, подниму над улицей, и кричи.

— Подумают, что мы пьяные... Прибежит милиционер. Поташит в суд, и, как обещал тот рыжий сторож, дадут пятнадцать суток.

— Ну что же, тогда нам остается парк... Наш парк. Место свиданий в этом городе.

— И возвращаются ветры на круги своя, — засмеялась Наташа. — Ты знаешь, Илья, когда-то мне очень нравились эти слова. Их читала мама. Она у меня не была верующей, но почему-то в войну многие читали библию... И когда мама читала эти слова, то мне представлялось, как собираются бородастые ветры, садятся в круг и горит костер. А небо над ними морозное, холодное. А ветры сидят у костра, греются после тяжелой работы, и им хорошо так вот, всем вместе... Правда, это здорово у меня придумалось? А я была тогда совсем девчонкой, ты это учти. А тебе могло так придуматься?

— Нет, — ответил Илья, — мне бы придумалось по-другому.

— А как?

— Ты знаешь, они не могут сидеть у костра и греть руки. Они — ветры. И они не могут быть бородастые. Они всегда молодые и очень сильные. Они прилетают на круги совсем ненадолго, чтоб только взглянуть друг другу в глаза. И им очень нужно взглянуть друг другу в глаза, чтоб узнать: а не растеряли ли они в пути хорошее, что было в них?

А потом снова в дорогу. Они ведь не могут остановиться, иначе сразу перестанут быть ветрами и умрут... Вот так бы мне придумалось.

— И это тоже неплохо, — ответила Наташа.

— Для нас с тобой. А, наверное, какие-нибудь метеорологи до слез бы смеялись над всем этим... Что, неправда?

— Если бы они смеялись, то они тоже перестали бы быть метеорологами... Ну что ж, идем в наш парк...

А потом они сидели под старыми липами за столиком кафе, ели мороженое. Вокруг было суетливо и празднично. За деревьями на лужайке играли в волейбол. К реке тянулся людской поток с кошелками, сумками, рюкзаками. Где-то под джазовый надрыв кокетливо пела певица о разлуках и встречах. Наташа ела мороженое и смотрела на Илью. И ему нравилось, как она смотрит.

— Расскажи что-нибудь, — попросила она.

— Когда так просят, то ничего нельзя вспомнить, — ответил он.

— А ты мне расскажи про войну.

— Я тебе уже как-то говорил, что это совсем не интересно.

— Тебе... А мне — очень. Скажи, ты убивал кого-нибудь на войне?

— Убивал.

— И тебе сейчас не страшно, что это было?

— Нет... Я уж тебе объяснял, что такое война. Там властвуют другие законы, чем в человеческой жизни. Чем лучше ты убиваешь, тем лучше для тех людей, которые остались за твоей спиной. И этим ты больше сохранишь жизней. Такая профессия у солдат.

— А ты помнишь тех, кого убил?

— В общем нет... В атаке можно запомнить какой-нибудь пустяк, какую-нибудь десятистепенную мелочишку, и даже очень хорошо запомнить, а человека, которого убил, запомнить почти невозможно... Впрочем, одного я помню хорошо.

— Немец?

— Фашист. Он выпустил в Сережу Кольцова автоматную очередь.

— Кто это Сережа Кольцов?

— Разве я тебе не рассказывал о нем?.. Мне почему-то казалось, что я тебе рассказывал. Он был художник, совсем пацан, но настоящий художник. У него есть картина. Она называется «Облака». Просто облака, меж ними клочок неба. И все. Но в ней такая даль, что когда смотришь на эту картину, то хочется стать намного лучше, чем ты есть. Если ты хочешь, мы с тобой поедem когда-нибудь в один уральский городок. Там в музее и висит эта картина и еще несколько, написанных им. Ты сама увидишь, какой это был удивительный художник. Я ездил в этот городок. Там жили мать Сережки и невеста. Они получили повестку, что Сережа пропал без вести. В войну такие шутки случались часто... Я не стал им рассказывать, что фашист выпустил в него всю автоматную обойму. Они и сейчас об этом не знают. Но я думаю, что таких людей, как Сережа, нельзя пускать на войну. Их слишком мало. И они для людей могут сделать в тысячу раз больше, чем убить несколько фашистов...

— Так как это было с тем фашистом?

— Мы прыгнули с Сережей в траншею вместе. И прямо наткнулись на него. Вот он с перепугу и выпустил в Сережу всю обойму. Я вышиб у него автомат, но было поздно. Потом этот подонок ползал на коленях и плакал. Позднее я забрал его документы, чтобы помнить, кто убил Сережу. Этот тип был у них тыловой крысой, из какой-то зверской канцелярии, проштрафился, вот его и послали на фронт. Стрелял он как трус. А у себя в тылу покалечил немало жизней... Очень обидно было, что именно такой гаденыш.

— А если бы другой, то разве было бы не обидно?

— Тоже было бы... Теперь ты видишь, что на войне все обстоит иначе, — Илья невесело улыбнулся. — Но, может, нам хватит об этом?..

Он огляделся вокруг. Этот разговор нарушил что-то в его праздничном мире, а ему не хотелось поки-

дать полный движения и трепета день. И он подумал сейчас о том, что как легко, оказывается, разрушить его.

— Хватит, — сказал он еще раз.

Наташа засмеялась, и на переносице у нее запрыгали конопушки.

— И ты, пожалуйста, не смейся так, — улыбнулся он. — Мне очень захотелось тебя поцеловать.

— Ну что же, целуй, — она озорно тряхнула головой.

— Здесь слишком много прохожих.

— А ты закрой глаза.

— Заметано, — и Илья, перегнувшись через столик, поцеловал ее в сладкие от мороженого губы.

— Здесь кафе, молодые люди, — услышал он над собой строгий голос. Поднял голову, увидел насупившееся лицо рыхлой полной официантки.

— Я забыл... извините, — он достал деньги, положил их на столик. — Мы найдем другое место, — и, взяв Наташу за руку, побежал, толкая людей, по аллее.

— Остановись, сумасшедший! — крикнула она.

Они выбрались из людского потока, свернули на узкую тропу меж тополями. Деревья стояли, как и рано утром, просвеченные солнцем, молодые, яркolistные.

— Ты хороший, — сказала Наташа и погладила Илью по руке. — Ты очень хороший и добрый... Удивительно даже, что я раньше думала, что ты сухарь.

— Я и сейчас сухарь.

— Нет. Ты совсем не сухарь. И, честное слово, мне никогда еще не было так хорошо...

11

Чувство, вспыхнувшее в Илье к Наташе, было настолько сильно, что на какое-то время целиком захватило его. А между тем это чувство непробужденным жило в нем давно. Война отняла у него годы, когда в человеке в полную силу впервые расцветает любовь. Потом наступило другое, но тоже суровое вре-

мя, требующее отдачи всех сил. В эту пору он и встретил Клаву. Они быстро сошлись, поженились, и она родила дочь. Он все время думал, что любит Клаву, с ней ему было покойно. И не понимал, что жажду покоя принимал за любовь, а если она и была, то не прочной и быстро исчезла, так как не от подлинного чувства, а от желания этих чувств возникла. В этом не были виноваты ни он, ни Клава. Они обманывались искренне, и оба не замечали, как постепенно то общее, что еще связывало их, стало безрадостной привычкой супружеских обязанностей, и всеми силами стремились утвердить прочную на вид, но такую зыбкую, по сути, видимость благополучия. Может быть, потому, когда проснулось в нем скопленное годами и захватило всего чувство настоящей любви, он и не думал, не вспоминал о Клаве. И она сама напомнила о себе...

В цехе было то напряженное приподнятое состояние, когда вокруг начинают понимать, что вот-вот должен свершиться перелом; еще немного, еще несколько усилий, и та высота, что недавно казалась недоступной и представлялась чуть ли не стеной, о которую разбивались все надежды, будет взята. Еще не было полных выкладок и расчетов, но решение, как говорилось на оперативках, «носилось в воздухе». Еще совсем недавно был момент, когда люди, утомленные бесконечными спорами, совещаниями, чуть не потеряли надежду. Казалось, им было ясно: вязкость стали зависит от горячей прокатки. И меняли структуру металла, тепловые режимы; прокатанный горячим способом рулон поступал в цех холодного проката. Все собирались у пятиклетьевого стана и, стараясь казаться спокойными, нарочито громко перебрасывались шутками, но много курили, нетерпеливо и затаенно поглядывали, как вальцовщики задавали конец рулона к стану. Мгновение, и потечет, забьется, отливая синью, как речной поток, стальная полоса. И, может быть, свершится: она пролетит, обжатая мощными валками; свежая, ровная, свернется

на другом конце стана в готовый рулон. И все представляли, как побегут к этому рулону и, уже не сдерживая себя, будут смеяться и трогать эту сталь. А потом обрежут пробу, понесут торжественно в лабораторию, и оттуда раздастся радостный крик: «Есть! Есть трансформаторная!» И все тревоги, вся нервозность, бесконечность споров останутся позади. И можно будет, смеясь, вспоминать: «А помнишь, ты говорил: кремний, кремний? Вот тебе и кремний!..», «На сталеплавильщиков наваливались. За что, а?.. Ну за что? Сталь-то вам варили — первый класс!» И придут новые заботы, о которых давно все мечтают. Можно ведь, оказывается, мечтать и о заботах. Но те заботы уж будут совсем другими: «Дать больше стали, дать выше качество...» Эх, лишь бы она пошла, проклятая!

И заправлялась в стан полоса. И замирали у операторских пультов вальцовщики. Вспыхивали на щитах красные и зеленые лампочки. Прыгали стрелки приборов. Поблескивая и грохоча, летела стальная лента и... крошилась, трещала, ломалась. И никто уже не шутил, прикуривали от непогасших папирос новые. А через несколько часов, когда все данные поступали из лаборатории, шли хмурые и раздраженные на очередную оперативку. Семь вариантов прокатки! Семь подготовок к бою! И каждый раз атака захлебывалась, рубеж так и оставался невзятым... Готовился восьмой вариант. И именно в этот момент появилась надежда. Как у путников, измученных дорогой и выбившихся из сил, внезапно появляется ощущение близкого пристанища, так и у людей, ведущих поиск, внезапно возникает чувство удачи. Еще нет полного решения, еще предстоит что-то открыть и найти, но чувство близкой победы завладевает людьми. Оно бывает таким мощным, что захлестывает всех и пробуждает такие силы, что все недоступное доселе становится доступным и наступают те простота и ясность мышления, которые неизбежно приводят к открытию.

Этот порыв захватил и Илью. Он не был силен в технологии, как Самарин, Росляков и другие ин-

женеры, входившие в группу. Его участок — оборудование. И все же он не пропускал ни одной оперативки, ни одного совещания. И вместе с тем ему все время казалось, что именно оборудование может подвести. Слишком много неурядиц на разных линиях, и здесь надо было искать и решать: порой бурилась полоса в травилке, на чистильной машине барахлили дисковые ножницы, не все в порядке оказывалось и у термистов. И таких задач и задачек набиралось множество. Илья не вылезал из цеха.

Внезапно обрушилась жара. Она тянула из хвойного леса, накаляла песчаную почву, каменные стены цеха. Лишь вечерний воздух нес с собой легкую прохладу. К концу дня неизменно начинался гуд в голове, тело казалось липким, тяжелым, и хотелось пойти к реке.

Илья в эти дни встречался с Наташей редко. Ей приходилось работать по ночам. Корпус заводской лаборатории стоял у самого леса, и Илья пересекал двор, останавливался у сосен, ждал. Он еще издали видел, как шла Наташа, легко и быстро, и знал: сейчас она заметит его и поднимет руку. И каждый раз она подходила, улыбаясь, открыто глядела на него, и он забывал обо всем на свете, видел только ее одну. А она тут же оставляла его, и тоска завладевала им.

Так было и в этот вечер.

Илья пересекал железнодорожные пути к пролому в заводской стене, через который ходили прокатчики. Все знали об этом проломе, но до сих пор его не заделали. Путь через него к трамвайной остановке был ближе, чем через проходную.

Над лесом загустела закатная полоса, зажгла вершины сосен. Огромные оконные пролеты электроплавильного цеха вспыхнули желто-белым огненным накалом, будто туда ненароком скатилось солнце. Там выдавали плавку, и казалось, что красный отсвет на соснах и полоса в небе — от бушующего огня за огромными клетчатыми окнами, а не солнечный заход.

Илья подходил уже к пролому, когда услышал, его окликнули:

— Обождите, Клинков!

Оглянувшись, увидел, что, широко перешагнув через рельсы, торопливо идет Самарин. Он за последнее время очень сдал. В цехе это не было так заметно, как сейчас. Щеки у него обвисли, под глазами появились мешки. Он по-прежнему держался прямо и шел, вскинув голову, но не размахивая руками. «Что-то в цехе», — мелькнуло у Ильи, и он приготовился к тому, что придется возвращаться назад.

— Битый час искал вас, Илья, — сказал, подходя, Самарин. — Куда ни ткнусь: все вас только-только видели. Вы, оказывается, умеете проваливаться сквозь землю...

— Что случилось?

— Да ничего особенного... Просто нужно поговорить с вами.

Илья выжидающе смотрел на Самарина. А тот замолчал, наклонив голову, словно прислушивался. Илье показалось, что начальник цеха смущен, и затянувшееся молчание было неловким. «Что это он?» — подумал Илья.

— Знаете что, Клинков, — сказал, наконец, Самарин, — идемте ко мне домой. Тут рукой подать. Там и потолкуем.

«Что ему нужно?» — уже начинал раздражаться Илья.

— Разве нельзя здесь? — спросил он, хмурясь.

— Лучше ко мне, — ответил мягко Самарин, взяв Илью за локоть и отвел глаза.

Тревожное предчувствие шевельнулось в Илье. Он еще раз взглянул на усталое лицо Самарина, вяло подумал: «Пусть его...» — и, не ответив, пошел к пролому. Самарин тоже шел молча, и это было не похоже на него.

Они миновали поределый лесок, квартал недостроенных домов и вышли на шумную, гремющую машинами и трамваями улицу. Поднялись на второй этаж розового четырехэтажного дома. Самарин открыл дверь, кинул Илье: «Прошу». Илье вспомни-

лось, как здесь, у этих дверей, более месяца назад Самарин стоял в черном своем костюме и принимал гостей. Вспомнилось, как в поздний час впервые выходил из этих дверей с Наташей. Эти воспоминания были сейчас для Ильи очень близкими и дорогими.

В квартире Самарина все было по-прежнему: две пустующие комнаты, а в третьей — большой стол из цехкома, несколько стульев, раскладушка, чемоданы желтой кожи.

— Садитесь, Илья, — пригласил Самарин и за просто спросил: — Угостить чаем?

— Ну что же... — ответил Илья.

Ему не хотелось перечить Самарину.

— Вот и отлично, — сказал тот. — Я мигом... Вы пока покурите...

Слышно было, как Самарин возится на кухне. Илья оглядел большую неуютную комнату, увидел в углу кучу грязных рубаш, стопку книг на подоконнике и там же пачку листов, испещренных расчетами, цифрами, и впервые за все время подумал о Самарине с теплой ноткой сочувствия: «А ему не сладко живется...» И вспомнил, как сегодня, после оперативки, Самарин раскрыл настежь окно в своем «умывальнике», потянулся к графину, торопливо стуча им о край стакана, налил воды и, достав из кармана стеклянную пробирку, что-то лизнул из нее и запил водой. Он долго стоял у окна, повернувшись к Илье спиной, и жадно глотал накаленный солнцем воздух. Илья ушел, так и не решив до конца дела... «Наверное, он сердечник», — подумал Илья.

Самарин принес чайник, стаканы, сыр.

— Хлеба в доме нет, — смущенно улыбнулся он. — Обойдемся?

— Обойдемся, — кивнул Илья.

— Зато чай у меня отменный, — сказал Самарин. — Ручаюсь, не пили такого. По особому рецепту делаю. Смесь: китайский с азербайджанским, да еще плиточного добавляю. Отлично поднимает тонус...

Чай действительно был густ, и от него шел чудесный, вкусный запах.

— Ну, давайте, Илья, за нее, — шутливо сказал Самарин, приподнимая стакан.

Этот тост придумали цеховые инженеры. Когда в последнее время прокатчики собирались за столом, поднимали тост только «за нее». И каждый знал, что речь идет о трансформаторной стали. Самарину, видимо, нравился этот тост.

Они выпили чаю, и Илья увидел по лицу Самарина, что тот собирается начать разговор, ради которого и звал к себе, и насторожился. Но Самарин курил молча. Илья не выдержал.

— Так что за дело ко мне? — спросил он.

— Я не умею финтить, Илья, — сказал вдруг Самарин, положил на край тарелки папиросу и потянулся к боковому карману своей куртки. Скребнула застёжка-«молния». — Два часа назад мне передали вот эту телеграмму. Она касается прежде всего вас... — И он протянул Илье телеграфный бланк.

Илья взял, прочел:

«Срочно сообщите здоровье Клинкава беспокоимся Клавдия Клинкава».

— Клавдия Клинкава, — машинально произнес вслух Илья и с особой остротой увидел лицо жены, чуть скуластое, с застывшими, испуганными глазами, припухшими от слез. Таким оно было, когда Вика заболела скарлатиной. Он еще раз прочел телеграмму, словно пытаясь найти меж строк какой-то сокровенный смысл, почувствовал, как до боли запульсировало у него в висках... Он не писал им, ничего не сообщал. Там была другая жизнь, хотя и его, но другая, со своим светом, своим теплом, но она отодвинулась, стала далекой и лишь в короткие минуты напоминала о себе, но не властно, как возникают порой милые сердцу воспоминания. А теперь внезапно перед ним открылось то, что он сам от себя прятал. Он еще не понял всей глубины случившегося, лишь почувствовал, что мир, который внезапно возник вокруг него, полупризрачный, чистый, свежий, треснул... Илья свернул телеграмму, заметил настороженный взгляд Самарина. Меньше всего ему сейчас хотелось ощущать на себе этот взгляд. Сдерживая внутреннюю

дрожь, стараясь быть спокойным, Илья поднялся. Возникло желание уйти из комнаты, остаться одному, все обдумать.

— Садитесь, Клинков, — глухо сказал Самарин.

Илья, не слушая его, пошел к выходу. Тогда Самарин встал, загородил ему путь.

— Куда вы?

— Пустите, — сказал Илья. — Ну?! Какое вам до этого дело?

— Есть дело, — голос Самарина прозвучал властно, как это бывало на оперативках, когда вдруг надо было принять неотлагательное решение. Самарин так говорил редко, но каждый раз, когда говорил, люди примолкали, чувствуя за ним силу. — Есть дело, — еще раз повторил он, и Илья растерялся под его отяжелевшим взглядом. — Если бы не было, не стал бы звать вас... Не лезьте на рожон, Илья. Садитесь, вам говорят.

Все же Илью взвинтил этот начальственный тон.

— Да по какому праву... — выкрикнул было он.

— Потом будем считать права, Клинков... Но пока я не потолкую с вами, вы не выйдете отсюда. Это железно! Слышите?

Он стоял, высокий, расставив ноги, и лицо его вовсе не походило на лицо драматического актера. Было в нем что-то жесткое, чуть надменное, и в то же время в глазах его пряталась затаенная умная усмешка.

— Ну, хорошо, — сказал Илья, подвинул к себе стул, сел, закинул ногу на ногу. — Толкуйте.

Самарин тоже сел, взял с тарелки погасшую папиросу, не торопясь раскурил ее и, прямо глядя в лицо Илье, заговорил:

— Я не хочу плохо думать о вас, Клинков... Спокойнее, Илья. Я вам пока не сказал ничего обидного. И мне не хочется этого делать. Я верю, что с Наташей у вас настоящее... не баловства ради...

— Какого черта в конце концов!.. Следствие...

Самарин поморщился.

— Не надо так громко, — сказал он. — Вы слишком любите с маху прилепывать людям на затылок наклейки... Так вот я о чем. Даже если у вас с На-

ташей настоящее, вы, Клинков, ведете себя далеко не честно.

— А яснее?

— А яснее вот что... За той бумажкой, которую вы спрятали в карман, стоит женщина и, если не ошибаюсь, ребенок. Даже если к той женщине вы потеряли всякое уважение, она все же остается человеком. А человек человеку не имеет права лгать, и особенно, когда речь идет о том, как жить дальше... Теперь, надеюсь, вы понимаете, о чем я, Клинков?

Все это было неожиданным, странным, и самое странное было то, что именно Самарин так говорил с ним. Илья не мог удержаться от усмешки.

— А вы верите в то, что говорите? — спросил он.

— Напрасно вы так, Илья, — ответил Самарин. — Я могу рассуждать следующим образом: мне совсем не хочется, чтобы в цехе, где еще только зарождается коллектив, на партсобрании слушалось персональное дело моего зама...

— Ах, вот в чем дело...

— Но я не поэтому завел с вами разговор. Хотя и здесь есть своя железная логика...

— Короче. Чего вы хотите?

— Ладно. Пусть будет короче. Я хочу, чтобы у вас достало мужества и честности прямо обо всем сказать жене.

— Да вам-то это зачем?.. Да вы что, на самом деле? — уже теряя над собой власть, выкрикнул Илья, вскочил со стула, уронил стакан. И опять его привел в себя властный окрик Самарина:

— Садитесь!

Самарин стоял. На его побелевшем лице ярче выступили густые брови.

— Эх, вы... — он укоризненно покачал головой. — Я о вас думал лучше...

Он опять зажег папиросу, которая гасла. Подошел к распахнутому окну, за которым видна была сосна, одиноко стоящая на углу улицы. На этой сосне трепетал малиновый отсвет. В комнату заползли синеватые сумерки, и оттого, что Самарин встал у окна, еще более потемнело.

— Послушайте, Илья, — сказал он, глядя на вершину сосны. Голос его отмягчел, а сам он казался очень большим и очень широким в плечах. Что-то покорилося в Илье, он опять опустился на стул и, насторожившись, прислушался.

— Мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли... Может быть, это и не очень легко. Мне пятьдесят, вам тридцать пять. И жизнь мы прожили разную. У меня была путаная, кочковатая. Все в ней было: и хорошее и скверное... Я не хотел бы вам рассказывать, что, когда вы еще не научились азбуке, я работал на Магнитке. Это было начало. Трудное, но отличное начало... Люди вашего возраста и те, что помоложе, почему-то не очень любят, когда им об этом рассказывают. Может быть, потому, что им часто рассказывают и не всегда так, как нужно. И все-таки об этом следует напоминать... Но сейчас я хочу вам рассказать о себе плохое. Я часто шлепался в лужу. Но струсил я по-настоящему один раз. Бывает, что и этого достаточно... Но, видите, сейчас я не боюсь вам об этом говорить. Я женился первый раз, когда мне было двадцать. Она пришла к нам из деревни. У нас было все вместе. Мы работали вместе, мечтали и на рабфак пошли вместе. А потом меня вызвали на ячейку и спросили: как я, рабочий парень, в доску свой, женился на кулацкой дочке? Сначала я не поверил, спросил у нее. Она призналась, что просто не хотела говорить об этом, вспоминать, потому что сама ушла от отца. Я сказал об этом на ячейке, и мне ответили: «Примиренчество. Или она, или мы...» Вот тогда я струсил, Клинков. Вместо того чтобы воевать, я испугался пары дураков, хотя знал, что она и честней и умней их. Вы бы видели, Илья, как она уходила... Не дай вам, как говорится, бог испытать такое. Самое страшное, когда человек тебе прямо смотрит в глаза, а ты чувствуешь, что предал его... Ну вот... Вы спросите, для чего я вам это рассказал?

Илья не отвечал и не знал, что отвечать. Он не видел лица Самарина, перед ним была только широкая темная тень на фоне посиневшего неба. Ему даже

почудилось, что это вовсе и не Самарин, а кто-то совсем другой стоит в полутьме и говорит с ним. Сейчас ничего не существовало, только этот голос.

— Если хотите, я объясню вам... Кстати, после той истории я возненавидел персональные дела и сейчас ненавижу, когда идет всеобщее ковыряние в чужой душе, смакование подробностей... Я вам хотел объяснить, почему говорю все это. Может, вам не понять, но в таком возрасте, как я, иногда хочется переиграть все с самого начала. Вдруг начинаешь оглядываться назад... Старики ведь всегда оглядываются назад. И тогда замечаешь: сколько все-таки скверного натворил ты за свою грешную жизнь... Я когда-то очень любил стихи Есенина. И, между прочим, у него есть такие строчки: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Помните?.. Когда мне было двадцать, то я тоже думал, что жизнь моя проскачет на розовом коне по весенней гулкой рани... Розовый конь не состоялся. И все же я люблю то, что прожил. Но мне не хочется, чтобы вы шлепались в лужу с этого самого коня. Может быть, я сам стал другим, а может, время теперь такое, что люди совсем не должны лгать друг другу. И я хочу видеть людей такими. Вот почему я вам все это говорю. Я и раньше думал, что нам придется сойтись с вами вот так, напрямую. И раз уж сошлись, то я вам скажу до конца. Вы неплохой парень, Клинов. Я не знаю, что там случилось у вас в жизни, но вы и теперь не очень-то верите людям. Я пытался на работе кое-что втолковать вам, но не получалось... А надо верить, Илья. Без этого человек становится одиноким, как вот сосна под моим окном. Но даже сосны не выдерживают одиночества. Когда вырубает лес и оставляют их вот так на улице среди жилья, они медленно умирают. Архитектор, наверное, этого не знал, а я знаю... Вам сейчас нелегко. Когда любишь, всегда нелегко. Но в это время и многому учишься. Может быть, вы научитесь верить. Я бы хотел...

В комнате стало совсем темно. С улицы доносились ребячьи крики, шум машин, трамвайные звон-

ки. Илья сидел, ощущая странную гулкую пустоту внутри себя. Услышал, как шагнул к столу Самарин.

— Ну, вот и все, — донеслось до Ильи. И тут же, словно ничего не случилось, Самарин, как и в первый раз, сказал просто:

— Хотите еще чаю?

Клинков ответил почти машинально:

— Я пойду.

— Что же, Илья... — донеслось из темноты.

Он вышел из дома, дошел до трамвайной остановки, оглянулся. У Самарина было по-прежнему темно в окнах.

— Артист, — сказал Илья вслух.

Но теперь это слово показалось нелепым, стало не по себе, как это бывало с ним, когда он вдруг среди общего разговора вставлял что-нибудь совсем не к месту. Он сел в трамвай и все же упрямо твердил про себя: «Артист... Артист...»

Около парка, пройдя по аллее, Илья увидел освещенную деревянную будку тира. Несколько подростков толпилось у барьера. Илья взял ружье. Подростки примолкли. Илья прицелился в утку, выстрелил. Утка перевернулась. Поискал глазами, во что бы еще можно было стрелять. Вот этот воздушный шар... И шар свалился вниз. Теперь он больше не выбирал, а стрелял подряд во все цели.

— Здорово! — восхищенно сказал кто-то из подростков. Илья положил ружье, расплатился и, ни на кого не глядя, вышел.

Впереди за деревьями гремел на танцевальной площадке оркестр. Илья направился туда, остановился в толпе зрителей. За решетчатой изгородью танцевали. Шарканье множества подошв приглушало музыку. Илья смотрел на танцующих. Гирлянда ламп освещала площадку, и все лица казались плоскими и желтыми, словно их облили воском.

— Дяденька, проведите меня.

Илья оглянулся на шепот. Девчонка лет семнадцати с нагловатой откровенностью смотрела на него.

— Мама давно ждет, — серьезно сказал Илья.

— Ну и ладно, — ответила девчонка и отвернулась.

Он зашагал дальше по аллее, к реке. За лодочной станцией купались, плескали водой, смеялись, визжали. Илья сел на торчавшую из земли сваю. Покачивался электрический фонарь на столбе у будки, где была касса. Круг света набегал на мостки, высвечивал острые носы лодок, темную воду и подбирался к ногам Ильи. На мостках кто-то сидел. Илья взглянул, узнал сутуловатого, рыжебородого сторожа. «Что-то собачье в нем», — так сказала Наташа. Сторож и сейчас был похож на поджавшего хвост пса.

«Наташа», — подумал Илья и тут же потянулся к карману, где лежала телеграмма от Клавы. Но он не вынул ее, отдернул руку и отчетливо понял, что пытается уйти от того, что нужно решать сейчас, немедленно и что решить почти невозможно...

12

Наташа научилась прятать свою тоску от людей. Человек, который ведет себя легко, независимо, не вызывает пристального внимания, и к нему не пристают со всякими вопросами, от которых становится еще горше. Скрывать же свое счастье она не умела и, может быть, не хотела потому, что никогда еще не испытывала его в такой полной мере, как сейчас. Просыпаясь утром, она долго лежала с открытыми глазами, смотрела, как играет солнечный луч, падающий из окна, ощущала его теплое прикосновение и думала, что впереди день и этот день приготовил для нее много удивительного и неожиданного. Так просыпалась она в детстве, в праздники и не торопилась вскакивать с постели, слушала, как на кухне мама гремит посудой и оттуда доносится запах чего-то очень вкусного, и она старалась угадать, что подарят ей в этот праздник. И уже сами эти ожидания приносили радость.

Если она шла по улице, или была на заводе, или ночью работала в лаборатории, то тоже все время ждала чего-то необычного. Ей все время хотелось

улыбаться и разговаривать громко, так, чтобы люди оглядывались и тоже улыбались. Об Илье она думала как-то совсем не так, как раньше думала о Санду. Она не вспомнила ни привычек Ильи, ни его голоса, ни тех слов, которые он говорил, а думала о нем, как об очень хорошем в ее жизни, встречи с которым жаждешь неутолимо. И каждый раз, когда встречала его, то заранее боялась расставания...

Анастасия Семеновна Рослякова сказала ей:

— Наташа, у тебя такая физиономия, что даже противно.

— Я буду носить паранджу, — засмеялась Наташа и спросила: — А почему противно?

— Ты думаешь, у всех такое бывает, как у тебя? Черта с два.... Вот и начинаешь завидовать.

— И вы завидуете?

— А ты думаешь, я не женщина?

Ночь была лунная и звездная. Они сидели в лаборатории у открытого окна. Сухие мелкие звезды стояли над лесом; и в глубине этого леса, словно огромный, неуклюжий зверь, вздыхало, ворочалось тяжелое эхо заводского гула.

Анастасия Семеновна курила. Она была, как всегда, в красной кофте, открывавшей розовую шею. На кофту упало несколько светлых волосков. Наташа потянулась, стряхнула эти волосы.

— Не подлизывайся, — сказала Анастасия Семеновна.

— Я не подлизываюсь. Просто навожу порядок... А завтра я куплю паранджу, и все будет хорошо. Теперь я понимаю, почему на Востоке носили чадру.

— Что ты, курчонок, я ведь рада за тебя... А ты не боишься?

— Чего?

— Как это кончится.

— Это не может кончиться... Не имеет права кончиться...

— Все всегда кончается. У одних раньше, у других позже. А у третьих — и не успев начаться. У твоего парня есть жена и дочь. Вот я и спрашиваю: не боишься?



— Я об этом еще не думала и, наверное, поэтому не боюсь.

Анастасия Семеновна стряхнула с папиросы пепел за окно, прищурилась от табачного дыма.

— Ты смотри, курчонок, мы можем с виду быть очень добрыми, можем смеяться над своими мужьями, но когда у нас их отнимают, становимся тигрицами.

— Я ни у кого ничего не отнимаю, — улынувшись, сказала Наташа. Ей было хорошо сидеть у окна и так вот разговаривать с этой женщиной, которая, как ей казалось, все хорошо понимала. — Я просто встретила свое.

— Но та, другая, будет думать, что это для тебя чужое. И ее не осудишь, курчонок.

— А может быть, осудишь... Звериное всегда осудишь. Тигрица — это уже не человек. Я ведь об этом думала, очень много думала, Анастасия Семеновна. Не сейчас, еще раньше. Люди иногда очень боятся расстаться со своими предрассудками. Вы понимаете, они тянутся от такой глубокой древности, что она как бездонная пропасть. Загляни туда — закружится голова. Человек уже стал совсем другим, а предрассудки живут в нем, и их не вытряхнешь из души... Я знаю, о чем вы говорите, знаю. Приди сейчас в любую семью, где давным-давно умерла любовь, приди и скажи: что же вы, братцы, делаете? Себя калечите, детей. По каким законам живете? Я знаю, что они скажут. Они скажут: пришла, мол, разбивать семейное счастье. А счастье-то никакого и нет. Не только давно разбито, в дым развеяно...

— Ишь ты, как вы стали рассуждать... — покачала головой Анастасия Семеновна. — Но все это слова...

— А я верю.

— Во что же ты веришь?

— Я верю, что будет на земле такое время, когда люди очистят себя от предрассудков, и им даже будет совестно, что когда-то цеплялись за них. И любовь тогда будет другая, непобедимая, потому что ей ничто не сможет помешать. Человек, когда любит, становится очень сильным. И те люди будут самыми сильными, потому что любовь у них будет всегда.

— Знаешь, Наташка, кто ты? — усмехнулась Анастасия Семеновна. — Фанатичный мечтатель. Честное слово, это опасно. В прежние времена из таких людей получались или проповедники, или авантюристы.

— Я буду авантюристом.

— И тех и других казнили.

— И все-таки лучше быть авантюристом. Проповедник — это скучно... Вы зря меня сбили, я хочу рассуждать дальше.

— Валяй.

— Те люди будут совсем освобождены от лжи. Начисто. Они не будут лгать никому и ни в чем.

— И не будет дутых сводок о перевыполнении плана?

— Сводок вообще не будет. А ложь посчитают самым высоким преступлением. «Обманывать нехорошо», — об этом будут знать не только дети, но даже взрослые.

— Скажи об этом моему мужу. И о сводках...

— А он поймет?

— Ну, ну. Ты уже решила нападать на всех мужей сразу.

— Тигрица проснулась?

— Она самая, — Анастасия Семеновна засмеялась, закурила папиросу, аккуратно загасила о пепельницу и сказала, став строгой: — А теперь, курчонок, к микроскопам. Если мы к утру не подготовим данных, из нас выбьют все хорошие мысли обыкновенным ударом по шее. И в первую очередь мой муж. — И она обняла Наташу, поцеловала в щеку. — Ты немного сумасшедшая, но я тебя люблю. Ну, иди, иди... Разболтались бабы.

Короткая июньская ночь казалась долгой. Наташа сидела у микроскопа, проверяла пробы из цеха горячего проката. Перед глазами все время стоял желтый диск, иссеченный линиями, точками, крупцами... Сталь. И у металла есть своя жизнь, глубинная, подспудная, с тысячью нерешенных загадок... Загадки, везде загадки...

Наташа невольно начинала думать о Клаве. Она

никогда не видела этой женщины, не видела даже ее фотографии и ничего о ней не знала. Ей и не хотелось этого. Она не испытывала к ней ни ревности, ни зависти, ничего. Даже не было любопытства. Лишь теперь задумалась: а какая она, Клава? Наташа не боялась встречи с ней. И все же... Если это случится... Наташа почувствовала смятение: а хватит ли у нее сил? Она пыталась отогнать от себя непрошенные мысли, нужно было работать, но они навязчиво возникали вновь и вновь...

Утро входило в лабораторию не торопясь, сперва приглушило лампы, потом залило собой все: стены, пол, столы, приборы. При этом розовом свете утра лицо Анастасии Семеновны показалось землистым. Наташа взглянула на нее и невольно достала из сумочки зеркало, посмотрела на себя, засмеялась: «Совсем некрасивая. Ну и ладно!» И быстро стала собираться.

Огромный заводской двор был ярко освещен. Песчаные дорожки, асфальтовые трассы, перерезавшие его, корпуса цехов, сложенные из серого кирпича, — все отражало солнце, и было больно глазам.

От сталеплавильного к цеху горячего проката тепловоз тянул платформы со слябами. Девчонка кому-то махала рукой из тепловоза и что-то кричала. На одной из платформ размашисто было написано мелом: «Привет Ленке!» По главной трассе шли на смену люди, шли небольшими группками и о чем-то между собой говорили. А девушки в спецовках толкали друг друга, дурачились.

Наташа стояла у сосны и ждала. Увидела Илью, подняла руку. Но он не ответил ей, как бывало, и, когда подошел, Наташа увидела, что у него такое же землистое лицо, как и у Анастасии Семеновны. Он смотрел на нее запавшими, усталыми глазами и, ничего не сказав, полез за папиросой.

— Что-то случилось? — предчувствуя недоброе, спросила Наташа.

— Да, — сказал он. — Сегодня прилетает Клава.

— Сама?

— Я дал телеграмму.

Наташа отшатнулась, непонимающе смотрела на него. Увидела, как дернулась его небритая щека, как он торопливо, крепко сжимая папиросу, прикуривает.

— Ты сам? — спросила она. — Зачем?

— Так надо, Наташа, — сказал он тихо. — Очень надо...

И по тому, как он это сказал, как сжал ее запястье, она вдруг поняла, что происходит, поняла, как тяжело было сказать ему это, и почувствовала, что только так он и мог сказать и ничего другого нельзя было сделать. Она отняла свою руку и, как бывало прежде, дотронулась до его волос.

— Ты боишься? — спросила.

— Нет... Просто так надо.

— И я тоже не боюсь, — сказала она с вызовом, хотела улыбнуться, но не смогла, поняла, что еще немного — и расплечется. И чтоб подавить в себе это горестное смятение, храбро тряхнула волосами: — Честное слово, не боюсь!

— Наташа, — позвал он.

И все-таки она улыбнулась.

— Ничего, ничего... Ты иди сейчас. Тебя ждут... Ты иди.

Он потянулся к ней.

— Наташа...

Она отстранилась.

— Ты не бойся... Я все поняла. Тебе надо идти...

Он покорно повернулся и пошел по асфальтовой дорожке к цеху, все время оглядываясь. А Наташа, прислонившись к сосне, смотрела, как он идет.

Вот Илья у огромных цеховых ворот, вот он открыл в них деревянную дверцу. За ней было темно, и Илья исчез в этой черноте. Наташе стало жутко, в какое-то мгновение ей подумалось, что Илья исчез навсегда. Наташа слегка вскрикнула, подалась вперед, готовая сорваться с места, но ослабела... Она вспомнила, как уходил от нее в последний раз Санду.

Он тогда пришел в общежитие, сел, осутившись, на кровать и долго молчал. Он приходил так и раньше,

все просил ее вернуться и даже плакал. Она с боязливой настороженностью ждала, что он и сейчас заплачет.

Наташа так и не сказала ему, почему ушла, а он не спрашивал. В этом было самое страшное... Санду сидел молча. Потом встал, и Наташа увидела его большие, наполненные беспредельной собачьей тоской глаза одинокого человека, презиравшего себя за одиночество и в то же время подчинившегося ему. И в эту самую секунду что-то дрогнуло в ней, мелькнула мысль: еще можно все вернуть. Блеснула надежда повторимого...

И Санду, словно угадав ее состояние, тихо позвал:

— Наташа...

Много раз она слышала, как он называл ее имя, но теперь он произнес его по-новому, жалко и просяще. И происшедшее с ним и его отцом с новой силой встало перед ней.

— Нет! — сказала она.

Он отвел глаза и ушел, а она отчетливо поняла: Санду больше не вернется. Он не закрыл за собой дверей, и за ними стояла пугающая темнота. Наташа долго сидела, словно чего-то ждала. А потом несколько дней на душе у нее лежал тяжкий налет обиды. Она все не могла отделаться от этой давящей тяжести и спрашивала себя: отчего она возникла? Лишь позднее Наташа поняла, что это была обида на самое себя, обида на то, что прожитое оказалось не таким, каким она его хотела и представляла...

И сейчас, когда она стояла у сосны и смотрела на закрывшуюся деревянную дверь в цеховых воротах, она вдруг испугалась возвращения того, уже однажды пережитого.

13

В ту ночь, когда Наташа дежурила в лаборатории, а Илья метался в своем гостиничном номере, не спал и Самарин.

Правда, после ухода Ильи он почувствовал ставшую привычной тупую боль в сердце, лег в постель

и сразу же забылся тяжелым сном. А потом внезапно проснулся с головной болью и горечью во рту, взглянул на светящиеся стрелки часов и подумал, что они остановились. Оказалось, он спал не более часу, а ощущение было такое, точно прошла вся ночь. Понял, что больше не заснет — это с ним бывало не раз в последнее время, поднялся, зажег свет. На столе стоял чайник, посуда. Он собрал ее и отнес на кухню. Здесь на подоконнике в коробке из-под конфет отыскал таблетку тройчатки, запил ее водой и вернулся в комнату, лег в постель, ожидая, когда утихнет головная боль. Но она не проходила.

Он знал от нее лучшее средство, чем эта тройчатка, — нужно подняться и пойти куда-нибудь: на завод, в цех или побродить по лесу. Иначе боль, как обручем, сдавит голову, и тогда уж не вырвешься из нее. А утром он должен быть свежим и мысли должны быть ясными: начнется прокатка восьмого варианта трансформаторной, придут директор, ученые, товарищи из обкома.

Самарин встал, надел спецовку, прошел еще раз на кухню и выпил стакан воды, а после закурил. Горьковатый вкус табачного дыма был приятен. Самарин, конечно, понимал, что он сейчас обманывает себя — курить ему не следует и из дому выходить тоже не надо бы, лучше отлежаться. Но он не мог один торчать в этой пустой квартире, да и отлежаться нельзя, не время.

Прежде чем выйти из дому, он выключил свет и прошелся по комнатам. Шаги отдавались гулко, и комнаты казались очень большими, как залы. «Дурак я, — подумал Самарин, — надо бы пригласить Симанова и других ребят, пожил бы, пока нет семьи. Что им там в общежитии? И мне веселее. А то сдохнешь один, и никто не узнает». Мысли были невеселые, и Самарин заспешил уйти от них.

Широкими шагами прошел коридор, хлопнул дверью. Запахи нагретого за день камня, сосновой коры и отгоревшего бензина окутали его. Ночь была суха и тепла. Асфальт при луне был похож на стальную матовую ленту, какой выходит она из-под тра-

вилки. Он внутренне улыбнулся этому сравнению. Вот уж все начал мерять на сталь...

С минуту постоял, заколебавшись: куда же идти? Если свернуть налево, то улица упрется в железнодорожную ветку, а за ней начнется шоссе, ведущее на завод «Стройдеталь». Там, за шоссе, днем надрывно стонущему от огромных машин, а теперь утихшему и умиротворенному, прямо за общежитием — лес. Можно войти в него и долго бродить среди сосен. А если свернуть направо к трамвайной остановке и за угол, то выйдешь небольшим соснячком к пролому в заводской стене, через который ходят прокатчики... Лес — это хорошо. Но там сосны и ты, и больше никого. А зачем ему одиночество? Он сыт им по горло. Самарин откинул папиросу, посмотрел, как она плюхнулась на асфальт, и зашагал направо.

Он миновал соснячок и, выйдя на небольшую поляну, увидел завод. Ночью завод был совсем иным, чем днем: темнота скрадывала грубые конструкции, серые, местами закопченные стены цехов, недостроенные подсобные помещения, и оставались огни, яркие и загадочные, словно внезапно в лесу открывался огромный необычный город. Тайно и заманчиво голубели крыша и окна цеха холодного проката, будто лунное свечение пронизывало его; жарко желтели пролеты электросталеплавильного, заревыми красными звездами светились сигналы на трубах и вдали — на доменных печах. И еще было много огней, недвижных, рассыпавшихся по всему пространству и мигающих, ярко вспыхивающих пламенем сварки. И от них становилось торжественно и чисто на душе...

Самарин подумал, что не так уж часто видел завод по ночам, даже если ему приходилось торчать в цехе круглые сутки, как это было перед пуском. Он все спешил, и некогда было постоять и полюбоваться этими огнями, от которых в небе вставал сизо-желтый туман, приглушая звезды.

« — Да, — сказал вслух Самарин, — жаль.

Он сказал так потому, что прежде действительно не замечал этих огней, и еще потому, что подумал: вот и сердце стало сдавать и одолевают головные

боли. Раньше он не думал о старости, не чувствовал ее близости, а минувшим вечером сказал Илье: «Старики ведь оглядываются назад».

«Рано, — подумал он сейчас, — рано».

Дед его умер в девяносто пять лет и еще бы, наверное, жил, не окунись ненароком зимой в прорубь на озере, куда хаживал на подледный лов. Был он черен лицом, не носил ни усов, ни бороды, и в широкие крылья его носа напрочно въелась металлическая пудра. На шестом десятке он в третий раз женился на молодой, крутого нрава заводской работнице. До того от обеих жен у него не было детей, а новая принесла троих.

Неизвестно, сколько бы прожил и отец Самарина, не расстреляй его колчаковцы в заводском дворе. Плохо помнит его Игнат Лукич, ему было в ту пору восемь лет. Одно осталось крепко в памяти — как по утрам даже в самый лютый мороз выскакивал отец из бревенчатого домика на крыльцо, обливался из ведра водой и парной, красный вбегал в комнату, растираясь полотенцем, радостно всхлипывал.

Домик их затерялся в путаных улочках заводского поселка. Там и сейчас немало таких улочек, хоть и настроили вокруг новые здания. Он срублен из крепких здоровых бревен на две комнаты: в большой стояла железная круглая голландка, и зимой всегда пахло березовыми поленьями и горячим железом. Из этого домика уезжал Самарин по партийному призыву на Магнитку, а вернулся сюда во время войны. На войне пробыл совсем немного: отозвали как металлурга и назначили начальником цеха на этот старый, родной завод.

Вспомнив все это, Самарин подумал, что, будь сейчас живы дед и отец и узнай, что он в пятьдесят назвал себя стариком, они бы презрительно обругали его. Он усмехнулся и заспешил к пролому в заводской стене.

В цехе все было окутано голубоватым туманом, идущим от светильников люминесцентных ламп. Ярче виднелись огни светофоров на линиях, гуще запах теплого машинного масла и окалины. Чутким ухом Сама-

рин сразу уловил все звуки и понял, что на пятиклетьевом прокатывают автолист, работает линия резки, а вот на травилке стоят. Почти машинально, не раздумывая, направился туда, миновал пустой пролет, где вверху, под сводами, работала ночная смена сварщиков, весело обрасывая каскад искр. Скоро сюда придут части машин, и начнется монтаж второй очереди. Но это уж легче, важно было запустить цех.

На травилке действительно стояли. Самарин заглянул в широкое окно конторки, увидел, что на скамьях и столах спят, и не стал тревожить людей. У рольганга возилось несколько человек. Он вгляделся и узнал слесарей. На операторских мостках сидел Виктор Сухинин. Замасленная кепка его была надета козырьком назад. Он сочно ел кусок вареной колбасы, а перед ним на газетке были аккуратно разложены хлеб, яички, масло в баночке, стояла бутылка молока. Самарин подошел, и Сухинин, сглотнув, чуть не подавился:

— Не спится, Игнат Лукич?

Самарин сел рядом на ступеньку:

— Не спится.

— Тогда закусывайте... тут вот еще колбаска осталась, яички. Жинка на ночную снарядила.

Самарин почувствовал голод, взял с газеты ломоть колбасы, хлеба и с удовольствием стал есть.

— Сегодня что-то всем не спится. «Из тех» прибегал руками махать. Сейчас небось утихомирился, десятый сон видит.

Слесари рассмеялись. И по тому, как они смеялись, Самарин представил, как нелепо выглядел здесь Росляков, истерично кричал, брызгая слюной, поправляя очки, и как потом эти ребята злословили на его счет.

— Чем занимаетесь? — спросил Самарин.

— Ролики меняем, — сразу посерьезнев, сказал Сухинин и стал деловито рассказывать, почему остались на ночь и остановили линию. Самарин слушал, ел колбасу и продолжал думать о Рослякове. Он сам попросил директора, чтоб Рослякова закрепили за

цехом, пока не наладят дело с трансформаторной. Этот начальник «из тех» отлично знал прокат. А вот, поди же ты, не любят его в цехе: слишком сух, истеричен, и люди его не понимают, а он их. Это очень плохо, когда не понимаешь людей. Самарин сам пережил такое и хорошо помнит, как все было.

Сейчас он может рассуждать спокойно, а тогда у него было такое чувство, словно пребывал в летаргии, проснулся и все окружающее увидел другим, не подвластным ни воле, ни разуму... За десять военных и послевоенных лет он привык быть твердым и знал: если сказано «надо», то другого быть не может. Есть вещи более высокие, чем личные обиды и другие пустяки, что кичливо называют «достоинством», и во имя того высокого можно быть крутым и даже жестоким. Так его учили, и он так привык работать. Если у других жизнь делилась на множество событий, то он различал месяцы и годы по тому, выполнен или не выполнен план, и если что-нибудь вспоминал, то начинал свой рассказ со слов: «Это было, когда мы дали сто три процента...» Он искренне верил, что если ему поручили руководить цехом, то в нем все подвластно ему, начальнику, и только ему, потому что он за все здесь в ответе и его решение — закон. Директор и главный инженер диктовали ему свою волю, а он обрушивал ее на мастеров и начальников смен. Он верил: любое отклонение от этих установившихся норм может разрушить то, что создавалось многие годы. Ему некогда было оглядываться на себя, потому что он не был подчинен себе.

Тогда он не сразу понял, что постепенно утрачивает власть над людьми. Сила инерции старого еще долго тянула его за собой. Но он стал замечать усмешки в глазах рабочих и мастеров, когда отдавал команду; все чаще на оперативках и собраниях звучали обидные слова. И как часто бывает с людьми растерявшимися, он делал как раз то, чего не следовало бы делать. Становился более крутым и, как привык говорить, «снял стружку». А все оборачивалось другой стороной. Когда он уходил, рабочие, наверное, перемигивались и пересмеивались точно так

же, как вот эти ребята над Росляковым. Ведь все, что он говорил им, для них уже было азбучной истиной и не требовало напоминания. Ему же по-прежнему казалось, что он сильнее и крепче их.

А потом в цех пришли три парня. Они пришли в разное время, но ему показалось, что они появились вместе. Парни были остроумны, веселы и не очень-то близко принимали к сердцу, когда он пытался стучать кулаком по столу. Тогда он насторожился. Кто они? Что им нужно? А они принесли ему план реконструкции цеха, и он злорадно подумал: «Хорошо». Он подумал так, потому что знал: их очень просто положить на лопатки. Он посмотрел чертежи, расчеты, выкладки. Что же, в плане было много тонкого и даже такого, о чем он не знал. Но у мальчиков не хватало опыта, они так увлеклись, что допустили уйму ошибок. И он опять подумал: «Хорошо». Полгода они шумели об этом плане на собраниях, а он молчал. Знал, если они заварят настоящую кашу, он сумеет доказать, на что способны такие «старики», как он. Он хотел сбить с них спесь, и уж тогда... Они идут по свежему следу — хорошо. Он тоже не дурак и не так отстал, да и еще есть опыт, а это наживается горбом, а не на студенческой скамье.

Но они не стали «заваривать кашу». Они просто пришли к нему вечером домой и сели с ним пить чай. «Поговорим, как инженеры с инженером». Заводилой у них был худощавый паренек с пушистой рыжей бородкой, которая казалась приклеенной к его детскому лицу. Второй был круглолицый, с наивными голубыми глазами. А третий — чернявый крепыш. Самарин подумал: «Мальчишки». Но они осадили его. Они пили чай у него дома. «Мы ценим все, что вы сделали раньше в цехе. В войну и после, может быть, так и нужно было, но сейчас...» — «Что же сейчас?» — «Нельзя все время оглядываться назад...» — «Ах, вот как!» Но он решил выслушать их до конца. Оказывается, они вовсе не хотят подавать жалобы по инстанциям, они хотят работать с ним. А может быть, он не хочет работать с ними? Ну, это они еще посмотрят. «Время сейчас другое». Какое же? Пусть огля-

дится, тогда увидит. «Надо быть слепым...» — это сказал чернявый, но его осадили: «Не петушись!»

Он пил с ними чай, хотя они сказали ему много обидного. А потом они приходили к нему еще и еще раз. «Поговорим, как инженеры с инженером». И как человек с человеком...

Конечно, эти парни потом зря так самонадеянно думали, что они все решили, хотя он знал, что в цехе почти все на их стороне. Если же говорить по большому счету, то дело было вовсе не в этом. Подумаешь, пришли молодые инженеры-новаторы, а он, старый консерватор, встал им поперек дороги, и, как в дурном романе, они скрутили и сломали его. Чушь! Это сейчас все можно уложить в простую формулу. А тогда все это было очень сложно. Они, эти парни, помогли ему взглянуть на себя со стороны и многое передумать, почувствовать, что он остался в закоулке.

Мальчики! У них новенькие хрустящие дипломы. А разве он сам не был таким, когда строил Магнитку? Это неважно, что они одеты в другие костюмы и у них другие привычки и даже вкусы. Важна суть. Может быть, он забыл, что тоже кричал против тех, кто глушил своим «я» все остальное и во имя этого «я» с упрямой тупостью вытаптывалось все свежее? Кричал ведь? Кричал. А если сам был таким, то почему же перестал понимать этих? Ошибки молодости? Ерунда! Скорее ошибки старости. Ошибки молодости еще прощают, а ошибки старости... Человек так и уходит с ними. И тут уж больше ничего не сделаешь.

Не каждому дано увидеть самого себя. Но он сумел увидеть и знает, что это такое. Он узнал, как просыпается лютая беспощадность к себе. Сила этой беспощадности велика. Некоторых она толкает к старому заржавленному пистолету, что хранится с военных времен в ящике стола, или к охотничьему ружью, или просто в петлю. Иных, более слабых, сминает так, что дотла выжигает душу, обращая ее в груды пепла, и те, пытаясь загасить еще тлеющий жар, тянутся к алкоголю — самому нехитрому способу впасть в иллюзию. Надо суметь выстоять в этой борьбе с са-

мим собой, найти новые силы. И Самарин выстоял, но мало кто из людей знает об этом.

У него хватило воли сменить свою должность начальника цеха и начать работать рядовым инженером, а главное — понять время.

Он любил свой завод. Этим трем мальчишкам как-то сказал: «Видите чугунную доску? Там надпись: «Здесь расстреляны колчаковцами пятнадцать рабочих, отстаивавших революцию с оружием в руках».

Он знал, что они уже не раз видели эту доску. А сейчас подошли к ней, потрогали. Потом один из них сказал: «Будет время, и еще одну доску повесят: «Тут люди в середине двадцатого века строили коммунизм».

И он промолчал, потому что ему понравилось, как это было сказано — не крикливо, а по-деловому, в задумчивости. А не попросить ли сейчас литейщиков? Пусть отольют. И это тоже надо было понять. Вот так люди и строят новую жизнь, ломая себя. А как же иначе? Только так, только так!..

Вспомнив обо всем этом, Самарин опять подумал о Рослякове: «Что же с ним делать?.. Жаль ведь его. А надо что-то делать...»

— К утру закончим, все в порядке будет, — сказал Сухинин. Это он о роликах.

Самарин доел колбасу, вытер пальцы газетой.

— Спасибо, что накормил.

— На здоровье, — Сухинин улыбнулся. Он собрал оставшуюся еду, завернул пакетом и положил его на мостки.

— Вы сейчас нашу работу не смотрите, уж потом, когда сделаем, — сказал он озабоченно.

Самарин понял его: уж очень не хотелось Сухинину выслушивать ненужные указания.

— Хорошо, — сказал Самарин, посмотрев, как перелез Сухинин через перила на рольганг к слесарям, пошел дальше.

Головная боль проходила — может быть, помогла тройчатка, а может быть, потому, что он прошелся по воздуху. «Понервничал с Ильей», — решил Сама-

рин. Впрочем, сейчас ему уже не хотелось думать о Клинкове. «У него все впереди... Да, все впереди».

Он вышел к стану, поздоровался с вальцовщиками и сел на скамеечку, что стояла в стороне, возле бетонной опоры, стал смотреть, как работают у пятиклетьевого. Веселый шелест стали, обжатой огромными блестящими валками, струйки белой эмульсии, сигнальные огни на операторских пультах привлекали внимание. Он видел, что вальцовщики, чувствуя на себе его взгляд, старались работать спокойней, без суеты задавали полосу, даже не слышалось слово команды. «Вот что главное, — подумал Самарин, — вот главное...»

Нет, ни головная боль и ни разговор с Ильей не дали ему спать этой ночью, а ожидание утра, того часа, когда сюда, на площадку, соберутся люди, охваченные нервным напряжением: пойдет ли трансформаторная сегодня? Он увидел это ожидание и в том, как работали вальцовщики. Люди устали ждать, слишком много было надежд, и слишком многое зависело от сегодняшнего утра. Если опять срыв... Тогда новый тупик, и все придется начинать сначала. «Вот что главное, — опять подумал Самарин. — Да, главное...»

И тут он вспомнил, кто любил говорить эти слова. Новый секретарь парткома. Они не зря избрали этого рыжеватого парня. Странно, но в нем есть что-то общее с Ильей. Может быть, то, что они оба молоды, инженеры и оба не любят громких фраз?

Недавно секретарь пришел к нему в «умывальник». Сел, закурил, поговорили о стали, а потом, между прочим, сказал, смущенно поглаживая ладонью подбородок: «Ребят в цехе еще плохо знаем... — Самарин насторожился. — Понимаешь, Игнат Лукич, был вчера опять в общежитии... Странно получается. Как засветит со сталью, все у ребят хорошо. А как провал, лучше туда и не ходи. Не думал над этим?» Самарин молчал. Тогда секретарь снова заговорил: «Нельзя, чтоб ребята надежду потеряли. Даже чтоб чуть-чуть потеряли. Вот ведь что главное, Игнат Лукич. Нужно нам с тобой ребят знать, а тогда и все остальное бу-

дет...» И Самарин, слушая секретаря, чувствовал себя неловко, словно был он в чем-то виноват.

Стекла крыш и боковые оконные пролеты побелели, и холодноватый свет люминесцентных ламп слился с предрассветными сумерками. Самарин потрогал подбородок: «Надо побриться». Вспомнил, что в «умывальнике» в столе лежит его бритва. И тут он опять подумал об Илье. Зря он все время пытается уйти от мыслей о нем. Все равно от них никуда не денешься. Где-то он был не прав во всей этой истории и чувствовал свою неправоту, хотя еще не осознавал ее. Когда человек бросает на тебя косые взгляды, становится замкнутым и угловатым, то хочешь не хочешь, а и ты виновен перед ним. С самого начала у них не все было хорошо. Илья пришел из исследовательского института. Может быть, сказала старая, скрытая неприязнь производственника к тем, кто, пожиная их плоды, в тиши кабинетов строчит диссертации?.. Он не помнит сейчас. Кажется, не было этого. А может, он испугался, что Клинков повторит все то, что было когда-то с ним? Может быть... Все может быть... Во всяком случае, он лез к нему со своими советами, когда парню нужно было совсем другое.

После вечернего разговора у него осталось на душе что-то нехорошее, скребущее. Ему надо было поговорить с Ильей, он чувствовал, что надо, и все сказанное им было правдой. Разве он не видел, как счастливы эти двое? Они были так счастливы, что иногда, глядя на них, он испытывал светлую зависть и грусть и вспоминал, что, наверное, у него никогда не было такого счастья. И от этой зависти и грусти ему было хорошо, и он любил смотреть на Наташу, любил болтать с ней, потому что чужая радость отдается в тебе сердечной теплотой. Так случалось с ним на охоте: увидишь в лесу чистый родничок, как бьет он из-под пня, веселый, переливчатый, звонкий, и стоишь не шелохнешься, лишь бы глядеть на него, а он все бы тек да тек, что-то журча по-своему. А теперь он, словно невольно, ступил в этот ручей...

Да, они были счастливы, эти двое. Только он хотел,

чтобы счастье их было честным. И в этом он не может себя винить. Тут все правда. И все же... Он вспомнил, как уходил от него Клинков. Он видел в окно: Илья вышел из дому, прихрамывая больше, чем обычно, дошел до трамвайной остановки и оглянулся. Рассеянный свет упал на его лицо, и Самарину почудилось, что он увидел глаза Ильи, в которых смешались неодолимая тоска и злость. Он даже отпрянул от окна, так сильно было это ощущение. И тогда он впервые подумал: «А что я знаю о нем?»

Ты что знаешь об Илье? Ну, что?.. Ведь легче всего сказать: «У этого парня все впереди». А теперь? Что же теперь?..

Когда Самарин ехал сюда, на завод, принимать новый цех, он думал, что, научившись многому, сумеет сделать так, что люди будут понимать его и он будет чувствовать их. Ведь новый цех — это тысяча двести человек! Целый завод. Даже дух захватывало от такой махины... Но разве не удалось ему сделать многого? Люди приходили к нему каждый день, и не только подписать бумаги, выслушать его распоряжения, — они рассказывали ему о своих детях, о своих женах, мужьях, о своих делах. И ему нравилось их слушать, потому что он знал: когда они так рассказывают, становятся спокойнее и сильнее. Но было и другое. Тот же Илья, тот же Росляков... Или вот один парнишка. Жадно курил у станка, смотрел застывшими глазами вдоль пролета, а потом ненароком нажал ногой педаль гильотинного ножа и обрубил себе палец. Палец валялся в яме. Текла на станину кровь. А парнишка смотрел на обрубок, не плача, не крича, и ужас стоял в его глазах. Ему было восемнадцать... Девчонка-крановщица с подведенными синью глазами поднималась в кабину. Срывался с крюка многотонный рулон стали, и грохот его искажал страхом людские лица. Еще немного — и из цеха вынесли бы несколько расплюснутых трупов. Девчонку снимали с крана, а в кабине лежало изорванное в клочья что-то письмо... Да, тысяча двести жизней...

Тысяча двести человек. И у каждого свой мир, неповторимый, огромный. И, сталкиваясь каждодневно

с частицами этого мира, Самарин иногда начинал чувствовать беспомощность. Его охватывало желание все понять, увидеть, чтобы не было больше катастроф, и тут же он понимал невозможность этого. И тем не менее такое желание не покидало его, и, быть может, поэтому каждый раз, когда ему приходилось врываться в чью-нибудь человеческую жизнь, он одновременно и радовался и был в смятении, обвиняя себя, что прежде ничего не замечал и не сумел сделать. Наверное, так было сейчас и с Ильей.

Вальцовщики продолжали работать у стана. Горели сигнальные огни. Вертелись многотонные валки, натруженно обжимая металл. И все, о чем думал Самарин, и этот стан, и весь цех, где туго сплелись провода, конструкции, рейки, стекло и сталь, — все собралось вместе, в единое целое, и встало перед ним неотделимым друг от друга.

Медленно гасли в цехе оветильники. Огромный оконный пролет зарозовел, по чему пробежали желтые и блекло-синие тени, а потом загорелось все оранжевым пламенем. Самарин опять потрогал подбородок и подумал: «Надо побриться, обязательно надо побриться».

14

Клава должна была прилететь в полдень.

Илья спал ночью не более трех часов. Это был тревожный сон, похожий скорее на забытие. Временами ему начинало казаться, что все задуманное им скверно и ненужно, уж лучше было бы положиться на судьбу: мол, что будет, то и будет. Но тут же обвинял себя: нет, дальше так не может продолжаться... И он мысленно представлял себе встречу с Клавой. Утром, измучившись, он решил: «Все равно. Теперь уже ничего не поправишь». Пошел в душевую, облился холодной водой, растер тело докрасна полотенцем.

Сегодня в цехе испытывали восьмой вариант. Надо было думать о стане, и он пытался заставить себя думать о работе, восстанавливал в памяти все узлы, весь производственный цикл. Но мысли путались, и ему приходилось обдумывать все сначала.

Перед глазами все еще стояла Наташа, прислонившаяся к сосне. Было что-то жалкое в повороте ее головы, в том, как прижала она к груди руки, и он все время, пока шел до цеха, оглядывался, ему хотелось вернуться, обнять ее, сказать ласковое.

Едва он оказался в цехе, как подошел Росляков. Лицо его было хмурым, из-под выпуклых стекол очков смотрели злые, встревоженные глаза.

— Где вас носит, Клинков! — не здороваясь, накиннулся он. — Все идет вверх тормашками.

— А что случилось? — сдержанно спросил Илья.

— В одиннадцать ноль-ноль из горячего подают трансформаторную!.. В одиннадцать! — тыча в наручные часы длинным пальцем, возбужденно сказал Росляков. — А на травилке полоса бурится!

Илья, более не слушая его, пошел по пролету. Росляков засеменил рядом, бормотал в самое ухо, захлебываясь от возмущения:

— Придумали эту историю с роликами... Вы понимаете, что делаете? Через два часа будет все начальство... Вы понимаете?

Илья знал, отчего бурится полоса. Еще вчера он отдал команду бригаде слесарей Сухинина, чтобы они поменяли ролики. Этот парень не должен подвести.

Травильная линия стояла. Несмотря на то, что гудела вентиляция, а пролет был высок и просторен, здесь было душно, пахло кислотой, от нее пощипывало глаза. Илья издали увидел на линии Сухинина и с ним еще троих слесарей. Виктор был без спецовки, в синей тонкой рубаше, покрытой масляными пятнами, и в кепке, надетой козырьком назад.

Илья, чтобы отделаться от Рослякова, не пошел через мостки, а, неожиданно подтянувшись, вспрыгнул на рольганг и поднялся на помост, где были ванны с кислотой. Он знал, что Росляков не пойдет на такое нарушение техники безопасности, и, оглянувшись, убедился, что не ошибся. Росляков стоял по ту сторону линии, о чем-то кричал вдогонку, размахивая руками. Операторы, перемигиваясь, улыбались.

Сухинин, обтирая руки тряпицей, шел навстречу. Веснушчатое лицо его было потно, на щеках и на лбу

темнели пятна масла. Еще издали Илья заметил: смеются светлые глаза бригадира.

Илья протянул руку. Виктор двумя пальцами пожал в ответ запястье и кивнул на тряпицу, зажатую в кулаке: грязный, мол.

— Как дела? — спросил Илья.

— Пойдемте покажу...

По тому, как с достоинством ответил Виктор, Илья понял, что на линии все в порядке.

Слесари поздоровались, потеснились, пропуская Илью, и на их лицах он тоже заметил затаенную гордость: мол, посмотри, посмотри; что скажешь, инженер? Илья осмотрел новые ролики. Недаром он доверял Виктору и считал его талантливым наладчиком.

— Пропускали пробную автолиста, — рассказывал Виктор. — Забурилась... Мы оттянули еще валки. Правильно?

Илья молча кивал.

— Теперь уж полный порядок... А шуму было! — Виктор улыбнулся. — Росляков такого психу дал...

Илья оглянулся, увидел, что Росляков так и не пошел за ним, а повернул обратно и теперь, ссутулясь, семенит по пролету, шаркая ногами. Илье стало неловко, что он, пожалуй, грубовато отделался от этого нервного, измотанного человека.

— Все сегодня психуют, — сказал он.

— Это уж точно, — поддакнул один из слесарей, совсем мальчишка, с озорным, хитроватым лицом. — Симка из столовой и то прибежала. Кричит: «Ребятки, вам пиво сегодня заказывать?»

Все рассмеялись. Улыбнулся и Илья. Здесь, в цехе, все то, что томило его ночью, отодвинулось, и его постепенно захватила привычная рабочая обстановка. Он еще раз оглядел ролики и подумал, что надо пройти по всем линиям с начала и до конца. Взглянул на часы, прикинул, что, пожалуй, еще успеет.

— Счастливо вам, ребята! — сказал он слесарям. Сухинин двинулся за ним.

— Вымотало за ночь? — спросил Илья.

— Досталось, — ответил Виктор и неожиданно рассмеялся.

— Ты что?

Виктор придержал его за руку и зашептал:

— Радость у меня, инженер.

Илья, сам не зная почему, тоже спросил шепотом:

— Какая?

Виктор смущенно крякнул, опустил голову и взял Илью за пуговицу.

— Саша у доктора была...

— Ну?

— Все в порядке, — и прямо посмотрел на Илью, широко улыбаясь. — Сына ждать будем...

Илья засмеялся, хлопнул Виктора по плечу.

— Поздравляю!

— Рано, — и Виктор по-своему подмигнул. — Вы только никому. Секрет!

— Ладно, — так же подмигнув, ответил Илья и пошел дальше.

От этого разговора на душе стало тепло, хорошо. С этим настроением он и вышел к стану.

Самарин стоял у пятиклетьевого, по привычке расставив крепкие ноги, и смотрел, как вальцовщики задавали полосу автолиста. Молча протянул Илье руку. Лицо его было гладко выбрито, а в глазах стоял напряженный холодок. Илья знал, что это значит: Самарин нервничал, но внешне старался выглядеть спокойным.

Илья достал пачку папирос, протянул Самарину. Тот взял папиросу, размял ее в пальцах и сказал, не спуская глаз со стана:

— Росляков шумел на травилке...

— Сейчас оттуда, — перебил его Илья. — Там все в порядке.

Самарин закурил и вздохнул, совсем по-бабьи.

— Эх, неужто опять...

Илья удивленно взглянул на него. Самарин заметил этот взгляд, косо усмехнулся:

— Что смотрите так, Клинков? Я ведь тоже человек. Как-никак, а восьмой вариант... С ума сойти можно!

— Прокатаем, — уверил Илья.

Самарин прямо посмотрел на него.

— Вы думаете?

— Убежден.

— Ну, дай-то бог. — И тут же спросил: — Вы что, ночь не спали? Вид у вас...

— Не спал, — ответил Илья и добавил: — Сегодня прилетает Клава...

Самарин отвернулся и опять стал наблюдать, как работают вальцовщики. Полосу задали. Мастер сел к пульту. Вспыхнули на щитах зеленые лампочки.

— Во сколько самолет?

— В двенадцать...

Завертели валки. Было видно, как меж ними проходила полоса. Вот она вырвалась в конце стана, матово поблескивая, и стала сворачиваться в рулон на моталке. Еще несколько секунд, и готовый рулон, гулко звякнув, скатился в подаватель.

— Возьмите машину, — сказал Самарин. — В половине двенадцатого она будет ждать на выходе. Распоряжусь.

— Но в это время...

— Ничего. Прокатаем без вас.

— Я не смогу.

— Сможете. Проверьте, как там дела у термистов. Ну, идите, идите, Клинков. Времени осталось мало.

Самарин жадно докурил папиросу и пошел к мастеру.

В половине одиннадцатого к цеху начало съезжаться начальство. Приехали директор завода, главный инженер, секретарь парткома, научные сотрудники. Было много незнакомых. Они ходили группками по проходу, курили, разговаривали. До Ильи долетали обрывки разговоров. Говорили о рыбной ловле, о том, что нынче необычно рано началась жара; говорили о женщинах, о международных делах, о новых квартирах — словом, обо всем на свете, но только не о стали, хотя на лицах было написано нетерпеливое ожидание. И когда по подземному рольгангу из цеха

горячего проката начали подавать сталь, все кинулись к каменному барьеру, столпились около него и смотрели, как медленно и величаво плывут отливающие синевой пузатые рулоны. Прошелестел наверху мостовой кран, опустил крюк. На постороннего человека все это, возможно, и не произвело бы особого впечатления, но для тех, кто собрался в цехе, наступили почти торжественные минуты. Все смотрели, как плыл поднятый в воздух рулон к травильному агрегату. Илья взглянул на кабину крана, увидел в ней Сашу Волкову. Она поглядывала вниз, словно удивлялась, что так много людей следят за ее работой. Илья вспомнил, что говорил Виктор, и то, что он один из всех, стоящих тут, внизу, знает ее тайну, сделало Сашу близкой ему. Он помахал ей рукой, Саша заметила, и мимолетная улыбка тронула ее губы.

У травильного агрегата все немножко замешкались, сгрудились, молча смотрели, как возятся с рулоном травильщики. А те нервничали, спешили, мешали друг другу. Но вот поплыла, потянулась стальная полоса. И все двинулись за ней по пролету.

Горели зеленые огни светофоров. Щетки сдирали с листа окалину. Полоса шла все дальше и дальше, через кислотные ванны, через мойку. Шла ровно... Илья поискал в толпе Рослякова. Тот, очевидно, почувствовал его взгляд, оглянулся. Илья подмигнул: «Ну как?» Росляков нахмурился, поправил очки и пошел дальше по линии, что-то тщательно записывая в блокнот.

— Машина на выходе.

Илья резко повернулся. Самарин устало смотрел на него.

— Без глупостей, Илья... Идите, — тихо сказал он.

Илья посмотрел вслед Самарину и подумал: «А может быть, он и в самом деле не такой, каким я его представляю? Может быть... Ведь любят же его в цехе». И припомнил, как в прошлый вечер Самарин сказал: «Вы, Илья, должны научиться верить людям». Что-то в этом роде. Тогда эта фраза показалась Илье банальной. В последние годы часто так говорят, когда

хотят в чем-нибудь упрекнуть человека. И фраза стала похожа на стандартную резолюцию. А сейчас Илья увидел в ней особый смысл. Это было похоже на то, когда смотришь на плоское серое небо. Кажется, что сама тоска разлилась над землей, и вдруг внезапно в этом небе откроется синева, чистая, манящая. И все тогда вокруг становится ясным, наполняется теплом, освобожденным светом.

Илья вышел из цеха. Машина стояла у ворот, на солнцепеке, и шофер беспокойно ходил вокруг нее. «На аэродром», — коротко бросил ему Илья. Машина рванулась к асфальтовой трассе. Илья не смотрел по сторонам. Он был весь во власти только что захватившей его мысли. Да, он жил последние годы скрытно и замкнуто. Наверное, так это казалось людям, которые были с ним рядом. Он знал дом, Клаву, институт, не любил знакомств и не заводил их, не любил шумных компаний; не любил, когда в пьяной откровенности люди распахивали настежь душу. И всегда был насторожен с новыми людьми.

Так было и когда он приехал на этот завод. Теперь он может признаться себе... Да, это так. Но откуда?.. Разве люди, что жили рядом, не помогали ему всем? Нет, ему не докопаться до ответа. Сам себя всегда знаешь хуже, чем других. Раньше он никогда не задумывался над этим, но теперь... И дело тут не только в Самарине, даже совсем не в нем, а в большем. Все, что сейчас случилось с ним, заставило его оглянуться на себя. Случилось?.. И тут Илья отчетливо понял, что это не могло не случиться. Оно должно было рано или поздно произойти. Он жил среди людей, и люди властно звали его к себе. И он не мог им не отплатить тем же...

Впереди распласталась асфальтовая гладь улицы, двоились трамвайные рельсы, за колесами грузовиков клубилась серая пыль. Машина выскочила на мост; ударила в глаза слепящая гладь реки, желтый изгиб пляжа.

Илья откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Что он скажет Клаве?.. Но разве он может сказать ей что-нибудь большее, чем написал в телеграмме?

И подумал: все-таки страшно, что у него сегодня утром возникли сомнения, правильно ли поступает. Теперь ему было ясно, что только так он и мог и должен был поступить.

Еще долго ехали улицами старого города. Мелькали недостроенные дома, жались к заборам деревья. Шофер затормозил у голубоватого домика аэропорта в тот самый момент, когда самолет, приземлившись, разворачивался на зеленом поле.

Илья вышел из машины, остановился у штакетной загородки, где стояла девушка в летной форме. Из встречающих больше никого не было, только он один. Илья стал смотреть, как подавали трап, как отворилась дверь кабины.

Вышли пилоты, за ними люди с чемоданами, и внезапно, хотя Илья и ждал ее, но именно внезапно он увидел Клаву. Она показалась ему очень маленькой на площадке трапа. Стояла, сощурившись от солнца. Через руку был перекинут светлый плащ, а в другой руке небольшой чемоданчик, какие носят спортсменки. Это был старый чемоданчик, купленный ею еще в институтские годы. Она брала его иногда с собой в библиотеку, когда скапливалось дома много книг, и клала туда еще свой завтрак. Удивительно, что она взяла его с собой в дорогу, как будто собралась в электричке за город... Она посмотрела вниз, прижала чемоданчик к груди и стала осторожно спускаться по трапу. Точно так она делала, когда переходила улицу, запруженную машинами, а он ждал ее на углу. Ему нужно было идти на метро, совсем в другую сторону, но он всегда стоял и поджидал, пока она не перебежит улицу. Так повторялось чуть ли не каждое утро, стало привычкой. И это очень знакомое ему вызвало сейчас жалость к Клаве.

Клава шла через поле. Плащ ударялся о колени. Слабый ветер чуть растрепал гладкие волосы. Она подошла совсем близко, но не смотрела на него, хотя он знал — видит его. Прошла мимо девушки-контролера, машинально протянула билет. Илья шагнул навстречу, и Клава остановилась. Что-то неуловимое

проскользнуло по ее лицу, и он не понял, то ли хотела она кинуться к нему, как бывало раньше, когда они давно не виделись, то ли что-то сказать. Но она тут же отвела взгляд. Илья молчал и не знал, что предпринять. Наконец неловко протянул руку к чемоданчику.

— Давай мне... Вот машина...

Она двинулась вперед, но Илья опередил ее, открыл дверцу, сел рядом с ней.

— К гостинице, — сказал шоферу.

Илья видел, как она склонилась в неловкой напряженности, видел ее гладкую шею.

— Как долетела? — спросил глухо и услышал ее голос, тоже глухой.

— Неплохо... Только перед посадкой было тяжело. Ведь первый раз...

Клава смотрела в спину шофера, который невозмутимо гнал машину. Илья понимал: надо что-то говорить, иначе он не выдержит той отчужденности, что легла между ними.

— Как Вика?

— Завтра поедет в лагерь. Устроила. Мама ее отвезет...

Она говорила деревянным, чужим голосом.

— Ты взяла отгул?

— Четыре дня.

— Могла бы и больше, — Илья сам не знал, почему сказал так, наверное для того, чтобы не молчать, и тут же пожалел об этом. Клава выпрямилась и впервые прямо посмотрела на него. В глазах ее смешались боль, тревога и еще что-то жесткое. Илья внутренне вздрогнул от этого взгляда. Он понял, что больше нельзя у нее ничего спрашивать.

Подъехали к гостинице. «Мне подождать?» — сказал шофер. «Да», — Илья кивнул.

Лифт не работал, и пришлось подниматься на четвертый этаж по лестнице. В гостинице была тишина, пахло мастикой для полов, где-то жужжал пылесос. Клава шла впереди, а он поднимался за ней, волоча больше, чем обычно, ногу. Когда Илья ехал на аэрод-

ром, ему было ясно: он скажет Клаве все напрямик, сумеет объяснить ей, — и верил, она поймет. Теперь же он не знал, что и как сказать Клаве. Если бы она заплакала, начала попрекать, Илья бы нашел какие-то слова. Но Клава молчала или отвечала на вопросы односложно, деревянным голосом, так, словно кто-то другой за нее участвовал в разговоре.

Они поднимались по лестнице, как чужие, и Илья чувствовал, они отдаляются друг от друга все дальше и дальше. Илья не хотел этого, но и не знал, как помешать пустоте, ледящей сердце.

Они поднялись на четвертый этаж, прошли по коридору, и он словно заново увидел свой номер: обшарпанную тумбочку с телефоном, ядовито-зеленый «Девятый вал», диван, прикрытый серым чехлом, розовое покрывало на кровати, и все это показалось убогим, нищенским.

— Вот здесь я и живу, — сказал он.

Клава вскинула голову, в глазах ее мелькнуло горько-насмешливое: «А она?» Илья не мог ошибиться. Именно это хотела спросить Клава, но сдержалась, села на край дивана, как садятся неуклюжие школьницы, впервые попав в компанию взрослых. И вся она сейчас тоже была похожа на угловатую девчонку, сгорающую от внутреннего стыда, страха и отвращения. Ее обычно розовое лицо побледнело, осунулось, заострилось. Бежевый костюмчик из тонкой шерсти, который она сшила перед майскими праздниками, собрался складками и выглядел мешковатым. Она все еще держала белый плащ, положив его на колени.

Илья сел на кровать. По карнизу окна расхаживал голубь, время от времени останавливался и смотрел красноватым глазом в глубь номера. Илье захотелось прогнать птицу. Он взмахнул рукой, но голубь не шелохнулся, застыл, только слегка растопырил крылья. Илья вздохнул и устало сказал:

— Так случилось, Клава...

Она приподняла лицо, глаза ее наполнились слезами. Клава заплакала, но не всхлипывая, с застыв-

шим лицом и, наверное, сама не замечала, что плачет.

— Так случилось, — повторил Илья.

— Нет, — тихо сказала Клава. — Нет... Ты вернешься, — и зашуршала плащом, отыскивая платок; достала скомканный, маленький и принялась вытирать глаза и щеки. Она, наверное, всю дорогу думала и давала себе слово не плакать, а вот не выдержала, и сейчас ей было нехорошо.

— Ты вернешься, — еще раз сказала она.

— Я все тебе написал, — хмурясь, ответил Илья.

— А зачем? — Она говорила так тихо, что он едва улавливал ее слова, скорее угадывал их по движению губ. — Это у всех бывает... Я ведь знаю... А зачем было писать?.. Зачем?

Илья непонимающе смотрел на нее. Тупая покорность была в том, что и как она говорила, и это-то больше всего начало сердить Илью.

— Ты ничего не поняла, Клава.

— Я поняла, — ответила она и с упрямством беспомощной девчонки сказала: — Ты все равно вернешься... Не из-за меня, из-за Вики. Тебя замучает совесть...

Было что-то книжное, чужое в ее словах. Он не знал, что отвечать, и опять леденящая пустота образовалась вокруг. Застыл на карнизе голубь, стеклянно глядя в глубь комнаты. И он тоже был в этой пустоте, и кусок неподвижного неба за окном, и сама Клава с зажатым в кулаке платочком, — все было непроницаемое, застывшее. И из пустоты прозвучал слабый голос Клавы:

— Илья... — Ее широкие открытые глаза опять повлажнели. — Я все понимаю. Но ты... ты...

Она, наверное, опять хотела сказать: «Ты вернешься», — но ей не хватало воздуха. Чтобы не дать ей договорить, Илья поспешно встал, сказал хрипло:

— Я тебе должен был все сказать. Тут ничего не поправишь и — пойми, — но ему уже стало жалко ее и голос его дрогнул: — Ты должна все понять! — Он беспомощно развел руками, — Видишь... так слу-

чилось... Мне надо идти. Ты отдохни здесь. Меня ждут на заводе. Мы еще потом, все потом...

И он заспешил, вышел из номера. Подошел к лифту, стал нажимать кнопку, но вспомнил, что лифт не работает, и с силой ударил кулаком по железной дверце. По пальцам резанула боль. Глухо прогудела клетка лифта. «А-а... — сжав зубы, простонал Илья. — А-а, скверно-то как...» Он еще постоял у ступеньки, жадно вдыхая прохладный и пыльный лестничный воздух, и заспешил вниз.

— В цех! — крикнул шоферу так, что тот оглянулся от неожиданности.

Шофер, склонившись к рулю, гнал машину на большой скорости. Возле моста он бросил беглый взгляд по сторонам и, не смотря на запрещающий знак, обогнал идущий впереди автобус.

Машина затормозила у входа в цех. Илья не пошел через табельную и тоннель, а открыл небольшую дверцу в воротах и услышал привычный ровный гул завода.

Илья двинулся через травилку, пустой отсек, вышел к станам и тут сразу понял: победа! Люди забили проход и со сдержанной радостью и блаженной усталостью переговаривались, но негромко, словно боясь вспугнуть что-то. Илья увидел в толпе Рослякова, лицо его покраснело, разгладилось, будто он только что из бани, увидел Виктора Сухинина с воспаленными глазами и пятнами масла на щеках и лбу. О чем-то говорил директор, и все прислушивались к его словам, хотя смотрели в конец стана, где лежали светлые рулоны трансформаторной стали.

«Где же Самарин?» — подумал Илья и стал искать его глазами, но не находил. А потом вдруг увидел: Самарин стоял совсем рядом у люка, опершись о перила, что-то записывал. Под его глазами резче набухли полукружья, щеки отяжелели. Возле него возбужденно размахивал руками Симаков. Когда Илья подошел к ним, Симаков весело подмигнул:

— С премией поздравляю!

Илья молча кивнул, взглянул на Самарина и по-

чувствовал: тот хочет спросить о чем-то, но так и не спросил, а только сказал:

— Ну вот, Клинков, прокатали.

В словах, как почудилось Илье, проскользнула нотка сожаления. Самарин взял Илью за локоть, отвел в сторону.

— Теперь уж начнем давать программу... — Он мягко, по-доброму улыбнулся, и от этой улыбки Илье стало приятно, захотелось по-свойски похлопать Самарина по плечу и так же сдержанно, как и он, сказать, что вот, мол, теперь все самое трудное осталось позади, а то, что будет... Ну, это уже пустяки, теперь-то уже все для них нипочем. Но вместо этого Илья спросил:

— Что дала лаборатория?

— Все в порядке, — ответил Самарин и вздохнул.

Они стояли в стороне от всех. А люди толпились у стана. Директор говорил:

— В четыре — у меня, товарищи. Там все и обговорим... Там все...

Он кивнул всем сразу и пошел к выходу, за ним гуськом пошли инженеры заводоуправления, незнакомые люди. А им навстречу из огромного клетчатого окна текло клубящееся солнце, оно стушевало контуры цехового пролета, и казалось, что цех уходит в бесконечную даль.

— Подработайте список на премиальные.

Илья оглянулся. Перед ним стоял парторг в старенькой спецовке, в которой он обычно ходил по сталеплавильному, когда еще был просто инженером.

— Хорошо, — ответил Илья.

— Слесарей, что на травилке работали, не забудьте. Всю ночь ребята без отдыха. Сами знаете. Из них бы бригаду коммунистического труда... Подумайте...

И, попрощавшись, заспешил к выходу. Илья посмотрел ему вслед, еще раз оглядел цех и понял, почему в словах Самарина ему почудилась нотка сожаления. Так не раз бывало и с ним самим, когда после наивысшего напряжения сил приходила удача. На первых порах она не приносила радости, стано-



вилось даже жаль, что все кончилось, осталось позади, и это было похоже на грусть расставания, когда покидаешь дом, где прожил пусть и беспокойную, но свою жизнь. И, поняв это, Илья сказал:

— Теперь только начинаем работать, Игнат Лукич!

Самарин стоял раздумывая. Попросил:

— Дайте-ка папироску, Илья...

Илья протянул ему пачку. Самарин с наслаждением закурил, сложил губы трубочкой, выпустил струйку дыма и неожиданно обнял Илью за плечи, притянул к себе:

— Ну что же, Илья, — сказал он, — пойдете еще раз взглянем на нее... Теперь Симаков придумает новый тост. Будем пить за него.

— За кого?

— За план, конечно.

Илья рассмеялся. Ему и в самом деле показалось все это очень забавным.

— Ну что же, идемте.

Так, обнявшись, они и пошли к стану. И в это время раздался сильный надсадный крик, отдавшийся резким эхом под сводами. Крик был полон ужаса, и от него невольно холодела кожа. Толпа качнулась и рассыпалась. Илья рванулся вперед, кого-то оттолкнул, увидел, как двое вальцовщиков остекленевшими глазами смотрят вниз, в пол, туда, где был паз. Черный едкий дым рвался оттуда, и в какую-то долю секунды Илья понял: маслоподвал... аккумуляторы... Еще мгновение, и... Он круто повернулся. Кто-то мешал ему, он сбил его с ног, вырвался из толпы к люку. Делал он все механически, отдавшись порыву. Схватился за перила, чтобы рывком прыгнуть на ступеньки люка, но его остановил властный голос Самарина:

— Назад!

И не успел Илья опомниться, как Самарин оттолкнул его, всей своей громадой перемахнул через металлические перила прямо на нижнюю площадку лестницы и исчез за поворотом. Илья бросился за ним.

— Пар! — раздалась снизу команда.

«Пар», — мелькнуло и у Ильи. В два прыжка он оказался у вентиля паротушителя и повис на нем. Дрогнули трубы, со свистом рванулся пар, и, ощутив в руках мелкую дрожь вентиля, Илья вдруг понял, что делает: там же Самарин!

Слышно было, как натужно, под сильнейшим давлением рвется по трубам пар. Он выбился из-под паза у стана, заволок его. Илья опрометью кинулся к люку; перепрыгивая через несколько ступенек, бежал вниз.

Бронированная тяжелая дверь маслоподвала была закрыта на задвижку, и на этой задвижке болтался лоскут от самаринской спецовки.

Самарин лежал на площадке у стены. На нем еще местами тлела одежда. Илья склонился над ним и тут же отшатнулся: волосы у Самарина были опалены, кожа струпьями висела на щеках.

— Сюда! — крикнул Илья.

Но по лестнице и без того стучали шаги бегущих к нему людей.

15

Часа в четыре дня, отдохнув после ночного дежурства, Наташа вышла из своего номера. Спала скверно, заснула с большим трудом. Слышала, как в гостиничном коридоре жужжат пылесосы, переговариваются уборщицы, где-то хрипит радиоточка. Укрывалась одеялом, клала на ухо вторую подушку, но звуки обступали ее, донимали, не давали уснуть. Сон был тяжелым, похожим на бред.

Она пожалела, что не осталась на заводе. Прогнала ее Анастасия Семеновна: «Нечего тебе тут делать. Смотри-ка, лица на тебе нет! Ступай, ступай отсюда, спи...»

И теперь слегка кружилась голова, поташнивало. Внизу, в холле, она еще раз взглянула на себя в зеркало, косо усмехнулась: «Старая ведьма... Вид, как будто окунули в ванну с кислотой». Ей хотелось есть, но она не пошла в ресторан. «Лучше на заводе, в сто-

ловой...» Спускаться вниз с холма к трамваю не хотелось, и она взяла такси тут же, у гостиницы.

— На пляжик, барышня? — подмигнул шофер. У него было мясистое потное лицо, усеянное конопushками, и узкие слащавые глазки. Физиономия буфетчика из забегаловки.

— На завод, — ответила Наташа и села на заднее сиденье.

— Жаль, — шофер притворно вздохнул. — В самый раз окунуться. Составлю компанию.

«Дурак», — подумала Наташа. Резко сказала:

— Хватит! Пожалейте свой талон. Внизу стоит автоинспектор.

Она увидела в зеркальце, как ухмыльнулся шофер.

— Он мой двоюродный брат, — но тут же замолчал, быстро повел машину.

Наташа пожалела, что взяла такси. «Все сегодня против меня, — подумала она, — все, даже я сама...»

В заводской столовой было прохладно, пахло мокрыми тряпками, капустой. Столики пустовали. Наташа огляделась и увидела в углу одинокую фигуру. Узнала Симакова и обрадовалась. «Вот и отлично. Сейчас все узнаю, как в цехе».

Симаков не слышал, как она подошла, вздрогнул, когда скрипнул стул. Его тонкие серые усы дрожали. Наташа еще никогда не видела, чтоб у человека дрожали усы, будто к ним подключили ток высокого напряжения.

— Что с тобой? — спросила она.

Он долго не отвечал, сглотнул слюну, наконец, спросил:

— Ты из больницы?

Недоброе предчувствие шевельнулось в ней.

— Как ты сказал?

Симаков сжал стакан с компотом, подался к ней.

— Он живой?.. Скажи... Живой?

— Симаков! — крикнула Наташа, чувствуя, что еще немного, и она не сможет владеть собой. — Что случилось, Симаков?!

Тогда он внимательно посмотрел на нее и вздохнул, как вздыхают дети после долгих слез.

— Ты ничего не знаешь?

— Да говори же ты!

...Потом она долго еще вспоминала и стыдилась этого воспоминания: Симаков назвал фамилию Самарина, а она сперва почувствовала даже облегчение и, только поняв, что произошло, содрогнулась. А Симаков сидел перед ней и дрожал от страха, словно его вытащили из-под колес автомобиля. Наташа однажды видела, как парнишку лет семнадцати вытащили из-под самосвала. Он отделался двумя-тремя синяками, но так дрожал и плакал, что на него было противно смотреть, и, когда шофер, не владея собой, влепил ему пощечину, все вокруг одобрительно зашумели.

— Ты давно здесь сидишь? — спросила Наташа.

Симаков не ответил, и Наташа поняла, что он потерял счет времени и сам не знает, давно ли тут.

— Идем отсюда, — сказала она ему жестко.

Симаков поднял глаза. Все же до чего противно, когда у человека дрожат усы! У него, наверное, хорошая, добрая мама, она живет в Москве, где-нибудь на Арбате, в тесной старой комнатенке, и рассказывает на общей кухне, что ее Славик работает инженером на большом-пребольшом заводе и что к зиме она ему pošлет теплый свитер, который купила в универмаге, выстояв двухчасовую очередь. И, подумав так, Наташа пожалела Симакова, взяла из его рук стакан с компотом, поправила галстук, который выбился из-под воротника «самаринки», и тихо позвала:

— Идем, Слава.

Симаков поднялся, и она увидела, что он плачет.

— Я боюсь, — сказал он, всхлипывая. — Я теперь всегда буду бояться. Там... в цехе...

— Ничего, ничего, — она взяла его под руку. — Ты иди домой, поспи. Все пройдет...

— Он такой человек, такой был человек...

Наташа вывела его из столовой. Симаков загородился локтем от яркого солнца, взглянул на Ната-

шу, застыдился и торопливо стал вытирать рукавом лицо.

— Ты, пожалуйста, не думай, что я уж совсем такой.

— Я ничего не думаю, — ответила Наташа. — Ты лучше поспи. Честное слово, тебе лучше поспать.

Она посмотрела, как он, спотыкаясь, пошел через двор к проходной, и заспешила к цеху. Наташа стала искать Илью в механической, в травилке, в термитном отделении, но никто не знал, где он.

В цехе все было по-прежнему. Проползали над головой мостовые краны, по рольгангам плыли стальные рулоны, на транспортировочной площадке паковались готовые пачки листа. Люди работали молча, сосредоточенно, как работали они и вчера. Когда Наташа уже выбилась из сил и потеряла надежду отыскать Илью, кто-то посоветовал ей подойти к больнице.

Заводской больничный городок был недалеко, минут двадцать ходьбы. Его построили в лесу. Светлосерые строгие корпуса с широкими лестницами, и подле них большие вазы с цветами. Асфальтовые дорожки, клумбы, как в санатории.

Наташа прежде никогда не бывала здесь. Она робко вошла в ворота и остановилась, не зная, куда идти дальше, у кого и что спрашивать, и тут увидела Рослякова. Наташа не сразу узнала его. Он был без очков, и от этого лицо его стало старше, складки на щеках и морщины выступили резче.

Он сидел на ступеньке, курил.

Наташа подошла. Росляков рассеянно поднял на нее близорукие глаза, как на незнакомую, и отвернулся. Наташа села рядом с ним, тихо спросила:

— Ну как?

Росляков пожал плечами и ссутулился. Наташа забыла, зачем шла сюда, забыла, что ей очень нужно было увидеть Илью. Она смотрела на стену больничного здания, и на этой стене вырисовывалось большое лицо Самарина с высоким лбом, курчавыми седоватыми висками. Она представила себе, как с него сползают куски кожи, и ей стало зябко и страшно.

За этой стеной происходило что-то мучительное, непоправимое, огромное в своей беде, и его, может быть, уже ничем и не остановишь, оно наваливалось всей своей тяжестью, расплющивало деревья, дома, клумбы... От берез долетал стук костяшек — там выздоравливающие играли в домино, а в другой стороне больничного городка пел задумчивый женский голос. Терпко пахло хвоей... Когда Наташа училась в институте, у них умер декан. Он лежал в актовом зале, и на гроб его положили еловые ветви. После похорон еще долго в зале стоял запах хвои, и Наташа боялась этого запаха... Раньше она его не замечала здесь, хотя вокруг завода росли сосны. Теперь же запах был сильный, едкий, и от него становилось горько во рту...

«Нет, нет, только не смерть», — думала Наташа. — Он не должен умереть...» И она вспомнила, как Самарин провожал ее однажды из цеха в лабораторию, взял за руку. Рука у него была большая, теплая и мягкая. Она еще тогда подумала: «Такие руки бывают у добрых людей...» О чем они тогда говорили?.. Ах, да, ей хотелось узнать, почему они не ладят с Ильей. Она не понимала этого, но ей было неловко прямо спросить Самарина, и Наташа схитрила.

— Вы куда бы поехали в отпуск? — спросила она.

— В отпуск?

Самарин даже остановился, потом рассмеялся.

— Удивительно, — сказал он. — Я даже забыл это слово... Но, наверное, я бы никуда не поехал.

— Испугались бы, что без вас разбежится весь цех?

Самарин посмотрел на нее, прищурившись, и покачал головой.

— Наташа, вы хитрая женщина. Надо быть Сократом или хозяйственником, который искушен во всех тайнах производства, чтобы уловить логическую связь между отпуском и тем, что вы хотите спросить. Впрочем, старому греку далеко до современного хозяйственника. А у меня производственный стаж... Давайте начистоту. Хотели узнать: если бы я ушел

в отпуск, то кого бы оставил заместителем — Рослякова или Клинкава? Так?

Наташа покраснела. Она попалаась сразу. Наверное, она совсем не умеет прикидываться, или действительно стаж хозяйственника кое-что значит.

— А если и так? — все же спросила она.

— Вам бы хотелось, чтобы я назвал Клинкава?

— Да.

— Вы молодец, Наташа. И Клинков хороший парень... Но вам не приходила в голову самая простая штука, что если человеку насильственно вбивать много лет определенную истину, то она неизбежно доводится до такого упрощения и примитивизма, что приобретает прочность предрассудка?

— Это что-то очень сложно, хотя вы и называли это «простой штукой».

— Сейчас объясню. Илью долго учили, что командовать — это проверять, а проверять — это командовать. Самое страшное, что учили его этому мы, старые хозяйственники. И, может быть, искренне. Так думали сами...

— Но ведь у вас получалось.

— Получалось, да не все. Дело в том, что ум, воля, опыт одного всегда односторонни. Это надо уметь понять. И люди, отданные под команду одного, утрачивают способность в полной мере приобретать свой собственный опыт и довольствуются тем, что им навязали.

— При чем же тут Илья?

— Очень просто. Он хорошо усвоил ту самую формулу о командовании и проверке. И хоть сам выступает против нее, но она, оказывается, сильнее его и живет в нем. В этом, может, нет его вины. Эта формула приросла к нему полипом предрассудка. А от него не так уж легко отделаться.

— Вы отделались?

— Тоже нет. Но чтобы отделался он, этого я очень хочу... Этот проклятый полип очень сдерживает дыхание. Тут уж ничего не поделаешь. Человек начинает верить только себе...

— Значит, если бы вы ушли в отпуск...

— Я оставил бы Илью... Или даже Симакова. Это не имеет значения.

— Вот как!

— Да, не имеет. Этот мальчик с усами тоже должен делать то, что умею я или Клинков, как, впрочем, и все тысячу двести рабочих цеха. И даже лучше, чем делаем мы. И только так, Наташа. Честное слово, мне этого очень хочется!

— И давно?

Самарин вздохнул, пожал плечами.

— Вот этого я вам не сумею сказать... Просто иногда просыпается человек и видит за окном утро. И видит одинокую сосну подле своего дома и думает о том, что сосны умирают от одиночества. Тогда ему страшно хочется, чтобы вокруг был лес, самый настоящий лес и в нем стояли бы очень хорошие, очень свежие сосны. Так-то, Наташа...

Она не ответила, она думала о том, что он говорил, и почувствовала пожатие его теплой, мягкой руки... Почему она вспомнила об этом сейчас?.. И опять поплыли перед глазами его лицо и кожа. Боже мой, с него сползла кожа! Ей рассказал об этом Симаков. Он глотал слюну и плакал, он совсем еще мальчишка...

Откуда-то вернулась Анастасия Семеновна, с ней подошли еще люди. Все говорили шепотом. До Наташи долетали слова: «Послали телеграмму. Жена...» Они еще что-то говорили, а она все сидела рядом с Росляковым на ступеньке большой лестницы.

Потом появился человек в белом халате, сердито заговорил, и все поднялись, пошли к воротам. Сумерки тянулись по асфальтовым дорожкам. Анастасия Семеновна тронула Наташу за плечо. И Наташа пошла за ней.

У трамвайной остановки Анастасия Семеновна сказала:

— До утра, Наташа.

И голос у нее был грубый, мужской. Неприятный голос курящей женщины.

Наташа вошла к себе в номер, когда уже было темно. Она зажгла настольную лампу, опустилась

в кресло. Хотелось пить. Графин с водой стоял на столе. Достаточно было протянуть руку, но Наташа не могла даже этого сделать. Сидела, уставившись в дверь. И эта дверь робко скрипнула, медленно приоткрылась. Так слабый сквозняк невидимкой входит в комнату. Наташа не шевельнулась. А дверь открывалась все шире и шире, и вдруг в провале ее Наташа увидела при несмелом свете настольной лампы женщину и испугалась.

Женщина затворила за собой дверь, сделала несколько шагов. Теперь Наташа видела ее хорошо: круглое простоватое лицо, большие глаза, неловко сидящий бежевый костюмчик.

Женщина остановилась посреди комнаты, в глазах ее была непонятная Наташе решимость и отвращение.

— Где он? — тихо, но требовательно спросила она.

— Я не знаю. Я ничего не знаю.

Наташа провела рукой по лицу.

— Послушайте...

Но Клава не дала ей договорить, сжала руку в крохотный цепкий кулачок, и этот кулачок задрожал.

— Ты... Ты! — выкрикнула она, и на лбу у нее выступили красные пятна. Наташа поняла, что эта женщина может сейчас сказать что-то страшно отвратительное и ей нельзя было позволить сделать это. Собрав силы, Наташа встала, резко отодвинула стул.

— Прекратите... Сейчас же! Слышите?

У Клавы все еще дрожал кулачок и в глазах от бессильной злобы накапливались слезы.

— Там случилась авария, — сказала Наташа. — Может, погиб человек...

Она сказала это как можно спокойней и сама услышала свои слова, жесткие, будто чужие. Клава подалась вперед, опустила руки. У нее сразу перехватило дыхание, и она спросила густым шепотом:

— Что вы сказали? — и в ее широко открытых

глазах не было более той решимости. — Он?! — крикнула она, сжимая локоть Наташи.

— Нет, нет... Это Самарин. Но Илья был там.

— Где же он?

— Я обошла весь завод. Я ничего не знаю...

Клава смотрела ей в лицо испытующе, не веря, и было неприятно, что она так смотрит.

— Почему вы не верите?

Клава вся ослабла, опустилась на кровать и, закрыв лицо руками, заплакала.

— Да что же это? — тихо, сквозь слезы говорила она. — За что? — Она плакала негромко, дрожа всем телом, и была жалкой, беспомощной.

Наташа растерянно смотрела на нее, поспешно взяла со стола графин, налила воды в стакан.

— Выпейте, пожалуйста.

Лицо Клавы было отчужденным, она пила и продолжала всхлипывать, и Наташа почувствовала, что еще немного, и она сама не выдержит.

— Успокойтесь, — попросила тихо.

Но Клава не слышала, расплескала воду на свой бежевый костюмчик, в глазах ее застыла тоска одиночества. Наташа вздрогнула. Она вспомнила, у кого видела такой взгляд — у Санду... Там, в общежитии... И, смотря на эту женщину, она почувствовала себя виноватой перед ней. Надо было что-то делать, и Наташа поняла: если не сумеет этого сделать сейчас, то потом никогда не простит себе.

— Клава, — позвала она. — Клава... Мы пойдем его искать. Мы пойдем вместе... Слышите, Клава?

16

Было за полночь. В лесу стояла густая, мягкая тишина. Стволы сосен теснились, жались друг к другу; их вершины были освещены, на них дрожал слабый голубоватый отблеск. И небо над ними было высоким, в лунном покойном свечении, хотя самой луны и не было видно.

Давно стоял Виктор на тропе, прислонившись плечом к сосне, и следил за Ильей Клиновым, ко-

торый сидел на пне, жадно курил и что-то бормотал себе под нос. С этим человеком явно творилось неладное.

Когда Виктор бросился за ним в маслоподвал и достиг нижней площадки, то увидел: Клинков руками гасит тлеющую на Самарине спецовку. Это была новая спецовка, та самая, которую все в цехе называли «самаринкой». Клинков рвал ее, обжигая пальцы. Виктор стал ему помогать. Потом они вытащили Самарина наверх и увидели: лицо начальника цеха не было похоже на человеческие лица... Откуда-то прибежали люди в белых халатах, с носилками. Самарина уложили, прикрыли простыней и унесли, и тогда Виктор взглянул на руки Клинкова. Они были красные, местами потрескались. Но Илья, видимо, не чувствовал боли. Виктор взял ведро с машинным маслом, потребовал:

— Окуните пальцы!

Старый заводской способ лечить ожоги. Илья машинально сунул руки в масло. Лицо его было бледным, с запавшими глазами, хмурой складкой меж бровей. Вокруг толпились рабочие, говорили полупотом, показывали на стан. Только в эту минуту Виктор понял, что произошло. Вообще чудо, как удалось Самарину спасти всех этих людей, стан, цех. Еще бы несколько секунд, и могло... Виктор остро представил себе, что бы тогда произошло. Эти аккумуляторы подняли бы вверх всю многотонную машину стана. Однажды Виктор видел, как взорвался баллон с кислородом. Он пролетел как снаряд и на тридцатиметровой высоте, под сводами цеха, пробил балку. Всего один кислородный баллон. А здесь столько аккумуляторов, под давлением. Атомная бомба!.. Черта с два остался бы гут кто-нибудь жив.

Как же это могло случиться?.. Могла попасть искра в подвал. Там открытые емкости масла. Могло выбить один из аккумуляторов... Да мало ли что могло случиться! Придут из котлонадзора, из госконтроля, начнут разбираться и найдут причины. Помнится, Клинков что-то говорил о маслоподвале. Нужна, мол,

изоляция другая или что-то в этом роде... И Виктор спросил Илью:

— Как же это, а?

Илья вздрогнул, словно очнулся, уставился на ведро с маслом и, не отвечая, сам спросил:

— Что это?

— Чтоб руки не болели.

— А-а, — протянул Илья и вынул руки из масла, взял с ящика тряпицу и стал обтирать пальцы.

— Ремонтников вызвали? — спросил он деловито, подчеркнуто спокойно.

Виктор не знал, вызвали ремонтников или нет, пожал плечами. Илья бросил тряпицу в ящик для мусора и направился по пролету цеха. Перед ним расступались рабочие, молча пропускали...

Виктор не пошел домой... Он возился у стана со слесарями, наладчиками. Несколько раз бегал в душ, приводил себя в норму. Домой пошел поздно, когда стемнело. Неподалеку от общежития он увидел Клинка. Тот свернул в лес, и Виктор испугался за Илью и тихо двинулся следом. Илья долго блуждал по тропкам, потом, ссутулив плечи, сел на пень. А Виктор, боясь потревожить его, остался у сосны. Илья курил одну папиросу за другой и что-то бормотал.

Сначала Виктор просто боялся за Илью, а потом ему стало неловко, будто он соглядатай какой-то. Стоит подглядывает. Человеку иногда надо побыть одному, и никто ему не должен мешать в это время. Но все же уйти не мог.

Так прошло часа два, пока Виктор решился, подошел к Илье, тронул его за плечо. Клинка не вздрогнул, он словно ждал этого прикосновения, безразлично посмотрел на Виктора снизу вверх.

— Пойдем, инженер, — сказал Виктор. — Пойдемте ко мне, чайку попьем.

Илья притоптал папиросу ногой, встал, стряхнул табачный пепел с брюк.

— Чайку? — Голос его был спокойный. — Чайку? — повторил он и вздохнул. — Ну что ж... А ты где живешь?

— В общежитии, тут рядом.

- А Сашу не разбудим?
- Нет. Она всегда меня ждет...
- Ну что ж, идем.

Они шли лесом молча. На утоптанной стежке шаги их звучали мягко, тут же глохли в вязкой тишине. В спокойствии Ильи было что-то неприятное, и Виктор невольно спешил побыстрее выйти из лесу, из этих бесконечных черных стволов, перепутавших все тени...

Саша и вправду ждала. Она сидела в комнате у распахнутого окна. На столе, укрытая подушкой, чтоб не остыла, стояла кастрюля и тарелки. Потолок в комнате был розов от абажура. Саша поднялась навстречу, тревожно скользнула по лицу Виктора сухими глазами, словно спрашивая: «Что?»

— Принимаете в гости? — спросил Клинков.

Глаза у Саши потеплели, она кивнула, как делала это всегда, когда была рада.

— Милости просим!

Теперь в комнате Виктор хорошо видел Илью, его сухощавое лицо, холодноватый отблеск электрической лампы в глазах. И тут Виктор понял, что таким и должен быть сейчас этот инженер, именно таким. Ему вспомнилось, как у него самого в минуты больших тревог вдруг появлялась внутренняя собранность, и она всегда выручала его. И теперь, когда Виктор понял это, Клинков стал ему сразу ближе, будто он открыл в нем что-то очень родственное себе.

— Чайку нам, Саша, а? — попросил он.

— Я сейчас, быстро, — сказала она и вышла.

В комнате был всего один стул, и на спинке его висела Сашина кофта.

— Садись на кровать, инженер, — сказал Виктор.

Клинков опустил прямо на покрывало, с наслаждением вытянул ноги, сказал:

— А не плохо тут у вас.

— Саша все старается, — Виктор улыбнулся, присел у тумбочки, загремел посудой, доставая чашки. — Она последнее время ужасно как старается... К зиме

новый жилец появится. Тут уж, хочешь не хочешь, старайся...

Илья не отозвался. Виктор почувствовал пустоту за спиной, оглянулся. Илья, откинув голову на подушку, спал. Было что-то детское в его позе: приоткрытый рот, прижатая к груди рука и безмятежность на лице. Виктор осторожно поставил чашки обратно в тумбочку.

Вошла Саша, Виктор приложил палец к губам, показал на Илью. Саша охнула, поставила чайник на стол, подошла к кровати и, осторожно расшнуровав ботинки, сняла их с ног Ильи. Поправила под ним подушку, обернулась к Виктору.

— Будешь есть? — спросила шепотом.

— Какое уж там...

— Я нам на полу постелю, — сказала она.

Пока Саша стелила одежды, доставала из чемоданов простыни, Виктор смотрел в окно и курил. Только сейчас он почувствовал, как болят руки, ломит спину. Он подумал о Самарине. Что с ним? Этот высокий грузноватый человек с курчавыми седыми висками был во многом непонятен ему. Если бы еще вчера сказали Виктору, что Самарин первым из всех, кто стоял в цехе, прыгнет в маслоподвал, Виктор, пожалуй, не поверил бы. Сейчас же он воспринимал случившееся как должное. Впервые за весь день мелькнула мысль: а если... Виктор устало прикрыл глаза, и сразу завертелись пролеты цеха холодного проката, мостовые краны, травильная линия, светофоры, печи отжига. И весь этот огромный цех, в котором было много солнца, веселого гула машин, весь этот цех, ставший Виктору родным, показался ему пустым без этого человека, который всегда был внешне спокоен, любил невзначай обронить шутку, сказать о какой-нибудь девчонке-крановщице: «А ведь она ничего, ребята...» И все, что раньше не очень-то нравилось Виктору в этом человеке: подчеркнутость одежды, хорошо поставленный, как у артиста, голос, широкие жесты, — все это теперь виделось иным. Виктор вспомнил, что так было у него, когда умер отец. У того была привычка, простая человеческая

привычка — грызть ногти. Когда отец был жив, Виктор просто не замечал этого, усмехался, когда мать говорила отцу: «Да долго ты ногти будешь свои жевать?» А умер отец, он вспомнил об этой его привычке, и она показалась ему милой, родной, и отца он вспоминал, как тот сидит, задумавшись над газетой, и грызет ногти. А кому-то, наверное, со стороны это показалось бы скверным, но не ему, Виктору...

— Иди, — позвала Саша.

Он быстро разделся, погасил свет и лег с ней рядом, закинув за голову руки.

Он видел за окном вершины сосен, облитые трепетным голубоватым светом.

— Дай руку, — стыдливо и горячо шепнула рядом Саша. — Вот сюда... Слышишь? — И тихо, счастливо засмеялась. — Стучится ножками...

Виктор ничего не уловил, лишь ощутил ее теплую ласковую кожу. Ему стало хорошо от этого, радостно от застенчивого, счастливого смеха Саши, и он, забыв обо всем, погрузился в сладостное ленивое забытие.

Проснулся Виктор от внутреннего толчка. Так просыпаются от внезапной тревоги, и сон слетает мгновенно. Он увидел в окно теперь уж черные вершины сосен и белое небо. Скрипнула кровать. Клинов сидел на ней и торопливо зашнуровывал ботинки. Виктор приподнялся, спросил:

— Куда?

Илья ответил не сразу. Дошнуровал ботинок, поднялся.

— В больницу.

Виктор посмотрел на спящую рядом Сашу. Она согнулась калачиком, сладко смежив веки, прищмокивая, как маленькая, во сне губами. Наверное, ей снилось что-то очень хорошее. Стараясь не разбудить ее, Виктор встал, шепнул Клинову:

— Обожди, я мигом.

Потянулся к стулу, где лежала одежда, быстро собрался, и они на цыпочках подошли к двери. Прежде чем переступить порог комнаты, Виктор еще раз посмотрел на Сашу. На подушке густой тенью чернели ее волосы и светлело лицо. Захотелось вер-

нуться, склониться и поцеловать, словно бы он уходил очень далеко. Но Виктор не решился, сдержанно вздохнул и прикрыл за собой дверь.

Наступила та самая пора, когда солнце еще не взошло, но небо уже посветлело и все вокруг кажется плоским, без теней. Дорога у общежития, по которой всегда проносились с ревом многотонные «МАЗы», грузовики с гремящими прицепами, была пустынна. Сухой серый асфальт словно отражал небо. Березы с пыленной листвой у обочины стояли сникшие и тоже серые.

Илья торопливо закурил. Хотя спал он недолго, но выглядел бодрым, отдохнувшим. Виктор не стал его спрашивать, почему он так спешит в больницу. Его самого сейчас охватила тревога, и все, о чем он думал перед сном, возникло в нем с новой силой.

Они прошли вдоль леса к больничному городку. Ворота были приоткрыты. Сторож спал в будке. Цветы на клумбе были мокрыми от росы. Около больничного подъезда стояла заводская машина. Значит, кто-то приехал сюда раньше их.

Они поднялись по ступеням, вошли в вестибюль. Около белой колонны стояла Анастасия Семеновна и рядом с ней худенькая незнакомая женщина. На ней был шелковый смятый пыльник, и она прижимала рукой красную сумочку, пузатую, похожую на очень большой помидор.

— Как? — спросил Илья у Анастасии Семеновны, и женщина быстро оглянулась, вскинув на него серые заплаканные глаза. Виктор увидел у колонны чемодан, вспомнил о машине у подъезда и понял, кто эта женщина. Значит, прилетела ночным самолетом.

Анастасия Семеновна не успела ответить. Из-за колонны вышел низенький чернявый человек в белом халате, протянул руку женщине, сказал:

— Прощу.

Женщина ухватила за эту руку. Потом оглянулась, торопливо отдала красную сумку Анастасии Семеновне и пошла за врачом по коридору. Там еще было сумеречно, горела тусклая лампочка, и бледно-рыжий отсвет тускнел на белых дверях. Женщина

шла согнувшись, словно боясь потерять опору, и Анастасия Семеновна и Клинков смотрели ей вслед...

Самарин умер на рассвете, когда над лесом поднялось солнце. Он умер, не приходя в сознание. Лежал на кровати, большой, с тяжелыми руками и со страшным ошпаренным лицом. И все, кто был в это время в палате: врачи, сестры, — все они, не раз видавшие смерть, но так и не сумевшие привыкнуть к ней, отшатнулись, испуганно и молча, прижав к стене низенькую женщину. И та застыла, оцепенев, все еще не понимая, что его уже нет, что он по ту сторону черты, отделившей его от людей.

17

Не так уж много времени понадобилось, чтобы привести в порядок пятиклетьевоу стан. К полудню на нем прокатали полосу, и с тех пор прокатка шла нормально.

Сразу тысячи забот обрушились на Илью. Цех жил своей постоянной напряженной жизнью и все время требовал к себе внимания от мелочей до сложных и больших дел, как огромный живой организм.

Илья разместился в «умывальнике», где все напоминало о прежнем его хозяине: аккуратные стопки бумаги, строгий почерк на распоряжениях и докладных. В углу комнатки висел синий плащ и ворсистая белая кепка, которую Самарин носил ранней весной. Но не это было главным. Самарин еще невольно подчинялся своей живой силой Илью; он отдавал те распоряжения, которые не успел отдать при жизни.

Во время пересмены Илья собрал оперативку по трансформаторной. Он говорил, что сейчас главное — следить за качеством проката, говорил о премиальных для тех, кто участвовал в освоении стали, и говорил так, как говорил бы Самарин, невольно повторяя его жесты и подделываясь под интонацию его голоса, но не замечал этого. И все, кто слушал его, кто выступал на оперативке, слушали и выступали

так, будто говорил с ними не Клинков, а Самарин. И телефонные звонки из заводоуправления были такими же, какими они были при Самарине.

Только один раз за весь день был нарушен этот рабочий порядок. В «умывальник» пришел Симаков. Он был в чистой, хорошо отутюженной «самаринке», при галстуке, в белой рубаше. Сел на стул против Илья, робким жестом пригладил свои тонкие усы и положил на стол отпечатанную на машинке бумажку. Илья одним взглядом прочитал ее. Это было заявление об уходе с работы.

— В чем дело? — спросил Илья, чувствуя, как все закипает в нем и напряжение последних дней может выплеснуться сейчас на этого парня.

Симаков, краснея, но все же стараясь прямо глядеть Илье в глаза, заговорил:

— Я все продумал... Мне нельзя больше у стана... Этот подвал... Я всегда буду думать о нем...

— Струсил? — выкрикнул Илья и понял, что допустил ошибку.

Симаков не отвел взгляда.

— Лучше об этом признаться прямо, чем бояться всю жизнь, — сказал он.

Фраза прозвучала у него, как заученная. Наверное, он придумал ее сегодня ночью, когда писал заявление, и без конца повторял ее в уме.

Илья вспомнил, как возился с этим мальчишкой Самарин, таскал его к себе в гости. Он тогда не понимал, почему Самарин возится с этим усатым пижончиком. Завоевывал дешевую популярность среди таких, как он? Разве ж он знал тогда... И отчетливо встало перед глазами, как уходил от их столика Самарин, чуть склонив набок свою тяжелую голову. Тогда он, помнится, сказал мягко, даже с грустью: «Правду тоже надо уметь говорить, Клинков». И от этих слов Илье сделалось неловко. Разве ж он знал, что Самарин лишь хотел, чтоб этот инженер стал просто своим, заводским парнем? Очень хотел...

— Послушай, Славик, — глухо сказал Илья. — Ну хорошо, я подпишу тебе это заявление. А дальше?

— Поеду в Москву... Может быть, аспирантура...

— Ты думаешь, там не узнают, что ты струсил?.. Обязательно узнают. Это узнают быстро. Потом тебе будет стыдно всю жизнь.

— Ну и пусть... Я хочу делать то, что мне хочется.

— А ведь он любил тебя, — тихо сказал Илья.

Симаков отвел повлажневшие глаза.

— Я знаю. Ну что?

— А то! — Илья схватил со стола заявление, скомкал его в кулаке. — Будешь работать у станка! И запомни: то, что было у нас в маслоподвале, случается один раз в сто лет. Ты, как инженер, должен знать это. А сейчас дуй отсюда. И поменьше рассказывай, как ты испугался. Ну?!

Симаков поднялся бледнея.

— Я напишу в партком.

— Пиши. А сейчас катись...

Симаков хотел еще что-то сказать, но зазвонил телефон. Из термитного отделения сообщали, что вышла из строя одна из колпаковых печей. Илья бросил трубку и, не глядя на Симакова, вышел из «умывальника». Он очень скоро забыл об этом эпизоде, словно ничего и не случилось, только на душе еще долго держался неприятный осадок, и он никак не мог вспомнить, отчего он появился.

Илья пробыл в цехе допоздна. Вернулся в «умывальник», когда совсем стемнело, кое-как держась на ногах. Взял плащ, постелил его на стол, положил под голову ворсистую белую кепку; пытался думать о Самарине, Наташе, Клаве, но сон был сильнее...

Утро пришло такое же беспокойное, каким был минувший день. Опять телефонные звонки, распоряжения, оперативки, встречи с начальниками участков, мастерами. Но было и еще одно. Об этом мало говорили вслух, но все знали: в полдень должны хоронить Самарина...

После утренней оперативки Илья увидел Наташу. Она пришла в «умывальник», как входили и другие, — без стука, широко распахнув дверь, не прося и не требуя разрешения войти.

На ней было строгое синее платье, которого раньше Илья никогда не видел. Пока Наташа шла от две-

рей к его столу, в комнате становилось все меньше и меньше людей, и когда она подошла и села напротив, то в «умывальнике» уже не было никого, кроме нее и его.

Наташа смотрела в сторону, угловато подняв плечи, словно что-то сковывало ее, а Илья сидел растерянный, застигнутый врасплох, будто встретились они после долгой, затяжной разлуки и то, что было между ними недавно, казалось, отделено сейчас огромным отрезком времени, они не знают, что случилось с каждым из них. Вернется ли то, что было, или минуло, утрачено?

Илья увидел, как зябко вздрогнули плечи у Наташи, и этот, такой знакомый ее жест вывел его из оцепенения. Он вскочил с места, кинулся к ней и, утопив пальцы в ее волосах, прижал ее голову к себе.

— Наташка... — сказал он. — Наташка...

Она посмотрела снизу вверх повлажневшими, преданными глазами и, уткнувшись в его руки, тихо, беззвучно заплакала.

— Наташка, — сказал он еще раз.

— Ну, я не буду... не буду... — ответила она, вытирая ладошкой слезы и пытаясь сквозь них улыбнуться; протянула руку к его щеке.

— Ой, оброс как... похудел...

Ему приятно было ее прикосновение, и он поцеловал эту руку.

— Совсем пещерный житель, — тихо засмеялась она.

— Ничего, ничего... Это пройдет...

Уже давно на столе надрывался телефон, но Илья не слышал его, все гладил Наташу по волосам, и теперь ему уж вправду казалось, что разлука была долгой, очень долгой, такой, что в это время можно было бы вместить целую человеческую жизнь. И он сказал ей:

— Я скучал.

— И я... Очень... Даже страшно, как очень.

И хотя на самом деле все эти дни у обоих были наполнены совсем другим, сейчас им казалось,

что все было именно так, как они чувствовали теперь, и говорили искренне.

Телефон помолчал, а потом принялся трезвонить с новой силой. Его дребезжащий злой голос метался по комнате, бился об оконные стекла. Первой услышала его Наташа. Поморщившись, посмотрела на черную трубку. Лицо ее потускнело, она отстранилась от Ильи.

— Что с тобой? — спросил он.

Наташа устало провела ладонью по лицу.

— Так, — она вздохнула и тут же неожиданно сказала: — Клава ждет тебя... Она.. Она уезжает сегодня...

И он почувствовал себя, как после неожиданного тупого удара. Вспомнил, как оставил Клаву одну в гостиничном номере, как настойчиво, по-бабьи она повторяла: «Ты вернешься...»

— Ты ее видела? — спросил он пытливо у Наташи.

— Видела.

— И говорила с ней?

— Да.

Голос у Наташи прозвучал жестко, и она опять сидела так же, как давеча, угловато подняв плечи.

Илья хотел спросить, о чем же говорили они с Клавой, но телефон приковал к себе, заставил снять трубку. Звонили из завкома. Скрипучий женский голос сообщал, что похороны Самарина начнутся через полтора часа. Сообщал так, будто речь шла об очередном профсоюзном собрании. Илья раздраженно бросил трубку на рычаги, обернулся, но Наташи уже не было в комнате.

18

Полуденное небо было золотисто-сизым, высокое и спокойное. И спокойствие было во всем: в застывших голенастых соснах, бесприютно жавшихся к каменным оградкам, в пыльных тополях уличного сквера, в тяжелых крышах заводских корпусов, что темнели за узкой лесной грядой; и звуки похоронного марша в жарком воздухе казались сонными, бестревожными.

Не спеша, даже лениво плыли они над улицей, словно размеренные шаги уставших после работы людей.

А впереди на машине, укрытой красной материей, заброшенной еловыми ветвями и цветами, лежал Самарин. Никто из идущих за гробом не видел его лица, лишь темно-русую тяжелую голову, которая слегка покачивалась от движения. Вытянувшись цепочкой, несли венки заводские девчонки. Неуклюжие в своей торжественности, не привыкшие к такому шествию, старательно пытались попасть в ногу с унылым маршем.

И люди, что шли за гробом, взявшись под руки, обнажив головы под злым солнцем, тоже старались попасть в ногу, но им это не удавалось, они все время сбивались, стесняясь друг друга. Человек с траурной повязкой на белом чесучовом кителе то забегал вперед шествия, то останавливался, ожидая, пока подтянутся передние ряды. Вид у него был озабоченный, как у распорядителя на демонстрации, и казалось, он вот-вот крикнет: «Прибавьте шагу!»

Люди шли не к кладбищу, а к заводской проходной. Тяжелые металлические ворота были распахнуты настежь. Замерли у въезда грузовые машины. Шоферы, привстав на ступеньки, молча смотрели на процессию; прижались к стене охранники, пропуская бредущую толпу, и она заполнила широкую асфальтовую трассу.

В заводском дворе все почувствовали себя свободней. Оглядывались на пламенеющие окна электросталеплавильного, на темнеющую вдали эстакаду. Притормозил и застыл на рельсах тепловоз с платформами, на одной из которых размашисто было написано мелом: «Привет Ленке!»

У входа в цех горячего проката столпились рабочие в спецовках, сняв кепки. Здесь все было свое, знакомое, как в доме, и люди уж не старались идти в ногу, не смотрели на чесучового человека с черной повязкой.

Машина, обитая красным, остановилась у светлосерой стены цеха, у того самого места, где начинался тополиный строй, высаженный весной. Деревья

стояли худенькие, неокрепшие, но все же покрытые зеленью.

Гроб сняли с машины, опустили на землю рядом со свежевырытой ямой. Земля была песчаная, влажная, она желтела на солнце. И тут же лежал тяжелый синеватый сляб.

Все сгрудились кольцом вокруг могилы. Директор завода поискал глазами возвышение, увидел сляб и встал на него. Он заговорил, и его слушали затаив дыхание. Из-за светло-серой стены долетали машинный гул, стон металла и глухие удары скатывавшихся рулонов. И все, кто сейчас стоял у могилы, все думали о своем...

Илья смотрел на худенькую женщину с большими серыми глазами, прижимающую к груди нелепую красную сумочку. Женщину поддерживала Анастасия Семеновна, и казалось, если она ее отпустит, та упадет, не вскрикнув, ни произнеся ни звука.

Илья вспомнил, как он говорил Наташе, что жена Самарина, наверное, полная седеющая дама, которая любит поговорить о музыке и похвастаться, что печет отличные торты. А вчера Анастасия Семеновна говорила ему: «Ты не смотри, что она хрупкая. Фронтовичка... Такая выдюжит. Они на войне поженились... Может, устроим ее у себя? Она лаборантка. Баба очень хорошая». И сейчас у Ильи было такое чувство, будто он больше всех виноват перед этой женщиной. Он отвел от нее глаза, стал вслушиваться в речь директора...

А Наташа стояла, зажата в толпе, и все пыталась подняться на цыпочки, чтоб еще раз увидеть Самарина. Но ей это никак не удавалось, и она вся была во власти этого желания, ни о чем не думая и ничего не замечая...

Росляков тупо смотрел, как заколачивали гроб, как опускали его в яму, сыпали горстями землю. Сквозняки и оцепенение охватили его. И все проходило перед ним, как на слабо освещенном экране, и вокруг была страшная тишина. Он не различал ни голосов, ни шума. Все двигалось перед ним, как бы отделенное странной стеклянной стеной. Он видел, как быстро

засыпали могилу, как множество рук приподняли и навалили на нее тяжелый сляб, и на этом слябе, выжженные сваркой, сверкнули, отливая рваной сталью, слова: «Самарин Игнат Лукич». И в этот самый момент что-то случилось с Росляковым. Он увидел серый тяжелый камень, чужую надпись: «Светлячок!» — увидел полное розовое лицо Рындина, и все это собралось вместе, расплылось перед глазами... Кто-то поднес ему стакан с водой. Он пил, стуча зубами о край стакана, и вода текла у него по подбородку.

— Ваня, Ваня! — тряся его за плечо, выкрикивала Анастасия Семеновна.

Он увидел ее, потом лица людей. Сразу же сник, тяжело всхлипнул. На какое-то мгновение стало пусто на душе, неприятно за то, что произошло.

— Идем, идем, — звала жена.

И он покорно пошел за ней, чувствуя, что на него смотрят, и пытался взять себя в руки. Он не знал, что с ним произошло, но это было сильнее его, и он чувствовал сейчас тяжелую усталость. Хотелось уйти от всего, чтобы не видеть ни людей, ни алого, яркого солнца.

— Милый, — сказала рядом с ним жена. — Ну что же ты так, милый...

Он услышал в словах ее ласку — мягкую, необычную — и теперь, когда уже не было вокруг никого, только Настя, не стыдясь и не пугаясь, заплакал неумелым стонущим плачем.

...А над заводом стояло полуденное небо, золотисто-сизое, высокое и спокойное.

19

Наташа сидела рядом с Клавой под топодем у гостиницы. Перед ними открывалась все та же ширь: речная пойма, лес, беспредельная зелень лугов.

Они сидели молча, словно боясь нарушить ту связь, что возникла между ними. Это началось в ту ночь, когда Клава пришла к ней в номер.

Они шли по пустынным улицам, через длинный мост на левый берег, шли молча, чувствуя друг перед

другом неловкость. Белело небо, медленно, нехотя за лесом зажигалось утро. Какое-то чутье подсказало Наташе, что надо идти не на завод, а к больничному городку.

Наташа и Клава подошли к лесу, там, где началась решетчатая ограда больницы. Солнце уже поднялось, высветило сосновые вершины, и за ними горела желтым пламенем огромная крыша нового цеха. Деревянные ворота распахнуты. Асфальтовая дорожка, цветы на клумбах были влажными от росы.

Около широкой лестницы тесной кучкой понуро и молча стояли люди. Большинство из них в спецовках, покрытых масляными пятнами.

Наташа тотчас забыла о Клаве. Вспомнила, как сидела здесь вечером с Росляковым, как ей виделось большое лицо Самарина. Она кинулась к людям, расталкивала их, пробираясь вперед, и когда вырвалась из толпы к ступеням, то увидела, что по ним спускаются Анастасия Семеновна и человек в белом халате. Они поддерживали под руки худенькую женщину, которая прижимала к груди красную сумку. У женщины был тупой, остановившийся взгляд. Тяжелая тишина нависла над толпой. Женщину усадили в машину. Хлопнула дверца. И в это время Наташа увидела Илью.

Он спускался по ступеням, прихрамывая больше, чем обычно. Шел прямо на людей, и взгляд его был обращен внутрь себя. Люди расступались, а он все шел, убыстряя шаг.

— Илья!

Это крикнула Клава. Он не услышал. Клава кинулась к нему, но ей мешали люди, путались, толкали. А Илья почти бежал, выскочил за ворота... Машина развернулась, покатила по асфальтовой дорожке, отесняя Клаву.

Люди медленно расходились, вздыхая, тихо переговариваясь. Двор опустел. «Надо уходить», — подумала Наташа и оглянулась на Клаву. Она стояла, прислонившись плечом к старой березе, ссутулившаяся и чужая здесь для всех. Эти люди, которые только что стояли во дворе, да и весь этот мир вокруг — лес, за-

вод, все-все, были далеки от нее, как и она была далека от них.

Теплое участие шевельнулось в Наташе. Она почувствовала, что этой женщине, как ни странно, сейчас она ближе других людей, и подошла к Клаве.

— Идемте отсюда, — сказала она.

— Да, да, — ответила Клава, вздохнув. — Идемте...

И они опять пошли вместе. Наташа видела в Клаве не жену Ильи, а просто женщину, которая осталась одна и которой надо помочь, как помогают любому человеку в беде. И так было все эти дни...

Теперь же, когда катастрофа и похороны остались позади, Наташа вдруг почувствовала, что вернулось прежнее. Клава ждала, и Наташа, зная, чего она ждет, не могла ответить. Она боялась, что неловким движением, неловким поступком может оборвать ту самую нить, что возникла между ними и еще связывала их. Внутренним чутьем она угадала, что и Клава боится этого. И обе сидели молча.

И тут Наташа подумала, что не может солгать этой женщине ни единым словом и ни единым звуком. Она любит Илью и знала сейчас очень хорошо, как дорог он ей. Но и этой женщине он был дорог. Илья был ее мужем, и у них была дочь... «Что же делать? Что делать?» — твердила она себе.

Клава внезапно встала со скамьи, одернула свой измявшийся бежевый костюмчик и, глядя в сторону, сказала:

— Ну что же... Мне в дорогу пора...

Наташа молчала. Что ей ответить и как сказать, что решать за Илью не в их

Неожиданно Клава сказала ломким голосом:

— Старого не склеишь...

И от этих слов у Наташи сжалось сердце: она поняла, и не только разумом, но и всем существом своим, сколь велико и непоправимо горе этой женщины и свое бессилие перед ним.

— Я не хотела вам беды, — сказала Наташа.

Клава вздохнула, угловато подняв плечи. И Наташа почувствовала: что бы ни случилось меж ними,

эта женщина в глубине души никогда не простит ей. Она может смириться, но не простить. И никто не осудит ее.

— Надо идти... собираться, — сказала Клава, и видно было, что она медлит, ожидая каких-то слов. Но что могла сказать Наташа? У каждой из них своя правда, и они несовместимы.

Так и не дождавшись ответа, Клава сперва медленно, а потом быстрее и быстрее пошла к гостинице.

Наташа смотрела ей вслед и думала: «И мне... И мне пора в дорогу».

20

В «умывальнике» было необычно тихо. Не раздавалось телефонных звонков, никто не хлопал дверью, лишь с тупой настойчивостью капала вода из крана в раковину. А за окном — стена из серого кирпича, она уходила ввысь, заслоняя собой небо, огромная серая стена, как бесконечный экран, и по ней текло солнце, отражаясь и слепя. Внизу, у асфальтовой дорожки, проросла трава. Она была густой и черной.

Илья сидел у окна, смотрел на эту стену, и им овладевало такое чувство, будто все из этого большого дома срочно ушли и ему надо идти, но он опоздал и теперь сидит один. Как-то неловко, что все ушли, и в то же время хорошо, что он, наконец-то, может побыть сам с собой. И первое, о чем он подумал, было: «Надо сейчас же к Клавье». Скверно, что все эти дни ему не удалось увидеть ее.

Илья заставил себя вспомнить, как встретил Клаву, все с самого начала, как уходил из гостиничного номера и она смотрела на него растерянно и просяще. Этот взгляд был знаком ему. Впервые он увидел его, когда Клава родила Вику.

Она пролежала дома неделю, и у нее началось кровотечение. Ни он, ни она не знали, что предпринять. Илья поднимал кровать, чтобы голова была ниже ног, приносил лед, выпрашивая его у мороженщиц. Клава почему-то панически боялась вернуться

в больницу. Когда же узнала соседка, что у них происходит, кинулась к телефону-автомату и вызвала «Скорую помощь». Клаву взяли вместе с Викой. Илья силой влез в машину.

Клава теряла сознание. Ее пронесли в приемный покой, и там она открыла глаза и посмотрела на Илью вот этим просящим, жалким взглядом. Он ничего не успел ей сказать. Услышал, как врач бросил резко: «На лифт. В операционную...» Илья метался по комнате. Кажется, она была такая же, как этот «умывальник», отделанный белым кафелем. На стене висел плакат, на котором темнели рисунки, изображающие стадии рака. Он всегда избегал смотреть на такие плакаты. Теперь же эти рисунки лезли в глаза, и от них становилось жутко. Илья не выдержал, подошел к стене, сорвал плакат. На него накинута медсестра: «Что вы делаете?! Хулиганство...» Илья хотел послать ее к черту, но сестра посмотрела на него, молча подняла плакат и свернула его трубкой.

Когда спустился по лифту в комнату врач и сказал ему устало: «Все в порядке, идите домой», — он не поверил. За эти два часа Илья успел привыкнуть к своей страшной мысли. А главное, был ее взгляд. Такие глаза он видел в госпитале, когда лежал раненый. Они были у солдат, которых уносили в палату, откуда не возвращались...

Если бы не случилось той истории, у них, наверное, были бы еще дети. Но она боялась, что все повторится. Во всяком случае, так было года три или четыре. Потом они вообще не говорили об этом. А о чем они говорили?..

Илья сам вызвал ее телеграммой. Он думал тогда всю ночь и заранее знал, что ей скажет. И знал: Клава станет говорить о Вике. И ему казалось это очень важным, но решил: «Дети растут и становятся взрослыми. Еще семь-восемь лет, и у Вики начнется своя жизнь, и она получит право осуждать или принимать...» Теперь эта мысль представлялась никчемной и убогой.

Ясность мыслей наступила только сейчас, и они цепко выхватывали из пережитого то или иное собы-

тие, пытаясь соединить их в единую цельную картину. Так было с ним и на фронте, когда он лежал с раздробленной ногой неподалеку от свежей воронки. Эта воронка пахла птичьим пометом. Потом ему всегда казалось, что толовая гарь пахнет именно так... И тогда, несмотря на безумную боль, он тоже с необычайной ясностью вспоминал из небольшой жизни отдельные детали, случайные, не понимая, что в них есть своя строгая последовательность и закономерность. Он понял это после.

Прежде, когда Илья делал что-то неожиданное и, как казалось людям, не свойственное ему, он не ощущал в себе перемен, все ему казалось естественным. Лишь позднее, обдумывая случившееся, он начинал понимать, что сделал что-то новое для себя. Теперь он впервые в жизни отчетливо почувствовал, как все круто изменилось...

Может быть, это началось в то соловьиное утро, когда сидел он в парке, глядя на белые всполохи зарниц, а может, раньше или совсем недавно. Кто знает?

Разве угадаешь, где лежит начало того, что потом начинает властвовать над тобой?.. В ту лунную ночь, когда он брел по лесу среди черных сосновых стволов, а потом долго сидел на пне, он думал о многом неясном и путаном в своей жизни и не мог отыскать концов. Илья вспомнил все, что было у него с Самариным, и в какие-то мгновения ему начинало казаться, что отсюда-то и началось то, что легло меж ними тенью.

Было много мелкого, незаметного, того, что сейчас забылось... И речь Самарина на пуске цеха, и вербная ветка, подаренная Наташе, и... Было много такого, что Илья не принимал и не мог принять... Но это было. А в ту ночь в лесу внезапно все повернулось иной стороной, словно Самарин отошел на расстояние и стушевались мелкие штрихи, и Илья увидел этого человека в полный рост, как он есть, и то, что раньше казалось главным, ушло на дальний план, открыв совсем иную суть. И, поняв это, Илья поразился. Ведь он привык не верить этому человеку и убеждал себя,

что поступает правильно. А оказалось, что он видел в Самарине то, что жило в нем самом...

Чувство непоправимо ушедшего держалось в Илье все эти дни, то притихая, то вспыхивая с новой силой, и оно заставляло все время оглядываться назад, перебирать в памяти новые и новые подробности. Самарин незримо и неотступно шел рядом. Еще сегодня, придя в эту комнату, отделанную кафелем, Илья взглянул на телефон и почувствовал неодолимую потребность с кем-нибудь поговорить. И мелькнула мысль: «Самарин... Только он сумеет все развеять». И почудилось: вот звякнет стеклянная дверь и шагнет широко в комнату этот высокий человек с курчавыми висками.

И в то же время он знал: этого никогда уж больше не будет. Тот, с кем он мог бы сейчас вести разговор в открытую, лежал под стальным слябом у длинной цеховой стены, где растут молоденькие тополя.

И все же даже теперь Илья ощущал его рядом. Память настойчиво возвращала забытые разговоры, встречи, и они с особой яркостью всплывали перед ним... Дымный луч солнца в цеховом пролете, и в нем трепетание красных праздничных полотен. Их еще не успели снять после пуска цеха.

Тогда, Илья помнит, он сказал Самарину:

«Пора снимать».

«А зачем? Пусть повисят. Цех с ними красивее».

«Заплаты на рубище певца», — усмехнулся Илья.

«Вы о чем?»

«О том, Игнат Лукич, что надоело вранье... Разве можно считать пущенным цех, когда не даем стали? А вы еще крикнули с этого помоста: «Даешь первый лист!» Право, смешно».

«Нет, не смешно, Илья, совсем не смешно. Может быть, вы и правы, что не надо было так шуметь. Есть у нас еще такая привычка, и она сильнее нас... Но мне думалось по-другому. Уходили монтажники. Они сделали свое дело. Дальше начинаем мы... Эти ребята не так уж плохо работали. А когда человек уходит, зная, что он неплохо сделал свое дело, ему хочется

работать еще лучше... И зря вы, Илья, хотите сделать из меня чинушу. На мой взгляд, чинуша не тот, кто хочет, чтоб люди верили, и сам верит, хотя порой и грешит, а тот, кто не грешит, говорит очень правильные вещи и этим делает, чтобы люди не верили».

...Синее окно, шум машин, трамвайные звонки и густой голос из глубины комнаты.

«Мне пятьдесят, вам тридцать пять, и жизнь мы прожили разную... Но даже сосны не выдерживают одиночества. Когда вырубают лес и оставляют их так на улице среди жилья, они медленно умирают. Архитектор, наверное, этого не знал, а я знаю...»

...Надрывный плач саксофона, табачный дым, ресторанские столики и с грустной ноткой оброненные слова:

«Правду тоже надо уметь говорить, Илья...»

И все эти встречи, разговоры, казалось мелкие, незаметные детали, вспышками проносившиеся в его мозгу, слились внезапно воедино, и рядом с Самариным встали Клава и Вика, все собралось вместе, обрушилось сплошной лавиной, заключенной в жестокий трезвый вопрос: «Как?.. Как жить дальше?»

Еще никогда с такой сокрушающей силой не вспыхивал в нем этот тревожный, извечно живущий в человеке вопрос. Он возникал в нем и прежде, и когда Илья метался на жестких госпитальных койках, и много раз после, но никогда он не был так требователен, как сейчас. Может быть, потому, что раньше Илье не приходилось так пристально вглядываться в себя и видеть всю непоправимость ушедшего? «Как жить дальше?»

И сквозь эту тяжелую, давящую лавину пробился вдруг теплый солнечный луч. Наташа... Он не мог сейчас без нее. Он не мог... И в этом была его правда. Здесь не было ни капли лжи. И за это он не мог себя судить...

Илья встал, растворил окно. Солнечные лучи переместились со стены на асфальтовую дорожку, и выбившаяся рядом с ней трава не казалась теперь черной. Справа у стены росли тополя. «Я хочу, чтоб весной у цеха пели соловьи...»

Илья обернулся, медленно оглядел кафельную комнату, стол, пепельницу, наполненную окурками, раковину, в которую капала вода.

«Надо вызывать слесарей, — подумал Илья. — Пусть починят кран. И пол надо вымыть. Обязательно надо вымыть пол. Его очень затоптали...»

Илья еще раз оглядел комнату, перевел взгляд на телефон и удивился, что этот беспокойный аппарат молчит столько времени. Может, что-нибудь случилось в цехе? А может, испортился телефон? Илья снял трубку.

— Слушаю, — сказала девушка с коммутатора.

— Пятиклетевой, — попросил Илья.

Ответил старший вальцовщик.

— Как дела у стана? — деловито спросил Илья.

— Катаем, — спокойно ответил старший. — Все в порядке.

Илья начал обзванивать отделения. Травильное... Машинный зал... Термическое... Резку... Отовсюду сообщали одно и то же. Цех как бы набрал дыхание и теперь вышел на ровную стартовую дорожку. И от этого стало немножко грустно: там работали люди и обходились без него. Но в этой грусти была и своя затаенная радость. Люди! Он мало любил их еще, мало отдал им себя. А когда-то он очень много думал об этом. «И возвращаются ветры на круги своя». Что он ответил на эти слова Наташе?.. Ах, да: «Они прилетают на свои круги совсем ненадолго, чтоб только взглянуть друг другу в глаза и узнать, не растеряли ли в пути того хорошего, что было в них». В пути не только теряют, в пути и находят. А этого не сделаешь, греясь у костра... Да, находят. И в этом была его настоящая правда...

Сейчас отчетливо почувствовав ее, он снова стремительно перебрал в памяти все, о чем только что думал. И с острой ясностью понял, что не очень строго судит себя, не до конца. «Правду тоже надо уметь говорить». Но разве только в этом дело? Правду *надо* говорить! И только так... А ну, посмотри себе в глаза. Разве нет твоей тяжкой вины во всем, что случилось? Есть, Илья, есть. Чуть отступил — и люди не поняли

друг друга, и пришла эта страшная беда. Что ж из того, что вопил Росляков: «За твою бредовую идею башку всем снимут!» Ты ведь не испугался. Ты мог пойти к тому парню из парткома. Он ведь понял бы тебя, и ты знаешь, что понял бы.

А «первый лист»? Самарин сказал: «Уходили монтажники». Он так видел и верил. И ты поверил ему. А разве Самарин не ошибался?.. Он ведь искал, Илья. А тот, кто ищет, может и споткнуться...

Все должно быть увидено до конца, все! И тогда уж сердцем поймешь: «Правду надо говорить». И это не просто слова.

Если подняться на холм, где широкая площадь, на которой по праздникам бывают парады и демонстрации и свободно бродят ветры, то в погожие дни, когда исчезает туманно-серая пелена над рекой, хорошо виден завод, и стеклянная крыша цеха холодного проката, и даже краны, что высятся над стенами новых цехов. Я люблю этот завод. Там работают люди...

СОДЕРЖАНИЕ

Мой дом на земле	3
И возвращаются ветры	156

Иосиф Герасимов (Гершенбаум Иосиф Абрамович)

ПОВЕСТИ ДОБРЫХ НАДЕЖД. М., «Молодая гвардия», 1963.

328 стр., с илл.

Редактор *Э. Яхонтова*

Художник *П. Чернышев*

Худож. ред. *Н. Коробейников*

Техн. ред. *Л. Курлыкова*

А10522. Подп. к печ. 15/XI 1962 г.

Бумага 84×108¹/₃₂. Печ. л. 10.25(16.81).

Уч.-изд. л. 16.3. Тираж 165 000 экз.

Заказ 1574. Цена 64 коп.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-30, Сущевская, 21.

Larisa_F

